Е. ГАГАРИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРНЕТА

Е. ГАГАРИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРНЕТА

ПОЕЗДКА НА СВЯТКИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк • 1953

Printed in the U.S.A.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Евгений Андреевич Гагарин родился 12 февраля 1905 г. на севере России — в Шенкурском уезде Архангельской губернии. Отец его был управляющим большим казенным лесным имением. Близость к природе, особенно к лесу, дикие, нетронутые человеком лесные чащи, мягкая хвоя под ногами, перекликающиеся в вершинах птицы, — всё это оставило неизгладимый след в душе мальчика. Лучшие страницы его увлекательной книги «В поисках России», вышедшей пока только по-немецки, полны этих отзвуков. Они живут и в описаниях зимнего ландшафта, замечательных по тонкости оттенков и насыщенности красок, в первых главах «Корнета» и в «Поездке на святки».

Евгений Гагарин развился постепенно в крупного художника слова. Его стиль достигает временами большого мастерства и огромного очарования, но всё это тесно связано с воспоминаниями его детства и ранней юности, с той величественной, хотя и суровой природой, среди которой он рос. Это — один из вдохновляющих истоков его творчества, один из самых основных питающих его корней.

10-11-летним мальчиком Гагарин поступил в гимназию, и жил в Архангельске, лишь на Рождественские святки и на летние каникулы приезжая к родителям в деревню. Он окончил гимназию уже при большевиках и поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета. Но в университете он проучился всего один год и должен был в середине 20-х годов вер-

нуться на север России к матери, так как отец его к тому времени умер, и ему пришлось работать (по лесному делу), чтобы кормить мать и младшую сестру. Жил он в Архангельске, но много ездил, в связи со своей службой, по всему северу России. Во время своих поездок он мог близко познакомиться со многими сторонами советской жизни: с бездушной бюрократической машиной, с умиранием, или, вернее, систематическим уничтожением деревни (бывшей до большевиков такой зажиточной, своеобразно самостоятельной и самобытной в Северном крае), с варварским уничтожением большевиками лесных сокровищ России, с рабским трудом. Особенно поразил его вид несчастных раскулаченных сотен тысяч русских крестьян, насильственно вырванных из насиженных мест и перевезенных на север.

Потрясающие картины приезда раскулаченных в Архангельск, размещение их по местным церквам, на скорую руку превращенным большевиками в тюрьмы-казармы, — занимают центральное место в другой книге Гагарина «Великий обман» — лучшей, может быть, книге, написанной о большевизме, вышедшей, к сожалению, пока только на иностранных языках (по-немецки и по-голландски). Отсюда непримиримая вражда Гагарина к большевизму. Он знал русский народ, знал зажиточную, полную традиций и своеобразного уклада жизнь русского Севера, и возненавидел ее разрушителей, возненавидел раз навсегда поработителей русского народа. Это — второй, вдохновляющий основоположный мотив всего его творчества.

Можно без преувеличения сказать, что основным пафосом всей его литературной деятельности заграницей, с момента его выезда из России (с 1933 г.), была борьба за освобождение России, борьба против большевизма и — тоска по России, что ярко выразилось в «Возвращении корнета».

Другим решающим фактором жизни Гагарина в

Архангельске было знакомство с рядом ссыльных семейств, выселенных большевиками из Москвы и переселенных на север России после отбытия членами этих семейств заключения в советских тюрьмах и лагерях. Между ними были представители высокой культурной традиции. Европейский Запад, с его литературой, культурой, сокровищами искусства, через этих друзей сильно воздействовал на восприимчивую и духовно-утонченную душу Гагарина. Он зачитывался «Фаустом» Гете, лирикой Гейне, Шекспиром и Байроном, французскими поэтами и романистами, книгами по итальянскому Возрождению.

В 1933 г. ему вместе с семьей его жены (он женился в Архангельске на Вере Сергеевне Арсеньевой) удалось выехать заграницу, благодаря усиленным хлопотам за семью Арсеньевых великобританского правительства (у Арсеньевых были влиятельные родственники и друзья в Англии). Заграницей Гагарин провел 15 лет (он был убит грузовиком в октябре 1948 года в Мюнхене). Большей частью он жил в Германии, в Кёнигсберге и Берлине, позднее в Зальцбурге и Мюнхене, но ездил и в другие страны — Францию, Англию, Италию и Голландию. Целый год он учился в Бельгии на философском факультете Лувенского университета, занимаясь главным образом историей искусства. После этого он окончил лесную академию в Эберсвальде около Берлина и получил место в Международной организации по изучению лесов, имевшей тогда свою главную квартиру в Берлине. Это давало Гагарину возможность даже в самые тяжелые годы нацистского режима всегда быть в контакте с представителями других стран (особенно со Швейцарией). Гагарин много писал — и статьи о России, о большевистском гнете, и новеллы, и большие книги. Писал он по-русски, потом и по-немецки, а статьи его о России печатались в переводах на английский, французский, голландский и скандинавские языки. Он чувствовал себя

одновременно и свидетелем того, что происходит в России, и художником. Обе эти черты сливались в одно: это было свидетельство, пронизанное любовью и тоской воспоминаний, воплощенное в художественный образ.

Евгений Гагарин займет почетное место и, может быть, одно из самых видных мест среди молодых писателей русской литературы в эмиграции, — не какой-либо специальной «эмигрантской» литературы (да и есть ли такая специально «эмигрантская» литература?), — он слишком кровно связан с Россией, — нет: именно русской литературы, единой русской литературы, но свободной, и потому не могущей нормально проявиться в условиях советской жизни и расцветшей в эмиграции. А в нем, ввиду особых условий его культурного и духовного развития, соединились: глубокое знание и чувство подсоветской России, и органическое приобщение к основному, историческому, традиционному и динамическому в то же время (и глубоко антибольшевистскому) источнику — русской духовной культуры. Это делает его творчество особенно ценным.

Николай Арсеньев.

ПОЕЗДКА НА СВЯТКИ

I

Во время большой перемены во дворе гимназии появился — помню — сторож Матвей и, выйдя на середину, приложил ладони ко рту, силясь перекричать наш шум, — у нас же шел целый снежный бой. Был Матвей маленького роста, тщедушный, со слабым голосом, сердцем необыкновенно добрый, и не пользовался у нас никаким уважением; не верилось, что он служил когда-то в солдатах, участвовал в японской войне, получил Георгия за храбрость и даже был ранен и сидел в плену. И теперь никто не обращал внимания на его усилия; попрежнему свистели комья снега, и кто-то даже запустил в самого Матвея; ком с треском лопнул, ударившись об его голову. По двору понесся хохот. Матвей подумал и затопал ногами. На минуту всё стихло и, воспользовавшись тишиной, он закричал поспешно:

— Воронихина с третьяго классу — к господину инспектору!.. Без промедления!..

У меня дрогнуло сердце. Вызов к инспектору обыкновенно не означал ничего доброго. Но что грозило мне?.. На моей душе было много грехов: тайное чтение посторонних книг во время уроков, участие в драке с реалистами, куренье за шкафом в раздевалке, кнопки на стуле учителя немецкого языка Карла Петровича... Что дошло до его сведения? «И как раз перед рождественскими каникулами!» размышлял я с тоской, поправляя на ходу мои мокрые, торчащие волосы и стряхивая снег с куртки и штанов... «Доносчик, без сомнения, это Козел — подумал я со злобой о добрейшем нашем старом классном надзирателе Петре Ивановиче — хочет лишить меня

каникул»... Матвей шел впереди, бормотал что-то под нос и, от времени до времени, оглядывался на меня — злорадно, как мне казалось. Перед столь знакомой мне, обитой кожей, массивной дверью в инспекторскую Матвей остановился и сказал шопотом:

— Погоди маленько, сейчас спрошу. — Он робко приотворил дверь и, весь согнувшись, протискался сквозь щель.

Инспектором нашей гимназии был молодой историк по имени Николай Петрович, кумир всех городских дам и гимназисток из женской гимназии напротив, что было особенно возмутительно. «Просто цапля со слепыми глазами» — думал я о нем, не без трепета стоя у двери. Мои мокрые, никогда не ложившиеся волосы сейчас торчали, несомненно, еще ужаснее, пылавшее лицо, вероятно, лоснилось от пота... А брюки внизу были все мокры от снега, носки ботинок побелели... «Пропал, — подумал я горько, — совсем пропал»... Дверь между тем отворилась, Матвей появился на пороге и, осмотрев меня неодобрительно, с укоризненным сожалением молча пропустил внутрь. В кабинете инспектора, обставленном темной кожаной мебелью и еще какими-то предметами, — у меня никогда не хватало ни времени, ни духу осмотреться, ибо бывал я зван сюда только по плохим делам, — стояла, как всегда, легкая смесь табаку и духов. Это еще больше восстановило меня. «Как баба!» — подумал я. Отец говорил, что уважающие себя мужчины не должны душиться. Ни один англичанин никогда не душится — прибавлял он, как будто против этого и возразить было нечего. Но, очевидно, он был прав, потому что я никогда не находил, что бы ему возразить.

— Воронихин! В каком ты виде! — закричал инспектор, увидя меня.

— Упал в снег, господин инспектор! — пробормотал я, стараясь встать за этажерку с книгами так, чтобы

хоть не было видно моих ног, и думая: «Пронеси, Господи! Авось ничего страшного».

— Упал в снег! По-моему ты в кипяток упал, — как разваренный рак красный. У тебя не голова, а помело! Хорош! — Он отвернулся вдруг от меня, подошел к низкому окну, похожему на нишу, и остановился.

За окном падал редкий снег, а в этой белой сетке бились, коротко вспыхивая, солнечные лучи, и мне вдруг невероятно ясно вспомнился наш дом в деревне, наш сад в снегу, и, как иногда, припав лицом к стеклу, я долго в одиночестве стоял в зале, смотря на медленно падающие хлопья, на синиц, прыгавших под черными кустами... Совсем недавно я получил из дому письмо и считал теперь дни до Рождественских каникул. Оставалось всего десять дней — и неужели теперь всё пропало?.. Инспектор стоял и молчал. Может быть, всё-таки ничего страшного, или же очень страшное, — раз он так долго молчал?.. Может быть, исключат из гимназии? — пронеслось вдруг в моем мозгу, и радостная жуть охватила меня. Если исключат, — то можно будет совсем уехать домой, в деревню; однако, что сказал бы тогда отец!.. Я так поник в свои думы, что совсем забыл, где я стоял, и чуть не потерял равновесия; инспектор оглянулся, лицо и глаза его выражали изумление, будто он очнулся от сна.

— А, ты еще здесь, — проговорил он медленно, — по просьбе твоих родителей, отпускаю тебя на неделю раньше на вакансии. Завтра получишь дневник, за поведение 3. Что рот раскрыл! Кругом, марш!.. Перед отъездом явишься ко мне!..

Всё это случилось так быстро, было вообще так невероятно, что я сидел, как блаженный, до конца уроков. Оставались еще урок немецкого языка и рисования, но из того, что объяснял Карл Петрович, я ни слова не понял, старался только не сводить глаз с его лица — он требовал этого. Лучшими учениками были у него те, кто весь урок, не отрываясь, смотрели ему в рот, и едва

кто-нибудь отводил глаза, он свирепел и кричал: «Смотрите на меня!». Был он потехой и мучеником всей гимназии, этот рыжий, длинный и, в сущности, добрый и несчастный еврей, от которого сбежала жена, оставив ему ребенка; утверждали, что он сам сажал его на горшок. Чувствовал он себя, вероятно, всегда, как травимый зверь. В особенности не выносил его наш француз М. де Комб, ярый патриот Франции, эстет и сумасшедший. Проходя мимо Рабиновича, он корчился от ярости и шипел: «Жид!.. Бош!..», что доставляло нам великое удовольствие; вообще, по мере сил, мы делали жизнь несносной этому бедному еврею. Он всегда подозревал очередную гадость и это «Смотрите на меня» было лишь самозащитой. В тот день я весь урок не сводил с него глаз: нельзя было рисковать попасть на замечание, а, кроме того, мне было почему-то жалко его, — жалко, что он еврей, одинок, и сам сажает сына на горшок, а больше всего, что у него не к кому ехать, и на Рождество он останется, как и всегда, в городе. Это казалось мне невероятным, ужасным.

В пансионе вечером я нашел новое письмо из дому. Писали, что через неделю вышлют за мной лошадей, выедет Егор — наш кучер. До ближайшей станции железной дороги было от нас шесть суток езды; там он меня должен был встретить и снять с поезда. Хозяйка пансиона, где я жил, вместе с двумя другими гимназистами, была немка Амалия, старая дева. Это была типичная хозяйка немецкого пансиона, рабыня своих вещей, существо невыносимое. Мы не смели у нее долго сидеть в креслах, ибо протирался плюш; мы должны были снимать у порога обувь, чтобы щадить пол; мы не имели права вешать в комнатах свои картины или фотографии, ибо это портило обои. Что мы могли? — трудно сказать. Два других гимназиста были постарше меня, и она ежедневно писала им записки, непременно начинавшиеся словами: «Bitte nicht.. ». Боже, какое это было пошлое,

самодовольное, непоколебимо уверенное в своей правоте существо!.. Больше всего на свете она любила деньги, кофе и уборку комнат. Сквозь стену мы слышали, как каждый вечер она распекала свою прислугу за расходы, громко вздыхая: «Ach, so viel Geld! Ach, das schöne Geld!». Кормила нас, однако, отвратительно: со дня на день битками из дешевого фарша, наполовину замешанного хлебом и картофелем. Кофепитие было для нее священнодействием; отхлебнув глоток, она издавала от блаженства протяжный звук вроде «м-м-мм», глубоко всасывая воздух. Россию она презирала больше всего за то, что здесь не принято было приносить с собой в кофейные для заварки собственный кофе (Kaffe brühen lassen), и потому оно стоило здесь «So viel das schöne Geld». Раж ее во время уборки комнат был беспределен. Она была готова умертвить нас за малейшее пятно, за сдвинутый стул, и никакими мольбами — даже во время болезни — мы не могли получить позволение дольше остаться в постели. Как я был рад хоть на две недели сбежать от этой прусской добродетели, от этих рачьих зеленых глаз, от этих седых буклей, от мясистого тела!.. Весь вечер я укладывал свой чемодан; замыкал его на ключ и вновь открывал, пересматривая вещи — не забыть бы чего-нибудь. Амалия вдруг необыкновенно ко мне подобрела — входила поминутно в комнату, гладила меня по голове, к моей великой досаде, и не сделала замечания, когда я взял к вечернему чаю два куска сахару, вместо одного. Три недели комната будет пустой, меньше уйдет света, не будет портиться мебель, а плата оставалась та же, за полный пансион — как Амалии не радоваться!.. Она уже дала мне письмо к моим «liebe Eltern», где нижайше поздравляла их с «великий праздник Рождество и щастливый новый год», и униженно просила прислать ей из деревни «провианту, чтобы лучше питайт Ваш сын». Из «провианту», что присылали

ей из дому, нам мало что перепадало, а Амалия была убеждена, что она нам, как «заботливый мать».

Ночью я долго ворочался без сна, распределяя деньги на подарки. В месяц мне полагалось 10 рублей карманных денег. Сюда входили трамвай, почтовые марки, кино, церковь и все другое. Из этих же денег я должен был выкроить и на подарки. Всем у меня было уже припасено, не хватало на коньки приятелю, Ване Бандуре; писал он мне из деревни, что у всех есть коньки, у него одного нет, и видно хотелось ему их иметь страшно. У матери Бандуры — отец его давно умер — была самая бедная изба в деревне. И, стыдясь, я вспоминал, что мог бы отлично сберечь на коньки, если бы реже покупал шоколад у татарина. Татарин Ахмет держал лавку как раз на пути в гимназию. «Золотой ярлык» стоил у него 10 копеек — невозможно было устоять! Так я и проел, оставив без коньков друга!.. Были у меня для него лишь всевозможные крючки для удочки, — летом мы на целые ночи уходили вместе удить.

А утром выпал ясный, звенящий от мороза день. Городской сад, мимо которого я ходил в гимназию, стоял весь в пепельно-жемчужном дыму, стволы берез были точно из розового мрамора, и опушенные инеем деревья казались охваченными белым пламенем — были как пылающие белые костры. И воздух так живительно-колюче, обжигая, входил в грудь; остро пощипывало щеки и уши, но я ни за что не хотел потереть их руками — это было бы так не по-мужски! Я быстро бежал по мостовой, и всё было на мне как-то особенно ладно сегодня: и моя новая гимназическая шинель с барашковым воротником, и легкие шевровые ботинки, — даже в 30° мороз нам запрещали надевать калоши. Среди пустых улиц особенно звонко стучали шаги по обледенелому тротуару, и я чувствовал необыкновенный подъем сил, в особенности, когда обгонял гимназисток, парами шедших в гимназию. Мне казалось, что я слышу, как они шепчутся

за спиной обо мне, и сердцу моему становилось жарко, — столь стройным и молодцеватым я себе представлялся, и я уже думал о том, какое произведу впечатление дома, как будут оглядываться, когда, в шинели с блестящими пуговицами, я пройду сквозь ряды в церкви...

Поезд уходил вечером. Вокзал лежал на другом берегу реки; едва стало смеркаться, как я пошел брать извозчика. Они стояли на площади у собора. Одного из них я давно облюбовал. Его звали Ефимом. Был он черен, как цыган, с красивой курчавой бородой и необыкновенно диким голосом. Он был часто пьян и гнал тогда лошадь во всю мочь, привстав на сиденье, круто натянув вожжи. Снег брызгал из-под полозьев со свистом, как вода. «Только бы он сегодня был там!» — думал я. Мне повезло: я нанял Ефима, и он был уже навеселе И когда я вскочил в маленькие сани на железных узких полозьях и уселся в задок, покрыв ноги полостью, а Ефим, гикнув, понес меня по улицам города, где уже горели огни, мне показалось, что жизнь прекрасна, что все смотрят на меня, — я чувствовал себя героем.

II

До отхода поезда оставался еще час, но всю дорогу тревожно билось сердце — а вдруг опоздаем или не останется мест. Говорили, что поезда переполнены военными, расписания не соблюдают. И, выглядывая из-за спины Ефима, я с напряжением смотрел во тьму, в снежный дождь, рвущийся из-под копыт, — где-то далеко, на том берегу, висело над землей светлое пятно, как зарево. Это был вокзал.

И вот мы лихо вкатываем на берег, совсем запрокидывая сани на бок, и осаживаем у деревянного здания вокзала; кругом — тьма, лишь из окон течет чахлый желтый свет. — «Н-но!» — дико кричит Ефим и соскакивает с облучка. — «Рубль на водку, лихо ехал» — порываюсь сказать я, но у меня выходит одно какое-то неловкое бормотание, и, торопясь и нервничая, — хотя совсем нужды нет, — я ищу кошелек, а он, как на зло, куда-то запропастился: ни в том, ни в другом кармане «Доброго пути!» — говорит Ефим на прощанье. Билет куплен, и я вхожу в зал 1 и 2 класса, стараясь придать себе независимый и взрослый вид, перебороть робость: первый раз я самостоятельно еду по железной дороге. А в зале — неожиданно яркий свет, пахнет кухней, жареными котлетами, шипит и свистит на стойке огромный медный самовар, за стеклом на блюдах — нежная, воспаленно-розовая ветчина, всяческие колбасы, сыры, семга, икра и всякая всячина. Носятся половые, взмахивая както по особенному, сбоку, салфеткой, изгибаясь перед гостями, и мне кажется, что все столы заняты, и что на меня все смотрят с недоумением. Сажусь я за первый

попавшийся столик в углу, где меня совсем не видно. Тут сижу я и мне хочется, чтоб подбежал лакей, и я мог ему крикнуть: «услужающий!», как зовут его громко вон те купцы за столом, пьющие водку. Но ко мне никто не подходит, а я не решаюсь крикнуть, и так сижу, всё держась рукой за свой саквояж, — говорят на дорогах теперь много крадут. Когда, по-моему, уже пора уходить, вдруг склоняется надо мной лакей и, обмахивая стол, не смотря на меня, спрашивает: «Прикажете-е?..». И я поспешно, в смущении, сам не зная отчего, заказываю: «Пожалуйста, стаканчик чаю с пирожком» — и весь заливаюсь краской: вероятно, лакей презирает меня за этот пирожок!.. И как раз перед самым отходом поезда!.. Обжигаясь, я пью чай и поминутно поглядываю на часы — уже пора. А снаружи полная тишина. Потом вдруг раздается лязганье, визг колес и дыханье огромного зверя, надрываясь кричит что-то человеческий голос, — я не выдерживаю и выскакиваю на перрон. Поезд подали. Но вагоны еще темны, двери заперты, и я долго жду пока отопрут. Крыши и бока вагонов густо, космато обросли снегом, обледенели; весь поезд кажется огромным мохнатым зверем, только что прорвавшимся сквозь снежную чащу. Из-под вагонов рвет холодный пронзительный ветер, вздымая веером снег, впереди долго с криком грузят багаж и почту, проходит, кажется, вечность, пока раздается первый звонок. Бьет он долго, протяжно, но на перроне попрежнему темно, сравнительно пусто, только у третьего класса толпятся мужики и бабы с мешками на спинах, с чайниками, с огромными корзинами. Они теснятся около дверей, минуют друг друга и лезут в вагоны, гремя чайниками, а проводники орут: «Стой, обожди, черти!». И меня тоже берет оторопь, хотя у вагонов второго класса еще никого нет. Проводник, в черном пальто со светлыми пуговицами, в барашковой шапке, лениво прощелкивает билет, а в вагоне много мест оказывается — к моему удивлению — уже занятыми

ми — надо было, очевидно, дать заранее проводнику «на чай». Но теперь мне всё равно: я в вагоне, значит, поеду, главное было сесть, в крайности можно и постоять... Этот трепет перед посадкой и покорность на муку во время дороги никогда уже не оставляли меня с тех пор, как, вероятно, всякого пассажира в повоенной России. — Бьет второй звонок, и в проходе вагона начинается столпотворение: поминутно, разом во всех купе, открываются двери — никто не сидит спокойно, все теснятся по коридору, и стоит такой крик, что кажется, случилось какое-то несчастье. Скорей бы ехать!.. Бьет, наконец, третий звонок, но проходит еще много времени, прежде чем мы, со скрипом и визгом, будто давя каких-то гадов, трогаемся.

В купе со мной еще четверо: молодая женщина в черной меховой полушубке, с белой косынкой сестры милосердия на голове, молодой офицер в длинной шинели, с необыкновенно узкой тальей, какая-то дама неопределенных лет, и господин в пенснэ. Этот вошел последним и, посмотрев на меня, спросил:

— Вы далеко едете... э... э... молодой человек?

— До Холмогорки, — ответил я удивленно.

— Всего, стало быть, три станции. А я на Москву — ну вот, я ваше местечко и займу, — он уселся рядом со мной, совсем забив меня в угол. Сделал он это столь уверенно, что у меня не хватило духу возражать. У него было самоуверенное рыжее лицо, огромный кадык, и говорил он противным тенором, постоянно добавляя: «Н-дас». Он тотчас же стал есть, достав из саквояжа провизию: вареные яйца, колбасу, копченые селедки в корзинке; проводник принес ему кипяток. Мне этот пассажир стал противен с первого взгляда. Но всё внимание мое привлекала пара: молодой офицер и дама в косынке. Они не были мужем и женой, по-моему мнению, и вызывали во мне какое-то волнительное любопытство. И то, как они смотрели друг другу в глаза, на некоторое мгновение

дольше, чем обычно, задерживаясь друг на друге взглядом, и то, что он часто — и казалось бы невзначай — касался рукой или локтем ее фигуры, — всё это наполняло меня неизъяснимым напряжением.

— Н-дас, — заговорил господин в пенснэ — так Гришу-то кончили-с. Дай Бог, — настает для России новая эра!

— Что, кого кончили? — оживился офицер.

— Тсс! — Господин приложил палец ко рту: — Не слыхали еще?.. Великие дела свершаются в Петербурге...

И они стали говорить о непонятных мне вещах. А я всё смотрел на даму в косынке, с незнакомым мне до тех пор любопытством, воспринимая его смутно, как нечто греховное; иногда, очевидно, чувствуя мой взгляд, она вскидывала сама на меня глазами, — я постыдно краснел, и у меня леденело странно сердце. В конце концов, я вышел в коридор. У окон стояли группы людей, и до моих ушей вновь долетело это имя: «Гришка». — Кто же мог быть этот таинственный Гришка, которого кончили? О Григории Распутине я ничего не знал тогда. Это его убили в тот день. И, вероятно, с этого убийства началась страшная, темная пора России, ибо никакое добро не начинается со зла и злом не оправдывается. Но тогда, стоя у окна в коридоре вагона, я не думал об этом, не чувствовал, что пришел конец той России. — В проходе тепло, даже жарко, и окна сверху немного оттаяли. Клубясь катится под колесами пар, как будто резвятся молодые котята. Поезд мчит сквозь кораллово-белую чащу леса, иногда вырываются поляны, залитые зеленым лунным светом, и мне, почему то, хочется запечатлеть их — вот это дерево там, одинокое, узнаю ли я его на обратной дороге?.. И уже, как всегда в моей жизни, я думаю о конце каникул, думаю с тоской, еще не начав их, и в то же время кажется невероятным, что придет, действительно, их конец, как кажется невероятным теперь, что когда-нибудь придет конец жизни... Всё сильнее и силь-

нее затягивает окно, сплошной белой стеной хлещет мимо дым; сквозь прорывы я вижу иногда поля, без границ и без края снега, щиты у железной дороги с высокими наметами снега. И так долго стою я, с чувством своей огромной потерянности в мире великой снежной России без конца и без края...

Поздно ночью приезжаем на железнодорожную станцию, где меня должен был ждать Егор.

III

Егора, нашего работника, я тотчас же замечаю. Он стоит посредине перрона в длинной овчинной шубе в талью, с позументами на груди. И при виде его, дом наш, наша деревня, мое недавнее детство, — всё это разом оживает, принимает форму, кажется столь близким.

— Егор, Егор! — кричу я с подножки вагона, и мне хочется бежать к нему, броситься на шею, но я удерживаю себя: недавно дал себе зарок не показывать своих чувств, быть сдержанным, строгим, как англичанин... Это является, по-моему, основным правилом для джентльмена.

— Здравствуй, Егор! — говорю я медленно, когда он приближается к вагону: — Хорошо доехал? Как кони? Вот, возьми вещи, отнеси в возок. Да надо будет запрягать.

— Сказал — запрягать, — запряжено уже. С раннего утра здесь находимся. На чугунке-то не пристал? — спрашивает он меня, глядя на поезд и не обращая ни малейшего внимания на мою шинель. — Может в буфетной чаю выпьем? У меня для тя провизия есть. Анна Васильевна, — имя моей матери он произнес особенно почтительно — снабдила, почитай, на цельный месяц.

И хотя у меня нет ни малейшего желания пить сейчас чай, до того мне хочется ехать, я должен подчиниться. В буфетной кисло и едко пахнет старым табачным дымом, керосином от висячей лампы, тускло чадящей под потолком, пахнет овчиной и рыбой — от мужиков, пьющих чай за большим столом, и я с трудом сижу, — от тоски меня даже начинает клонить ко сну. А Егор заказал

кипяток — два прибора, разделся, разложил свою корзину, и мы пьем чай по крайней мере час.

— Покушай, покушай, — угощает меня Егор и говорит даже в рифму, — ехать будет теплее, сон охватит скорее. — Он достает из корзинки белые пирожки с мясом, с яйцами, с семгой, что так бесподобно пекут у нас дома, — мать прислала их мне на дорогу. И как они вкусны после «hygienische Kost» Амалии — просто тают во рту!

Наконец, Егор идет всё-таки к лошадям. Они стоят за вокзалом у изгороди. Одну из них я узнаю сразу: это Воронко, отец любил запрягать его зимой в сани, а пристяжная мне не знакома. Лошади густо обросли шерстью, снегом — похожи на каких-то лесных мохнатых зверей. Воронко не узнал меня. Напрасно несколько раз я подходил и гладил его по морде — он даже не заржал, только лениво посмотрел на меня одним глазом. А пристяжная была новая — очевидно, отец купил еще одну лошадь, хотя было их у нас и так без числа, стояли в конюшне без всякой надобности и употребления, только овес и сено изводили. Прислали за мной, к сожалению, розвальни, а не маленькие санки, как я втайне надеялся. Эти маленькие санки я очень любил. На них отец часто ездил по делам: были они легкие — не шли, а летели над землей. «Воронихин опять поехал догонять ветер» — говорили про отца мужики, когда он ездил в этих санях. В задке розвальней укреплена круглая парусиновая кибитка с пологом впереди, сани дополна набиты сеном. поверх сена — половичок, а для покрытия — огромная медвежья шкура. Для меня присланы заячий тулупчик и валенки. Пока Егор укладывает и увязывает вещи в передке розвальней, я залезаю под полог в кибитку. В кибитке темно, пахнет слежавшимся сеном. Сначала лежать неудобно, всё время хочется менять положение, но скоро тело осваивается, привыкает, и уже лень пошевелиться. Смутно я слышу, как ходит Егор, подтыкая сено с боков, как

остро жуют лошади. — Скорее бы ехать!.. Но вот Егор садится в передок, сани вздрагивают. «Но-но, нно» — кричит Егор — и со скрипом мы снимаемся с места. И так едем мы медленно, раскатываясь иногда по бокам, мерно идут кони, клонит ко сну, — а кругом тишина, и нельзя уже сказать, давно ли мы едем?.. С чувством, что мы спускаемся куда-то под гору, в какую-то великую, темную тишину, я засыпаю...

Эту первую ночь в кибитке я совсем не помню; осталось лишь смутное впечатление зыби, как будто я спал в лодке, и тихо била о борта волна. А когда я проснулся, мы уже стояли. Полог был откинут. Было еще раннее утро. На зеленом, ледяном небе стояло красное, как тюльпан, холодное солнце. В деревне топили печи. Над избами вился столбом дым, пахло печным чадом и ржаным хлебом. Посередке, у колодца, бабы доставали воду, скрипела цепь и шумела бадья, во дворах заливались лаем собаки.

Дни, когда мы останавливались кормить, казались мне бесконечно долгими, этот первый день в особенности. Где-то непостижимо далеко — еще шесть дней пути! — лежала наша деревня, наш дом, совсем затерянные в огромном мире, в снегу и далях. Этого чувства дали — без границ и без краю, без конца, без начала, — не знает Европа. Здесь — всюду границы, одно государство теснит другое. Здесь узкий и обозримый мир, понятный человеку; оттого, вероятно, европеец так самоуверен и самодоволен. А там мы смотрим прямо в Божий космос: в дали, уходящие куда-то внепредельно, в таинственный белый полюс, словно, в начало мира, где вечное молчание и первозданная хвала Творцу. И это чувство непосредственного стояния перед Богом, оно-то и отличает нас, вероятно, от Запада и делает во многом непонятными для европейца. У нас иной мир и иной Бог. И втайне мы все, конечно, презираем Европу.

С острым чувством этой беспредельности я долго

стоял у окна в отведенной мне горнице, глядя на ледяные белые поля за деревней. Уже давно рассвело, на улице пробегали ребята в овчинных шубках, в шапках-ушанках, в валенках, с матерчатыми сумками через плечо, напоминая мне еще недавние годы: отец непременно хотел, чтобы я учился в народной школе, и две зимы, каждое утро, я бегал в нашу сельскую школу, вот как эти ребята, и, кажется, это было самое счастливое время моей жизни. Хозяин дома уехал в лес за дровами, Егор уснул на полатях, в избе, у печи хлопотала одна хозяйка — молодая баба с высокой грудью и полными плечами. В глазах у нее играет лукавое веселье, и видно, вообще, что она рада жить, что молода и полна соку; всё утро она, не переставая, болтала с Егором, то и дело заливаясь звонким хохотом. И теперь тишина, что стоит в избе, видно, не по ней; она входит в горницу ко мне с тарелкой, полной дымящихся лепешек:

— Покушай житничков горячих, только что испекла, — она ставит тарелку передо мной, и в нос мне бьет густой, тягучий запах горячего ячменного хлеба. — Кабы не пост, я бы тебя чем другим угостила, а в пост сдобного не пекём, — грех. А ты не хочешь ли рыжичков?.. Я принесу. — И, откинув дверь, вделанную в пол, она спускается в погреб.

Дом старый, ему лет двести, построен из могучих еловых балок. В первой избе стены не оклеены, дерево блестит благородным смуглым блеском столетий; меж балками лежит мох. Стены уже расселись, деревянный пол накренился к огромной печи, но в избе тепло, домовито, солидно — строили этот дом на века, на нерушимую, беспрерывно, как река, текущую, Богом освященную жизнь. В огромной печи с треском, выбрасывая искры, горят дрова; изгибаясь текут вверх в поддымник огненные языки, течет дым, густой, как вода. В большом углу, на божнице, под потолком, темные образа Спасу, Божьей Матери и Николаю Угоднику, поверх образов —

домотканный узорчатый плат, вдоль стены — массивные, низкие лавки, напоминающие мне почему-то о древней боярской думе — всё, словно, допетровское, русское испокон веков, не занятое где-то на чужбине.

— Рыжички вкусные! — хозяйка ставит передо мной тарелку крохотных соленых рыжиков. — Сами летось брали — у нас их живет видимо-невидимо. А сей год, — в ее речи есть что-то церковно-славянское — а сей год уродились прямо тучи — не могли выбрать. Старые люди всё сказывают, пророчат, быть лиху. Верная примета: гриб тучей, беда не минуча. Перед войной в лето грибов было не оберешься. А, ты, с картошечкой — она приносит миску дымящегося, крупного, рассыпчатого картофеля, — я тебе маслицу постного улью — нет вкустнее пищи. — И, правда, мне кажется, что я никогда ничего не ел вкуснее этих рыжиков с горячим картофелем, приправленных постным маслом. А хозяйка стоит, подперев рукой бок, съедаемая любопытством, смотрит на меня жалостливым взором; лицо ее пышет от печного жару.

— А тебе не скучно в городе — одному-то? Домой-то, поди, вот как рад!

— Ах, так много дела, занятий, — отвечаю я важно, хотя мне хочется сознаться, как бесконечно одиноко и грустно мне в городе, но я дал слово не показывать своих чувств.

— А долго тебе учиться-то?

— В гимназии всего восемь лет, а потом еще четыре года в университете, а, может быть, и дольше.

— Ай-ты, Господи, — вот мука-то! Я всего три зимы в школу бегала — думала не вытерплю... Восемь лет! Скажи, пожалуйста. А чего ж ты форменную шинель носишь с пуговицами — аль в офицера выходишь?

— Так полагается, — уклончиво говорю я.

— Для фасону, значит. А что это у тя за книжка — чудно что-то написано — не по-нашему.

— Это немецкая книжка.

— Немецкая! — говорит баба недоуменно — неужели они, не-христы, по этим по крюкам читать могут. Вот страсти-то! К нам в деревню — она оживляется — ерманцев пленных пригнали. Ничего, смирный народ, только делу мало смыслят. Дьячок с ими говорил — смеху-то, руками машет «Русс, русс, герман», — умора! — Она заливается хохотом.

IV

Еще далеко до полудня, а мне уже надоело читать, надоело сидеть одному в горнице, ждать. Надеваю шинель и иду на улицу. Как большинство северных деревень, она расположена в строгом порядке: дома не разбросаны, как на юге России, — где каждый двор свой отдельный, собственный мир и отчуждение, — они лежат в два ряда вдоль главной улицы, вытянувшись, точно по струне. Здесь единый мир, община, почти семейный круг, о котором так мечтали славянофилы, сроднившийся, сложившийся веками. Встречные смотрят любопытно-почтительно на мою темно-серую шинель со светлыми пуговицами, на форменную фуражку, с серебряными веточками, приветствуют на старинный лад: «Здорово жить» — и притом кланяются в пояс. Солнце еще тусклое, зимнее, но острые лучи уже роются и сверлят в снегу, изрытые поля похожи на белые бараньи шкуры. На конце деревни пилят лес пленные. Как у всех пленных, у них сизые лица, одежда обветшала, залатана, на ногах, поверх сапог, намотаны тряпки, пахнет от людей тяжелым, затхлым. Но вид сытый, работают не торопясь, скалят зубы, не умолкая говорят, переругиваются друг с другом.

— Wie geht es Euch? — спрашиваю я и уже сожалею о вопросе.

Все разом бросают работу, обступают меня, наперебой кричат: «Kalt, kalt... Unmöglich zu arbeiten!». В этом гаме голосов чужой речи я ничего не могу различить. Их немецкая речь совсем не та, которой учит нас Карл Петрович. Чего они хотят от меня? Кажется, они не жалуются ни на что, кроме холода. После, когда, возвратившись,

я сижу у окна в своей комнате, пленные проходят обратно с работы в барак. За ними бредет один старый часовой. Из домов выскакивают бабы, суют пленным хлеб и еще что-то, а, подав, останавливаются, скрестив руки, долго провожают глазами... Никогда в Европе я не видал этой жалости к бедным, к арестантам, как у русского народа, вероятно, поэтому здесь, на западе, всегда богаче жили. Но и в России человек становится черствее: за милостыню пленным двадцать лет спустя там стали расстреливать, сажать в лагеря и даже возноситься этим.

К полудню вернулся хозяин из лесу. Егор давно уже проснулся. С палатей слез старик, лысый, с огромной сивой бородой, в длинной, пестрядиной рубахе и пестрядиных портках. Он помолился на образа и сел за стол в большой угол. Хозяйка поставила на стол каравай хлеба и дымящуюся миску. Старик перекрестился и стал резать хлеб — длинными, тонкими ломтями. Вокруг стола на лавках сели хозяин, хозяйка, Егор и дети. И, перекрестясь, молча они стали есть — все из одной миски: зачерпнув ложку, медленно несли ее ко рту, подставив ладонь, чтобы не расплескать. Они ели молча, степенно, сосредоточенно, и мне нравилась эта первобытная трапеза; так, верно, ели здесь многие века. Ели они уху: был пост, мяса в пост крестьяне в старой России никогда не варили. За первой миской хозяйка принесла и поставила вторую, и опять также мирно и степенно они хлебали деревянными цветными ложками; сама миска — тоже цветная, расписанная изображениями сказочных зверей: расписана и деревянная солонка в виде судна викингов. А когда покончили со второй миской, каждый собрал крошки со стола и опрокинул в рот — грех сорить хлеб Божий, этому учила и меня всегда няня Ивушка.

— А что в городе нового? — спросил старик, усаживаясь у окна после обеда. — Давно не бывал, не ндравится мне в городе.

— В городе жизнь веселая, — ответил Егор к моему

удивлению, ибо он не доезжал до города. — Казенки царь батюшка закрыл, а народ пьяной. — Он весело скалил зубы, почему-то весьма довольный тем, что «народ пьяной».

...Грех, грех, — шепчет старик: — А что, замирения не слыхать? Как насчет замирения-то? Вот, Петруху требуют, — он указал на сына. — Кто будет работать? Всё прахом пойдет. Герман миру не просит — ан?

— Герман всю Рассею хочет взять, — отвечал убежденно Егор, — хочет наказать, что самого главного царского советника кончили — царица-то, ведь, ерманка — ну, слыхал, а у нее советник был ерманский, советника-то ее и кончили — пойдет теперь ерман до самого Питеру, бунтовщиков, убивцев этих самых шупать.

Егор был фантазер. В его уме всё принимало какие-то фантастические формы и объемы, причем сам он был всегда глубоко убежден, что передает беспристрастную истину. И сейчас он, вероятно, слышал что-то о таинственном «Гришке» и создал уже миф.

— Жалости в людях не стало, — прервал его старик, вот что я тебе скажу. Прежде народ жалостилен был. А теперь, — зверь и тот отходчивей. Волк — он разве своего тронет — волка-то? Да будь он при последнем вздохе от голоду — вот как этой зимой — он те своего ни за что не тронет. А тут люди друг друга ружьем, пушкой, — чем попало. Отвернулся от нас, грешных, Господь.

Теперь и я знаю, что этот старик был глубоко прав: в мире стало мало жалости. Для счастья на земле не надо ни политических учений, ни партий, — надо, повидимому, только побольше жалости в человеческом сердце, как старик говорил. Он горевал о том, как нарушена жизнь войной, всё жалел, что семянного быка не купил. «Триста рублев просили до войны за бычка, а теперь тысячу требуют. Страсть какая!», ужасался старик: «Тысячу за одного бычка! Да я всю жизнь свою

за тысячу проработал, — конец, конец миру. А и чего хорошего ждать?.. Ране народ был степенный, дело вел со смыслом, перекрестясь, а ныне все куда-то торопятся, рыло у всех скобленое, бороду секут — все на один лад, прости Господи, лба никто не перекрестит. А всякое дело со лба начинай — тем мир и стоял».

V

Высоко, в синем хрустале неба невидимо текли нежные, белые тучи — как караваны каких-то неведомых райских, белых птиц. В мире был такой необыкновенный свет, была такая прозрачность и тишина, что, казалось, в нем не должно было быть ни зла, ни добра, ни вообще страстей. А между тем, где-то, на самом деле, кипела война, — до того, впрочем, далеко отсюда, что в нее трудно было даже и поверить. По улице проходили длинные обозы, одни сани за другими, покрытые рогожами. Везли для продажи по деревням свежую селедку, навагу, которую так вкусно жарили у нас дома. Эти подводы я помнил с самого раннего детства. Сани с покатом набиты мерзлой рыбой, сверху на рогоже лежат мужики в тулупах, спят, а лошади, мохнатые, увитые снегом, бредут сами, тихо, понурив головы. Монотонно, негромко звенят на дуге колокольчики, скрипят на разъездах полозья... Так идут эти возы тысячи верст, лошади сами знают путь.

А Егор стал между тем собираться. Предстоящий волок был особенно долгим — до ближайшей деревни около 60 верст. По середине волока, в лесу, было, впрочем, несколько избушек для проезжающих. В плохую погоду, в пургу, там оставались даже и переночевать. Такие избушки стоят на Севере в каждом волоке. Проезжающий найдет в них сухие дрова, спички или кремень, чтоб высечь огонь, соль, а то и сухари и сухую рыбу. Каждая подвода оставляет что-нибудь для следующей.

Вскоре после обеда мы выехали.

И вот опять идет по бокам снежный строй леса, и

эти опушенные, отяжелевшие ветви елей похожи на белые пушистые лапы зверей. Сани скользят ровно, иногда раскатываясь в колее, отчего еще более туманит голову, клонит ко сну. Егор уже накрылся с головой овчинным тулупом, лежит не шевелясь. Возжи висят, лошади бредут сами; негромко, немолчно звенит на дуге колокольчик — единственный звук в этой белой, снежной тишине. Воздух постепенно синеет, густеет, и где-то вдали над лесом встает и плывет по голубым волнам облаков солнце, как огненный корабль. Всё это вижу я смутно, в полузабытьи, и белые лапы елей кажутся мне, сквозь слипающиеся веки, воздетыми вверх руками, а деревья — людьми на молитве, в устремлении к небу. И так едем мы сквозь лес и сон... Это самый длинный волок — голодные волки бродят стаями — вспоминаю я тревожно разговор в деревне, но тотчас же тревога слабеет, и вновь смутно, как в ином миру, воспринимаю я скольжение саней, раскатыванье по колее, тихий звон колокольчика, холодный звук копыта, ударяемого о другое, мерную, как ход часов, поступь лошадей... Иногда сани берут резко в сторону, проваливаются в снег, слышен звук других колокольчиков, скрипят рядом возы, Егор с кем-то говорит, переругивается — очевидно, мы обгоняем подводы с рыбой. А там опять тишина, трусят ровно кони...

И вдруг, разом я прихожу в себя — уже темно, мы едем значительно быстрей, почти рысью, то и дело цокают копыта; слышно, как болтается брюхо у лошадей. Сзади, за нами, не отставая, стоит протяжный вой. Это — волки! Их вой мне давно знаком. Отец часто брал меня по своим поездкам, и я не раз слыхал волчий вой. Вероятно, они бегут за нами, скорее всего одна пара или две; в стаи волки редко собираются, только в большой голод. Бегут они за нами в надежде, что обронят им что-нибудь из саней, или бросят подачку; сами волки на человека редко нападают, разве только обезумеют от лютого голода. Бояться решительно нечего, а всё-таки

жутко от этого воя в темноте. Кони всё усиливают бег, храпят... Сон пропадает на время, а потом вновь одолевает — сначала чуткий, короткий, тревожный; но вой становится всё слабее, слабее, пока совсем не пропадает: не знаю, сплю ли я или волки отстали на самом деле?.. Прихожу я в себя от какого-то толчка, рушится тревожно сердце — мы стоим. Вокруг слышны голоса и особенно выделяется один — молодой, теноровый; без устали что-то рассказывает, жалуется, тянет слезливо:

— Ах, телка-то, до чего ж хороша была! Что тятенька скажет. Боюся!

— А ты, дурная голова, об чем думал, — пошто к обозу не пристал?

— Да я уснул — думал учую.

— Учую — вот теперь учуял!..

Егор откидывает полог кибитки — стало быть, кормить лошадей остановились, надо вылезать. Мы стоим в лесу, подле какой-то избушки, на небе, в дымном кругу, — месяц; в его холодном свете лес блещет, как белая кольчуга. Кроме нас, тут еще две подводы. Лошади жмутся друг к другу, непрестанно поводят ушами. Около саней бродит молодой парень в полушубке, подвязанном кушаком, с шапкой-ушанкой в руке. Парень этот гнал телку в соседнюю деревню. Была телка привязана сзади к саням. По дороге парень уснул, отстал от обоза — телка не то отвязалась, не то напали и разорвали волки. Парень плачет, не знает, что делать.

— Таперь делать нечего, — говорит Егор, — пиши пропало! Таперь батько-то прочешет спину, я бы те прочесал!

В избушке мы должны заночевать, — дальше Егор не едет: кони устали, в лесу полно волков, надо ждать свету. Коней распрягли, поставили полукругом к избушке, дали сена. Но кони бьются в кучу, озираются, прядут ушами, не едят — чуют, верно, близко волков. Тщетно я всматриваюсь во мглу — ничего не видно; только изред-

ка раздается легкий треск, звук быстрого движения. У волков отнюдь не светятся глаза в темноте, как обыкновенно пишут; в лесу волка трудно заметить. Человека они чуют издали и огибают это место за версту. С человеком у них, очевидно, связано чувство смерти. Лишь зимой, в лютый голод и стужу, они приближаются к деревням, к подводам и нападают на скот, и то, если человек уснет, зазевается. Егор и другой мужик разводят около избушки костер, а малый всё бродит и жалуется:

— Телка-то! За телку-то тятенька 20 рублей смекал взять... И что мне, горемыке, делать!..

— Стыд и страм! — отвечает Егор — телку волкам скормил — какой же из тебя выйдет крестьянин?

Полукругом разложен огонь, вьются длинные, алые языки, похожие на клочья каких-то знамен, приятно пахнет смолой. Во тьму, как бабочки, несутся, нагоняя друг друга, искры с сухим треском. И теперь, если внимательно всмотреться в лес, то тут, то там вспыхивают в отблеске костра две-три пары углей — волчьи глаза Они тут, они голодны и ждут — не удастся ли урвать что-нибудь. Лошади храпят, дрожат всем телом. Пока мы стоим, подходят другие подводы, распрягают коней, парень всем рассказывает про свою беду, и над ним смеются.

В избушке тускло горит лучина, чадит, пахнет копотью, жарко натоплена каменка. Егор устраивает мне какое-то лежанье в углу. От усталости я едва стою на ногах и, не раздеваясь, падаю, но сон не приходит. А народ всё прибывает. Вокруг стола, на котором горит лучина, сидят человек шесть, один из них рассказывает Прямо передо мной в тусклом свете — глупое лицо с раскрытыми, толстыми губами — это парень, проворонивший телку.

— Ай, не надо мне ни золота, ни серебра, — тянет певуче голос. — Дитей у меня нетути — дай-ка ты мне, Чарь-Осударь, эфтого добра молодца, а будет он у меня

заместо сына. Чарю делать неча, надо слово свое держать. Хорошо, живет добрый молодец у хрестьянина долго ли, коротко ли, — хрестьянин ему не налюбуется, не накрасуется — на старости лет Бог помогу дал...

Голос у рассказчика довольный, гибкий, мерный — так передавали, вероятно, былины в гомеровские времена.

— А хто таков будешь, добрый молодец? — спрашивает хрестьянин. — А я — отвечает — буду Чаревич Иван...

Поразительно, как было вплетено в народную жизнь, неразделимо связано с нею это слово, это понятие: царь, и как легко и скоро тот же самый народ стал цареубийцей! Прислушиваясь к сказке, к мерному голосу, к сухому шороху тараканов на стене, я лежал с закрытыми глазами, не в силах пошевелиться от истомы, и всё считал в уме: долго ли оставалось еще до дому ехать? Оставалось еще четыре дня и четыре ночи. И это казалось непреодолимой вечностью.

VI

На шестые сутки пути до дому осталось тридцать верст. В полдень мы приехали в деревню и остановились кормить на постоялом дворе. По дороге я незаметно заснул под утекающий свист колеи под полозьями, спал, бредя о близком доме, и сердце у меня радостно проваливалось куда-то вглубь. Я проснулся, когда Егор, откинув полог кибитки, весело закричал внутрь:

— Вставай, учоной, Турасово! Бог даст, покормим последний раз — к утру дома будем.

Турасово! До сих пор, все шесть дней, названия деревень были мне чужды, я никогда о них не слыхал, а Турасово — это было уж что-то совсем близкое и родное. Летом, во время страды, у нас часто работали турасовские девки и парни: отец езжал туда постоянно верхом; слово это просто стояло в моих ушах. Я отогнул медвежью шкуру, обшитую по верху синим сукном, и полез из кибитки наружу. Но от сна тело всё одеревянело, я едва мог шевелиться в моем дорожном тулупчике, и Егор, в конце концов, вытащил меня из саней и поставил на укатанную дорогу. В глаза мне ударил такой острый, ошеломляющий блеск от солнца и от снега, что я опустил веки и пошатнулся на ногах.

— Притомился, боженый, — сказал ласково Егор, очень часто употреблявший это слово — вот, говорю, Бог даст, покормим коней — вечером в путь-дорогу, а к утру дома будем — так-то!

Всё еще неуверенно держась на дрожащих ногах, я открыл глаза и осмотрелся. Кругом все кипело в ослепительно белом блеске. Сани наши стояли по середине ука-

танной дороги с двумя желтыми, глянцевитыми желобами от полозьев; от мохнатых лошадей валил густой пар, опустив голову, они поводили ушами и отхрапывались. Егор зашел за возок и, отвязав мешок с провизией, снес его к избе; потом он отвел лошадей под сарай и пошел принести воды: из дому выскочил малый и весело закричал:

— Не давай сразу воды-то — зайдутся!

— Ай, какой умный, ответил так же весело Егор. — Ученого учить, брат, только делу портить. Поди, достань сена!

— А может, скажешь, овса? — переспросил парень, скаля зубы.

— Неси овса, коли можешь поставить, — ответил солидно Егор и пошел дальше, не глядя на парня.

«Так вот оно какое, это Турасово!» — думал я, глядя на два ряда бревенчатых изб с двускатыми крышами под пухлым ковром снега. Невдалеке от нас, в сторону от дороги, стоял сруб колодца, весь обросший ледяной корой, с тяжелой, деревянной бадьей, тоже сплошь обледенелой, на уключине. К колодцу вели зеленые ледяные потоки, и всё вокруг него было залито водой и тоже обледенело. Теперь к нему шел Егор с ведром в руках. Он одет в бурый овчинный полушубок, подпоясанный цветным кушаком, на ногах у него расписные валенки, а на голове островерхая меховая шапка, как рисуют ее у Ивана Грозного или у Пугачева. И розвальни наши под серой кибиткой, и деревянные дома кругом с резными оконцами, всё это было какое-то старинное, пугачевское, и мне невольно вспомнилась «Капитанская дочка» Пушкина, которую мы только что читали в гимназии на уроках словесности. Там она не производила на меня никакого впечатления, там разбирали мы прямые и вводные предложения и периоды и еще какие-то другие обороты речи, а здесь, вдруг, я почувствовал явственно тот же самый мир, ту Россию, стоявшую уже столетия;

я видел ясно, как ехал по степи, по снегу, Гринев с Евсеичем в такой же кибитке, что и у нас. Деревня лежала на берегу реки, другого берега совсем не было видно — передо мной простиралась, текла, кипя в остром блеске, белая бескрайность, а над этим зыбким белым блеском покоилось холодное, застывшее, иссиня-зеленое небо; и мы были словно замкнуты в этом беспредельном, безмолвном русском мире.

— Сомлел, боженый? — переспросил Егор, приближаясь с ведром. — Ступай, разомни ножки, а я об эту пору самовар схлопочу. Ты, может, щец похлебаешь? Хозяева, знать, варили, богатый дом, на проезжающих доходы большие имеют...

Я послушался и прошел на гору, и стал там, зачарованный этим ледяным миром, с каким-то жутким счастьем, ощущая свою принадлежность к нему и свою безнадежную в нем потерянность и малость. Мне пришло вдруг в голову, что нигде кругом не было видно церкви Это так поразило меня, что я даже испугался — до того показалась потерянной, и сиротливой, и забытой в миру эта деревня! Да как же они без церкви?.. Скоро Рождество, —куда же они утром к службе пойдут, как же это у них даже колокольного звона не бывает?.. И с чувством недоумения и глубокой жалости к этим домам я пошел назад к постоялому двору.

Обитая соломой дверь снаружи обтянута серой дерюгой, в избе, справа от входа, покоится огромная русская печь с полатями, вдоль стен бегут массивные, низкие, деревянные лавки, в переднем углу под иконами — огромный тесовый стол. Потемневшие от времени, растрескавшиеся, глянцевитые стены не обиты ничем, между балками, в пазах, лежит седой мох. Всё это я сразу разглядел, все это было в любой крестьянской избе на севере, и меня опять поразила нерушимость и стойкость жизни здесь, — в городе каждый дом был иной, а комнаты меняли свой облик даже ежемесячно.

В избе тепло, пахнет свежим хлебом и щами, Егор уже хлопочет около самовара, доставая наши дорожные продукты: ветчину, яйца, домашнюю колбасу.

— Ах, грех, грех, — шепчет он беспрестанно, — в рождественский пост мясо принимаем — да что взять, дело дорожное, в гостях, в дороге и архиереи мясное дозволяют.

— Сними тулупчик, — поворачивается он ко мне, — да пройдись в горницу, хозяйка сейчас тебе щец нальет.

Хозяин двора, высокий, рыжий мужик с лоснящимся лицом, а хозяйка — молодая, беременная баба с чудовищно выворoченным животом, с совершенно белыми губами. Кроме них, в избе целая куча ребятишек. Они все смотрят на меня, открыв рот, как галчата, и в другое время я ощутил бы, несомненно, гордость, сняв тулуп и оставшись в новенькой, серой гимназической шинели с петлицами, со светлыми пуговицами, но сейчас ничто не щекотало мое самолюбие; была только усталость и желание скорее попасть домой. И, пройдя в горницу, я долго стоял в одиночестве у окна, глядя на пурпурно рдеющий край неба, на розовато мерцающий снег, на широкие переливы дальней зари — было почему-то грустно и сиротливо на душе от этого вечернего покойного света и этого огромного мира, и в то же время радостно вздрагивало сердце при мысли — и не верилось, — что завтра я буду дома!.. Вот уже второй год я учился в городе, в гимназии, вдали от семьи, за 500 верст от дому, а первые детские годы, уже навсегда ушедшие, всё еще владели мною; я всё еще надеялся на какое-то возвращение вспять, к тем тихим дням, когда я жил дома с семьей, когда весь мир был прост и ясен и не пугал своей величиной, и я не стоял один перед ним... Чтобы не беспокоить Егора, я поел «щец» и ветчины и выпил чаю с баранкой, хотя мне ничего не хотелось; Егор же сидел в избе с хозяевами и рассказывал о большом городе, откуда мы

ехали, о моих родителях и об их богатстве, и врал при том самым невероятным образом, и с видимым удовольствием, как будто те многие тысячи рублей «капиталу», как он выражался, принадлежали ему самому.

— Да чаго ж ему учиться при таком капитале? — удивлялся хозяин. — При деньгах чаго учиться — деньги сами приведут и научат...

— Без ученья нонче с капиталом нельзя, — ответил убежденно Егор. Без ученья теперь с капиталом погибель. Знамо, не сладко — он понизил голос — с таких-то лет по чужим людям!.. Малый скучает по дому, вижу, — не ест, не пьет.

— А чаму же его учат? — спросил насмешливо хозяин.

— А учат его звезды считать. Хочет знать, сколько земле и небу стоять...

Егор опять приготовился рассказывать свои сказки о моем мифическом учении, как это он делал на всех постоялых дворах, но хозяйка вдруг шумно охнула и заговорила:

— Вот бедный — ума решится! У нас так-то вот один мужик всё на звезды смотрел, да Библию читал — а там и совсем ума решился, достал купоросу и ночью на угоре отравился...

И я невольно представил себе этого мужика — как он выходил об эту, уже темнеющую пору на угор и стоял там один, глядя на неизменно льющие свой свет звезды, в эту безответную, сияющую даль, не в силах постичь ее, пока она не увлекла его в свою бездну...

А стрелки на стенных часах с медной гирей, казалось, не двигались, и я уже пересчитал все цветы на обоях и изучил все фотографии на стенах; изображали они бравых, усатых солдат, видно братьев хозяина, с медалями на выпяченной груди.

— Егор, когда же ехать? — не вытерпел я наконец.

— А жди, ишь, нетерплюга. Надо лошадям отдохнуть. Вот под вечер поедем.

— Под вечер, знать, пурга застанет — отозвался хозяин, глядя через окно, — ишь, разлило — точно кровью помазало, — он указал на багровый запад. — Выходил на двор — метет. До вас тут проезжал Кирила с дохтурской дочкой — тоже на святки едет, говорил, надо поспевать до дому засветло... Покормил, званья, один час, и дальше поехал...

Эти слова обожгли мое сердце. «Дохтурская дочка» была, разумеется, Ася, моя первая любовь, как я думал тогда. Их дом стоял верстах в четырех от нас, и она возвращалась теперь из уездного города, где училась в женской прогимназии. При мысли, что я мог застать ее здесь и ехать до дому вместе, у меня захватывало дыхание и, не в силах сидеть, я вскакивал и подбегал к окну, с какой-то странной надеждой. Еще можно их, вероятно, нагнать, если не медля выехать — приходило мне в голову — и я порывался бежать к Егору, торопить его запрягать, но сдерживал себя из стыда, что он догадается о моих мыслях. С тоской слушал я, стоя у окна, его бесконечную болтовню в соседней комнате. Наконец, не выдержав, сказал робко.

— Егор, надо засветло ехать, а то, правда, может метель пойдет. — Мне хотелось сказать «пурга», как говорили мужики, но почему-то я не решился.

— И, какая там метеля! — засмеялся Егор. — Езды-то рукой подать! Лесок минем, а там, через реку, смотришь, и дома.

— Вот на реке-то она и захватит, — отозвался хозяин.

Егор махнул недовольно рукой, однако, всё же поднялся и пошел запрягать. В ту же минуту я надел шинель, взял на руку тулупчик и вышел на двор. Лицо мое горело. Я нетерпеливо глядел, как Егор выводил и ставил лошадей, и запрягал, ворча на меня: «Ишь, взяло — вынь да

положь, покормить коней не дал». Я знал, что если его торопить, то он будет еще дольше возиться, и ничего не отвечал. Уже смеркалось... На западе, над рекой, над дальней, чуть темнеющей каймой леса, рдело небо, походившее на пурпурную мантию, выше стояли прозрачные, словно фарфоровые облака с голубыми жилками неба, а сзади, за деревней, мрачно чернел лес и оттуда медленно поднималась туча, как спина огромного, темного зверя. В мире были такая тишь и холод, что мне чудилось, будто я слышал, как с сухим треском вспыхивали и дрожали звезды. Егор, к моей досаде, ушел зачем-то назад в избу, а я меж тем отогнул полог кибитки, поправил сено, положил внутрь тулупчик и залез в сани. Почему-то казалось — и сердце билось, билось! — что я непременно сегодня увижу Асю, и мне хотелось предстать перед нею не в тулупчике, а в шинели: она делала меня — по моему мнению — неотразимым. Дабы Егор не заметил, что я в одной шинели, я запахнулся полами тулупчика, натянул сверху шкуру и, опустив полог, откинулся на подушки, со сладким чувством близкого дома. И точно, Егор только бегло оглядел меня, откинув полог, привязал сзади мешок с провизией, всё еше ворча под нос, покричав что-то на лошадей, со скрипом сел в передок саней, и — мы поехали. И тотчас же опять охватило меня неотразимое, единственное очарование русской санной езды среди зимней ночи, среди безлюдья и тишины, прерываемой только хрустом снега и посапыванием лошадей, в кибитке, какую знали, вероятно, еще татары. Лежа на подушках, я прислушивался к скрипу полозьев, раскатывающихся в колее, к цоканью копыт и ровному бегу лошадей, обоняя запах сена, и по всему телу сладко, как вино, разливалась дрёма.

Когда мы выехали за деревню, разом стало холодней, сбоку налетел ветер, откинул шумно полог кибитки, и на мгновение я увидел зеленое, залитое лунным светом поле, голубые тени изгороди, бегущие по нем, снег,

роящийся столбом, как дым, и вдали пышную, коралловую стену леса... А потом опять стало тише, теплее — мы въехали в лес. Сверху лился металлический, неподвижный свет, лес казался голубым, завороженным подводным миром. Приподнявшись на локте, я смотрел на блещущие вершины елей: всё было бесстрастно, торжественно, мертво и радовало, что из деревни доносился лай собак; где-то вдали, чуть слышно, выли волки. Потом глаза стали слипаться, и незаметно я заснул. Мерно трусили кони, иногда на раскатах сани скользили на сторону, я пробуждался на мгновение и вновь засыпал... Вероятно, заснул и Егор, его совсем не было слышно...

Во сне меня тревожил кошмар: снилось, что на меня навалился какой-то темный, тяжелый зверь, с криком и ужасом я старался выпростать свое тело и не мог. Вероятно, от этих усилий я и проснулся, и сразу не мог понять, где я находился. Было холодно. С правого боку на сани и на шкуру намело снега, на ногах тоже лежала серая, снежная глыба, — я едва мог пошевелить ими. А дальше ничего не было видно — ни Егора, ни лошадей. Вместо полога передо мною свистела и кружила серая мгла, сбоку рвал ветер, приподымая и кидая в сторону повозку, жалобно скрипели оглобли. «Пурга» — вдруг вспомнил я слова мужика. Лошадей не было видно, ни слышно — ехали мы или стояли?.. В лицо бил колючий снег. Напрягая все силы, я попытался выпростать ноги, но снег только обрушился мне на лицо, за воротник, и в отчаянии я закричал: «Егор!». — Голос мой едва заполнил кибитку, снаружи его, конечно, не было слышно. Впрочем, Егора не было в санях. Страх отхватил меня: а вдруг лошади сорвались, убежали, Егор ушел их ловить, потерялся, и я один остался в этой пурге, где-то в поле или на реке, без дороги. И опять я стал тянуть ноги и, наконец, выпростал их и сел. Мы, действительно, стояли. Впереди я различал неподвижные, крупы лошадей, сплошь облепленные снегом. А Егора не было. Уж

не замерз ли он по дороге?.. И не выпал ли из саней?.. Все это пронеслось разом в мозгу, и я уж собирался лезть наружу, как вдруг кто-то дотронулся до кибитки, словно заскреб по ней когтями. Сначала скребло сзади, а потом перешло на левый, подветренный бок, и, весь цепенея, я ожидал чего-то ужасного. Что-то медвежье, огромное, всё запушенное снегом предстало передо мною, с почти не бьющимся сердцем я ждал, что будет дальше, как вдруг эта снежная глыба заговорила голосом Егора:

— Экое дело, экое дело, спаси Христос, пресвятая Богородица... Не замерз бы малец. — И он стал ощупывать меня; вместо лица у него был какой-то белый куст.

— Егор, — позвал я громко, — почему мы стоим, где ты был?

— Дорогу ходил искать, плохо, парень, дело, — отозвался он, — с пути сбились. До берега, должно, рукой подать, а цельный час кружим, не можем выбраться, кони совсем пристали.

Слова его меня, однако, нисколько не испугали; мне казалось даже просто невероятным, что мы могли заблудиться именно теперь, когда до дому оставалось всего лишь несколько часов.

— Должно скоро светать начнет, — продолжал Егор, — тогда, Бог даст, разберемся. Ты не зазяб? — спросил он. Но по голосу его я как-то чувствовал, что до свету еще далеко; меж тем у меня уже начали стыть колени, по спине пробегал мороз, и я раскаивался теперь, что не надел сразу тулупчика. Укутавшись плотнее, я опять лег, покрывшись медвежьей шкурой, а Егор всё ходил около лошадей; ветер доносил до меня иногда его бормотанье. Глаза уже обтерпелись в темноте.

Сбоку у саней росла куча снега, увеличиваясь явно, передок занесло и лошадей не стало видно. В глубь кибитки, ко мне, закидывало снег, и откуда-то сзади, в спину, остро и тонко пробивался ветер, несмотря ни на сено, ни на медвежью шубу. Впереди же кипела бешеная,

белая канонада, белый каскад, обрывки полога на кибитке громко и беспрестанно бились. А гора сбоку всё росла и росла. Нас занесет, похоронит под снегом! — пришло мне в голову, и я вспомнил вдруг, как три года тому назад, в приготовительном классе, мы читали рассказ из Аксакова о мужике Арефье, несколько дней пролежавшем под снегом. От мысли, что это может случиться с нами, я совсем похолодел: и как раз теперь, перед Рождеством, в нескольких часах от родного дома!.. Да что же он не едет? — подумал я об Егоре, — и как он не мерзнет в своем армяке? И в ту же минуту, как будто отвечая на мои мысли, появился Егор и глухо закричал:

— Ехать надо, тута совсем занесет!

— Отчисти хоть снег, тяжело ногам.

— А терпи, терпи, спаси Христос, под снежком теплее, так отморозишь ножки. — Голос его был сухой, сам он весь дрожал.

Забежав на подветренную сторону и взобравшись на передок саней, он зацокал языком и задергал возжами. Первое время лошади не трогались с места — очевидно они спали — а потом вдруг взяли и побрели, поводя головами, в сторону совсем обратную от нашего дома, как мне казалось. Ветер бил теперь прямо в лицо, поспешно я натянул медвежью шкуру на голову. Но как же Егор? Не замерзнет?.. И я снова открыл лицо. Ветер дул уже сбоку. Потом он опять ударил в лицо, снова подул сбоку, и так крутили мы долго — час, два, а может, и больше, — кругом стоял свист и тот же снежный каскад, и мне казалось, что иногда в этой серой мгле вспыхивали чьи-то глаза. Волки? — думал я с ужасом и не хотел верить. Я то впадал в забытье, то приходил в себя от холода, и тщетно смотрел вперед, напрягаясь увидеть берег. А Егор сидел неподвижно, весь занесенный снегом, подобный мумии... Кони иногда останавливались и опять шли, и опять останавливались... А ведь мы замерзнем — вдруг ясно пришло мне в голову, — если Егор уже не

замерз. Его надо было бы толкнуть, разбудить, но у меня не хватало ни сил, ни даже воли пошевелиться. Невыразимо приятное чувство тепла, дремоты, бродило во мне, и первое время я пугался, ибо знал из рассказов, что именно так замерзают люди... «Господи, молился я, только не сейчас, перед домом, перед Рождеством!.. Пусть я приеду, повидаюсь со всеми, еще поживу одни только Святки... Пусть, лучше на обратном пути замерзну», — говорил я в темноту и в то же время чувствовал, что не верю своим словам и словно хочу кого-то обмануть: только бы сейчас не замерзнуть, а потом, потом мы еще посмотрим... И я стыдился, и боялся этой своей нечестности. В ушах стоял какой-то далекий, глухой звон, и в снежной мгле мне мерещилось миганье огней. Неужели я всё-таки замерзну, — подумал я. А огни всё мигали, и звучал колокол. И вдруг я понял, что это на самом деле так происходило: невдалеке от нас, во мгле, действительно светился огонь и звенел колокольчик.

— Егор! — закричал я изо всех сил, — Егор! — С трудом выпростав свои ноги, я вылез наружу и стал его толкать, но он долго не подавал никаких признаков жизни.

— Егор! — звал я в испуге, — мы приехали!

И в это время громко заржал наш коренник, и сразу же где-то раздалось ответное слабое ржанье. Лошади опять тронули. Егор шумно вздохнул и соскочил с саней.

— Эй, кто крещеный? — закричал он не своим голосом.

Скоро мы подъехали к какой-то снежной горе. От нее отделился великан, весь белый. В руке он нес фонарь и махал им.

— Эй, кто крещеный? — закричал Егор снова.

— Пучугские, — отвечала фигура, — с пути сбились. А ты не Егор будешь, не Воронихинский работник?

— Я самый, — отвечал Егор. — Тоже грех, скажи

на милость, перед самым домом в пургу попали. Кого везешь?

— Дохтурскую дочку. Попали, что ни есть, в самый раз, — фигура выругалась. — Конь пристал... не идет, замерзать тут...

Услышав, что Ася была в десяти шагах от нас, вот в том возке, я нисколько не удивился, точно так и должно было быть. Но как следовало мне поступить?.. Нужно было как-то взять Асю под защиту, спасти ее от пурги, от волков, от опасности, предстать пред нею защитником; и я жаждал этого и всё-таки не мог заставить себя встать.

— Распрягать тебе надо, — раздался сбоку решительный голос Егора.

— А как же я воз покину, денег стоит.

— А он те поблагодарит, коли дочку заморозишь. Дурная голова! Поутру стихнет, найдешь воз, что ему здесь сделается.

Они ушли в темноту и скоро опять вернулись, ведя лошадь под уздцы. Вторую пристяжную хотят впречь, — сообразил я, — а как же останется воз? В самом деле, ведь там же Ася?

— Егор, Егор! — с ужасом закричал я и поспешно стал выбираться из воза.

— Чего ты кричишь? — раздался сбоку, совсем рядом, его голос. Ляжи, сейчас поедем... Вот, только компаньонку к тебе переведу. Теплее будет ехать. Ляжи, знай!

В темноте, замирая сердцем, я лежал, ожидая ее. Но что было лучше: встать или остаться так лежать? В конце концов я решил притвориться, будто совсем не знаю об ее присутствии, и больше всего заботился о том, чтобы она не подумала, что я боялся метели, — нужно было показаться холодным, спокойным. Я приподнялся на локоть и остался так, полулежа, как будто я о чем-то думал. Мне не пришло в голову, что среди ночи, среди

мглы она совсем не могла заметить моей геройской позы. Скоро Егор появился с ношей на руках.

— Куда вы меня несете? — различил я трепетный, дорогой мне голос, спрашивающий беспрестанно, со слезами: — Почему, куда вы меня несете?!

— А вот, с компаньоном веселее будет ехать, барышня. Не сомневайтесь, к утру домой преставим.

Ася барахталась рядом, видимо не узнавая меня.

— Успокойтесь! — сказал я, стараясь говорить низким голосом, — я с вами.

Она приподнялась, насколько могла, в темноте я различил блистанье глаз, уловил ее дыханье, у меня зажало от радости сердце, и вдруг улышал ее голос, как ангельскую музыку:

— Ах, это вы, Андрюша, ах, как я рада!.. Я так боюсь, мы заблудились, мы сбились с пути... Я так боюсь! — и она придвинулась ближе ко мне.

— Не бойтесь ничего, — отвечал я опять, весь загораясь геройством и добавляя те же слова: — Я с вами!

— Правда, вы думаете, Андрюша? — спрашивала она беспрерывно и ветер рвал ее слова, — какой ветер! Вы думаете, мы доедем, буря пройдет?..

— Не бойтесь ничего. У меня хороший возница, Егор никогда не собьется с пути, — и я взял ее за руку. Мне нравилось, что я сказал: «Егор, мой возница», — выходило совсем по взрослому и придавало мне веса.

— Ах, Андрюша, скажите ему, чтоб он принес сюда мои вещи, там все мои подарки к Рождеству...

— Егор, Егор! Доставь вещи барышни сюда — слышишь! — Я старался говорить так, как говорил мой отец с кучерами. Но никто мне не отзывался, в темноте никого не было видно; между кибиткой и лошадьми стояла белая сетка. Я сейчас вернусь... — сказал я и начал уже вылезать из кибитки, как Егор неожиданно появился.

— В задке вещи, что кричишь попусту, — объявил

он довольно грубо, взбираясь на сани; с другой стороны сел Пучугский мужик.

Мы вновь тронулись. И опять широко, разом, захватывая всю кибитку и обжигая лицо, рванул ветер, кинул снег под полог. Вокруг нас стоял вой, выл ветер, катясь по снегу, по реке, но чудилось, что это какие-то злобные, живые, костлявые существа, несущиеся стеной по ветру с распростертыми руками.

— Что это? — спросила Ася, со страхом придвигаясь ко мне, — вам не страшно, Андрюша?

— Ах, чего же бояться! — отвечал я и, действительно, мне ничто в мире не было страшно. — Кони добрые, вынесут.

И тут снова налетел порыв ветра, до того сильный, что кибитку подбросило в воздух и едва не опрокинуло: я видел, как вывалился из сиденья Пучугский мужик. И вновь завыли эти серые существа с распростертыми руками, и среди мглы и воя гулко заржала лошадь, закричал Егор: «Держи, держи, оборвет пристяжная». Мужик кинулся куда-то бежать.

— Боюсь! — прошептала Ася тихо, совсем придвинувшись ко мне под тулупчик. В темноте я видел ее блестящие глаза, прядь волос, выбившуюся на лоб, полураскрытый рот. И, обмирая сердцем и ужасаясь тому, что я делаю, я просунул руку под ее шубку и, прижимая Асю к себе, коснулся губами ее холодных губ. Ася ничего не отвечала, только теснее прижалась ко мне. Она любит меня, я не ошибался значит, — думал я блаженно. Я уже не слышал ни ветра, ни воя, не ощущал ни холода, ни снега, — весь мир мне заполнило это существо, прижавшееся ко мне, эта голова в меховой шапочке, полураскрытые губы... Ася уснула скоро, а я всё смотрел на нее, всё ловил ее дыхание, почему то страшно меня умилявшее. Рука моя заныла от тяжести, но я не смел, не хотел ее вытащить... Потом я и сам заснул.

А когда проснулся, было уже тихо. Гулко похрусты-

вал снег под ногами лошадей, под полозьями, в кибитку лился зеленый, холодный свет — и я еще ничего не успел толком сообразить, как мы остановились. С сиденья соскочили, Егор отдернул полог и на зеленом, светящемся небе я увидел снежные очертания сада, вдали, меж деревьев, дом с красными окнами, который я узнал бы из тысячи, кружево дыма над крышей...

— Приехали! — закричал Егор.

Ася еще спала. Не желая ее будить, я потянул руку. Ася проснулась на мгновенье, посмотрела на меня, вероятно, не узнавая, и я не вытерпел и опять коснулся губами ее холодных щек.

— Ася, я вас люблю, — сказал я тихо, — вы знаете это?

— Да, — отвечала она, — да.

Это было мое первое признание в любви — и, вероятно, самое бескорыстное.

VII

Первой встретила меня наша няня Ивушка. Когда, вбежав на крыльцо, я распахнул дверь в коридор, задыхаясь от счастья, Ивушка несла кипящий самовар из кухни в столовую.

— Ивушка! Урра! — закричал я изо всех сил. Самовар едва не выпал из рук старухи — так испугал ее мой неожиданный окрик. Она опустила самовар на пол и сощурила свои слепые глаза, но я уже висел на ее шее, прыгал вокруг по коридору.

— Ах, Господи! Мать пресвятая Богородица! — промолвила, наконец, Ивушка, обороняясь: — Да ты, нешто, очумел, постой ты, Христа ради! — А лицо ее, всё в мелких морщинах, уже смеется, и в глазах прыгают зайчики. — Из-за тебя, поганца, чуть не обварилась, имя Божье всуе поминаю. Что ты, ровно жеребец, скачешь!.. Пройди степенно, поздоровайся с родителями...

В столовой был уже накрыт утренний чай, но еще никто не вышел. Мать моя еще спала. Ивушка сказала, чтоб я ее не тревожил, и это показалось мне странным: мать вставала всегда очень рано. И отец тоже еще не выходил. Что всё это значило?.. От Ивушки я узнал далее, что за день до меня приехала из уездного города, где она училась, моя старшая сестра. Мне было обидно, что мой приезд прошел столь незаметно, как будто меня даже и не ждали. И что мне вообще было делать: ждать ли здесь выхода отца или идти к брату Мише в нашу комнату? И такая досада, что приходилось снять новую шинель — никто меня в ней и не видел, а главное было первое впечатление. Проходя в коридоре мимо зеркала, я

замедлил шаг и скосил на него глаза: остановиться и прямо посмотреть на свое отображение я не решился: мне всегда казалось стыдным смотреться в зеркало.

— Шинеля-то, шинеля-то! — Ивушка всплеснула руками и застыла предо мной: — Прямо генеральская. Пуговицы блестят! Аль тебя уж в чин вывели, — старшина на поклон должен придти?

В ее глазах, в морщинистом, высохшем, как пергамент, лице было явное лукавство, но слова ее мне чрезвычайно льстили.

— Раздевайся скорее — в дороге-то, верно, умаялся. Выпьешь чайку, — и отдохнешь, — продолжала Ивушка скороговоркой, — завтра рано к службе. Со звездой-то пойдешь?.. Ванька Бандура всё прибегал, спрашивал — когда будешь? — Она сняла с меня шинель и говорила, не переставая. — Вот, батенька выйдет, попьешь вместях чайку. Оно бы и грех — чай-то распивать. Старики учили: сей день ни единой крупинки нельзя в рот принимать, доколь первая звезда на небо не вступит. Звезда сия привела в ясли к Господу Иисусу новорожденному трех святых волхвов... «Волхвы же со звездою путешествуют» — сам знаешь, в церкви поют. В старое время свято блюли обычай, — а теперь всё переменилось. Грех один!.. А тебе, с дороги, дозволяется. С дороги можно... А я вот уж попощусь до звезды ради души моей грешной. Помирать пора...

В этот момент появился отец. Он был в валенках, в руке нес башлык, — значит, собирался куда-то ехать. Я стоял около стола и смотрел молча, как он приближался ко мне; надо было бы подбежать к нему, вообще что-то сделать, сказать, а на меня нашло странное состояние, охватывавшее меня часто: я знал, что надо проявить какое-нибудь чувство, и я имел его и всё-таки не мог себя к тому заставить. Многие считали меня за то неблагодарным, я сам страдал от этого состояния, ибо, вероятно, обижал людей, хорошо ко мне относившихся,

но оцепеняющая, непонятная сила была всегда сильнее меня. Ивушка после выговаривала мне: «Что ты, как истукан, встал, к папеньке не подбежал. Ровно чурбан бессловесный». Отец подошел ко мне, взял за плечи, посмотрел в глаза — мне показалось, что он думал в это время о чем-то совсем ином — и поцеловал меня в лоб, защекотав бородою. От усов его и от головы пахло помадой.

— А, приехал, ну, каково доехал? — сказал он, садясь за стол и наливая себе стакан чаю. — Ты его уже поила, Гавриловна? — обратился он к няне, — нет, — ну, вот тебе чашка, — пей и рассказывай.

— А нас в дороге чуть волки не съели, и мы чуть не заблудилить в пурге вчера.

— Ну, волки вас съесть не могли, — подавились бы, а метель, действительно, была крепкая. — Лицо его приняло озабоченное выражение. — Что, Петруха не вернулся? — спросил он Ивушку.

Та молча покачала головой.

— Говорил вчера дураку — не езди, выжди, пока метель пройдет, не послушался, дурная голова. Ну, надо ехать, — сказал он, наскоро выпивая второй стакан и закусывая баранкой. — Уехал вчера работник, Петруха, за сеном на луг — пояснил он мне, — с тех пор не вернулся, надо проведать... За ночь-то улеглось, — и, махнув мне рукой, он вышел сильной, кошачьей походкой из комнаты. Через секунду мелькнули лошадь, сани, фигура отца в медвежьем тулупе. — «Воронихин поехал догонять ветер».

Мне очень нравился мой отец, но я никогда не мог с ним сойтись, хотя хотел этого страстно: он никого не допускал очень близко до себя — разве только мужиков; род же свой выводил, однако, от каких-то опальных «двинских бояр», чем очень гордился. Мужикам он подражал во всем: никогда почти не носил брюки на выпуск, а всегда забирал в легкие, шевровые сапоги, не призна-

вал галстука, надевал только русскую рубашку, даже под пиджаком, так что, когда он приезжал в город, мне было за него даже неловко, не брил усов и бороды, волосы стриг в скобку, косил сено, рубил лес, — его считали толстовцем. Но он не был толостовцем — для этого в нем текла слишком горячая кровь: он любил вино, лошадей, страстно менял их с цыганами, любил дикую езду, пляску, песни. «У Воронихина хмель и в жилах бродит», — говорили про него мужики. Он считал, что исповедывать какую-нибудь веру — будь это во Христа или в Толстовское учение, или в крестьянский быт — и жить по-иному, было самым большим грехом и соблазном. Поэтому он старался жить всегда так, как верил, и по тому, как он жил, можно было сказать, во что он верил.

— Ивушка, а почему у нас так тихо? — спросил я. В доме стояла какая-то необыкновенная тишина, пугавшая меня.

— А вот, молчи и пей чай, а я тебя потом к матушке сведу, — уклончиво отозвалась она, и я уже знал, что, вероятно, что-то случилось...

— Ивушка, скажи, что случилось?

— А молчи, знай — и вдруг понизив голос, — а Бог тебе сестрицу послал — третьяго дня окрестили — Татьяне мученице. Имя то столь некрасивое, мужицкое дали. То ли дело, коли бы Валентиной, али бы Тамарой — как у доктора дочка, а то Татьяна, Танька — самое, что ни на есть, мужицкое имя... У нас, в деревне, Танек-то не перечесть...

«Бог тебе сестрицу дал...». Я вспомнил удивление и испуг, охватившие меня, когда, года четыре тому назад, меня ввели в комнату матери и рядом с нею, на подушке, я увидел красное, мокрое, истошно ревущее, непрестанно дергающее руками и ногами существо. Мне объявили тогда, что это моя новая сестрица, и я никак не мог себе представить, чтобы из этих кривых ног и рук и морщинистого, подслеповатого лица вышла бы

такая же сестра, как моя старшая сестра Мария, стоявшая тут же рядом в коричневом платье с белым воротничком, в черном передничке, с длинной косой. Я потом ее сам спросил о моих сомнениях, а она только сжала презрительно губы и сказала, что я ничего не понимаю. И, действительно, из этого красного существа, как-то неожиданно и незаметно, выросла моя другая сестра, Саша, и теперь я любил ее, пожалуй, больше всех. Тогда я недоумевал, с испуганным изумлением, — как это могло случиться, и откуда могла появиться новая сестра, которой раньше у нас не было, а сейчас я уже не испугался и не изумился: была только какая-то робость, может быть, даже смущение, когда Ивушка ввела меня к матери.

— Не шуми у матери, веди себя тихонечко, слышишь? — сказала Ивушка перед дверью.

В комнате было полутемно, слабо горела лампада перед образами, пахло лекарством — от этого у меня всегда сразу становилось тревожно на душе. И сейчас, увидев мать в постели, с измученным лицом, с огромными глазами, и ее протянутые ко мне бледные руки с ниспадающими широкими рукавами белой рубашки, я страшно испугался и едва удержал слезы. Мне показалось, что мать умирает. А у нее на лице — слабая улыбка, и, поцеловав меня в лоб, она кладет мою голову к себе на плечо, и, гладя мои волосы, — этот жест я особенно любил — говорит:

— Ах, как я рада, что ты приехал, милый Андрюша. Я всё волновалась, что тебя не отпустят так рано из гимназии.

Она спрашивает меня о моей жизни и, лежа головой на ее плече, я рассказываю бессвязно, жалуюсь на Амалию, на инспектора и на Шереметьевского, гимназиста из третьего класса, который дразнит меня громко при всех «вороной» за мою фамилию, и задирает меня непрестанно; я рассказываю о волках и пурге, а она всё гладит мне волосы и говорит какие-то нежные отдельные слова,

действующие успокоительно, как молитва... И теперь еще, сквозь гущу лет, я слышу явственно ее дорогой голос, чую эту руку на волосах, вижу ее недопитую чашку чая, ее рабочий деревянный ящичек с нитками и иголками на шкафу, ее бесчисленные кулечки и сверточки, над которыми так смеялся отец, — какая невероятная даль отделяет меня от тех ясных, блаженных времен!.. И всё это было на самом деле, — были эта чашка, этот ящичек, который всегда стоял на одном месте, — это не сон, как теперь кажется иногда, — но как же случилось, что всё это исчезло незаметно и невозвратно, — вот, что самое ужасное!..

Среди тишины я различаю вдруг чье-то движение, вздох, и потом на всю комнату раздается плач. Откинув руку, мать начинает легко качать постель рядом с собою, тихо шепчет что-то, и тут я опять вижу спеленутое, маленькое тело, морщинистое, мокрое лицо, беззубый рот, по-кошачьи плачущий.

— Это твоя новая сестра, — говорит мне мать, — Таня — посмотри на нее.

И я смотрю, и о чем то смутно уже знаю и догадываюсь — я видал уже женщин с огромными животами, вот как в Турасове, и мне неловко от этого, и я стараюсь думать о другом. И, как в прошлый раз, у меня к этому кричащему рту неприязнь, почти отвращение.

— Ступай милый, отдохни. Ивушка тебе постелит, — говорит мне мать, беря на руки спеленутое тельце, и я сам рад, что нужно идти.

VIII

В доме всё еще тихо, чуть прохладно, но уже затоплены всюду печи, шумно трещат дрова. Я прошел опять в столовую и остановился перед окном в сад. Сад был всё тот же старый, знакомый, сейчас весь пепельно-жемчужный, кружевной, а за ним где-то далеко пылало солнце, как огромный, красный глаз, совсем не излучая свет... Прямо за садом высится зеленый шатер нашей церкви, подальше шатер колокольни; купола и кресты, покрытые инеем, тускло мерцают. Во всем этом есть что-то вековое, старинное, из давно ушедших, будто татарских времен. И мне было почему-то грустно от неизменности этого внешнего мира, этой дали, как была она при отцах, дедах и прадедах, в то время, как мой мир менялся, то, что я больше всего любил, неотвратимо ускользало от меня; приходили новые лица, новые места, которых я совсем не хотел.

Вошла Ивушка с железным совком в руках, взять угли из печки.

— Поди, поспи, я тебе постелила в гостиной, — объявила она.

«Гостиной» у нас звалась комната по левому фасаду дома, где никто не жил, останавливались иногда проезжие. Раньше я спал с братом Мишей в одной комнате, на святках к нему перевели Сашу, а у старшей сестры была теперь отдельная комната. И опять я почувствовал, что я уже не попрежнему, не навсегда дома, что я «проезжий», и было от этого очень горько: кто-то или что-то приходит и встает на наше прежнее место и вытесняет навсегда и непоправимо, и никогда ничто не идет вспять.

Это всё я почуял тогда, должно быть, впервые — было ли это предчувствие скорой катастрофы, или же переход в юность? — кто знает, но у меня холодно обмирало сердце, и впервые, вероятно, я понял, что жизнь есть одна сплошная утрата; и, чем лучше жизнь, чем дороже люди, тем горше будет утрата. Часто потом, позднее, из этой утраченной дали вдруг воскреснет остро на мгновение в памяти какой-нибудь день, непоказанное чувство, несказанное слово — несказанное в надежде или уверенности, что будет еще случай сказать его — увы, случай этот, большей частью, не представляется, и только память горькая точит упреком сердце.

Спать мне не хотелось, сестры мои и брат еще не вставали — что же мне было делать? Никто на меня не обращал внимания, не переживал, видимо, моего приезда, а я ждал совсем другого. В нерешительности я побрел на кухню. Пройдя сквозь темный коридор, по которому я всегда боялся ходить, физически ощущая чье-то присутствие, чьи-то руки, вытянутые за спиной, я ощупью нашел обитую сукном дверь и вошел в кухню. Она полна чаду, запаха сдобного теста, горячего масла, жаркого — очевидно, в печи стояли окорока. Огромная русская печь раскалена до того, что, казалось, двигались ее бока; перед нею — лоснящаяся багровым лицом, с засученными рукавами, с лопатой в руках кухарка Настасья. А на столах вокруг — бесчисленные железные протвени, сковороды, груды теста в муке. Палашка — дочь кухарки — смазывает протвени птичьим пером, макая его в растопленное масло, а Настасья катает тесто, заворачивает пироги и, ловко подхватывая их на лопату, отправляет в печь. При виде меня обе останавливаются, Палашка краснеет, глупо смеется.

— К празднику приехал? Дома то, чай, лучше. При солнышке тепло, при матери добро — приветствует меня Настасья и, не дожидаясь ответа, достает горячий, по-

стный бублик, которые она так мастерски делала, и протягивает мне.

— Вот, покушай, седни сочельник, постный день, к церкви сходишь утром разговеешься.

А на другой половине кухни, за ситцевой занавеской, сидят за столом, пьют чай Егор и Авдей, наш другой работник, ходивший за скотом. Он был уже стар, с узкой и реденькой, седой бородкой, необыкновенно кроткий и добрый. Носил он очки в оловянной оправе на веревочке, подымая их на лоб, когда не нуждался; ходил в домотканной длинной пестрядиной рубахе в красную клеточку, подпоясанный тонким поясом, летом — босой, а зимой — в валенках. Всё свое досужее время он сидел на кухне под образами и читал Библию, которую знал наизусть. В нем самом было что-то библейское.

— А, приехал, приехал, молодеч! — вместо «ц» он выговаривал «ч». — Садись, чайку выпьешь с баранком, за компанию с Егор Ивановичем. Я-то не пью до звезды.

— Пустое дело, — говорит Егор, много раз бывавший в городе и считающий себя передовым человеком, — по науке-то совсем пустое дело — скажем, обычай старый: до звезды не пить, не есть. А на самом деле по науке выходит совсем иная. — И он смотрит на меня, вероятно, ища поддержки.

— Навык добро науке, — отзывается Авдей, выражающийся больше туманными афоризмами, — но звезда та есть смирения образ... Горе имеем сердча. Великий бо заутра праздник — родится Отроча младо, предвечный Бог...

Он смотрит на меня своими глубоко впавшими, для его лет необыкновенно чистыми глазами, и я невольно чувствую какой-то нездешний мир и свет, стоящие где-то за этими глазами.

— А за вами Ванька Бандура уж сколько раз прибегал, — вмешалась вдруг Палашка. — Спрашивал, пойдете ли со звездой с им, аль с кем другим?.. — Она вся

раскраснелась, расползлась улыбкой, в глазах ее сверкает и лучится что-то мне необычайно приятное. — Он обещался зайти седни...

Идти ли мне со звездой?.. Это так напоминало детство: рано, в утренние сумерки, из дома в дом, идти с нарядной, разноцветной звездой, с горящими свечами и петь церковные стихиры и святочные песни и собирать, что подадут. Это так весело! — Но в то же время мне казалось, что теперь это уж не соответствовало моему положению, и, в смущении, я не знал, что ответить.

Авдей пошел дать корм скоту. В старом, деревянном скотном дворе темно, тепло, кисло-вонюче пахнет навозом, с непривычки страшно сделать шаг. Но скоро я свыкаюсь с темнотой и, не смотря, уверенно, как прежде, иду по тесинам, брошенным на навоз. Звучно, неустанно жуют коровы, тяжело переворачивая влажную жвачку; переступая, хлюпают ногами. Лошади стоят дальше, за перегородкой: здесь светлее, суше. Больше всего меня интересует серая кобыла Пегуха: когда я уезжал, она была жеребая, и отец обещал, если принесет жеребёнка, отдать его мне для верховой езды. За три дня до моего приезда Пегуха принесла жеребёнка! Он лежал сейчас меж ее ног — тощий, несоразмерно длинноногий, с клочковатой мокрой шерстью. Завидев нас, Пегуха приподнялась на передние ноги, Авдей погладил ее по шее, и она тотчас же снова легла.

— Статный конь выйдет, — говорит Авдей, указывая на жеребёнка, — под седлом отлично пойдет.

Но мне вообще не верится, что из этого мохнатого, зализанного, неопрятного жеребёнка выйдет когда-нибудь настоящая лошадь.

— Помяни мое слово, — продолжает Авдей, — лошадь будет на загляденье. Первый сорт будет конь.

Авдей знал толк в лошадях, отец всегда доверялся его суждению, и потому слова его мне чрезвычайно приятны, хотя сомнение всё же не исчезает.

Когда мы возвращаемся в дом, в нем уже теплее, больше движения, света. Миша и Саша встали, сидят, пьют молоко в столовой. Они кажутся мне совсем маленькими на первый взгляд — ноги их не достают пола. Оба забыли, дичатся меня, не знают, что сказать, и смотрят удивленно друг на друга.

— А ты привез мне куклу? — спрашивает вдруг Саша, как будто вспомнив что-то.

— А мне кубики? — прерывает Миша.

— А кукла со спящими глазами?

И оба срываются со стульев и наперебой рассказывают мне, что у нас новая сестра — монашки приходили, принесли, что у Пегухи жеребчик, а Егор вырубил вчера большую елку, и стоит она пока на сеновале — меня и Машу ждали, чтоб украшать. Когда же ее принесут? Елка будет стоять вверху, в большой угловой, и мы все бежим туда через коридор по скрипучей старой лестнице — топот наших ног разносится по всему дому. Ивушка выскакивает из кухни, ковыляет за нами.

— Ивушка, Ивушка, когда же елку убирать? — Саша прыгает около няни, дергает ее за подол. Ивушка сердится.

— Оглашенные — мать нездорова, уйметесь ли вы, наконец!..

И весь этот день проходит немного сумбурно, в ожидании. Не во время подается обед, ни отец, ни мать за столом не показываются, но выходит Мария — старшая сестра. Она бледна и томна с дороги, и вообще сильно изменилась с тех пор, как я ее видел осенью: на плечах у нее накинута шаль, выпукло пробиваются груди сквозь платье — и я чувствую, что между нами легло еще большее расстояние, чем прежде. Впервые я сознаю, что сестра очень красива: у нее тонкое, продолговатое лицо, огромные, лучистые, карие глаза, сплошь обнесенные изогнутыми ресницами, мягкие русые косы, и когда

она идет, то гнется вся, как лоза. Держит себя она совсем по-взрослому, за столом сидит на месте матери и делает нам замечания, что злит меня неимоверно, и я начинаю дерзить, но она только презрительно поводит головой, совсем не обращая внимания на мои грубости. Что она воображает! — еще больше раздражаюсь я и с удовлетворением вспоминаю ночь, и кибитку, и мою «тайну» — в самом деле, что она заносится передо мной? Если бы только можно было рассказать, вот бы она поразилась!.. И чтобы показать, что я не маленький, я не принимаю сначала никакого участия в украшении елки, хотя жажду этого. Егор уже внес ее в дом, в угловую, и всюду запахло хвоей, сразу стало Рождество! Лишь после просьб Ивушки я соглашаюсь приделать звезду на самом верху елки и то больше для того, чтобы показать мою ловкость: поставив табуретку на табуретку, я ловко взбираюсь наверх, и Ивушка охает от страха и изумления. На улице уже смеркается, далеко, за черным пустым садом, как огромная золотая гора, сияет солнце, и с него, с этой сияющей вершины, стекают огненные потоки... Я выбегаю на улицу, в прозрачно-сумеречный сад, в тишину вечера, — на небе зажигается, оживает звезда, дрожит, как капля. Первая звезда в Сочельник! Это за нею шли волхвы! Закинув голову, я долго смотрю ввысь, стараясь представить себе ту святую, такую же тихую ночь, и волхвов в длинных одеждах, с длинными бородами, с посохами в руках, шествующих за нею. И мысль, что это, может быть, действительно, *та самая звезда* наполняет душу радостной робостью...

У садовой калитки меня окликают: это Палашка.

— Вас Ваня Бандура на кухне дожидается, уж искала, искала по всему дому. — Она смотрит на меня лукаво, исподлобья, и мне приятно, что она зовет меня на «вы». Но как же мне показаться Бандуре — он, наверно, ждет коньков, — и малодушное желание уклониться от встречи овладевает мною. «Можно будет по-

дарить ему мои собственные коньки — принимаю я решение — а самому в этом году не кататься».

Бандура сидит на лавке в кухне в ватном, дырявом пальто, баранья шапка на коленях. Он дичок, и за четыре месяца отвык от меня, а летом мы не расставались друг с другом.

— Я утром видел, как ехали, хотел сразу бежать, мамка остановила, говорит: дай отдохнуть с дороги-то, — начинает он. — Со звездой-то сей год пойдешь — сам будешь клеить, аль со мной?.. Картинок-то привез?

И я тотчас же решаю, что пойду со звездою, и, разведя клейстер, весь вечер мы, лежа на полу, наклеиваем картинки от конфект, цветные бумажки поверх картона, натянутого на деревянную звезду, приделываем в середине, на палке, фонарь, пока Ивушка нас не разгоняет.

— Утреня в три часа ночи, коли пойдешь в церковь, пора спать ложиться. — Поди, простись с родителями.

В полутемноте своей комнаты мать крестит меня и целует в лоб, крестит и отец, сидящий рядом в кресле, и я иду, по привычке, в детскую, забывая, что сплю в гостиной. Ивушка укладывает на ночь Мишу и Сашу. Оба они уже раздеты, стоят на коленях на коврике перед кроватью; в углу, перед иконами, горит лампадка, мигает свет.

— Скажи молитву Ангелу Хранителю, — говорит Ивушка.

Оба повторяют, лепечут чуть запинаясь:

— Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день...

И я вспоминаю со сладкой болью, как и я так же молился здесь с Ивушкой, и как хороши были эти сумеречные часы отхода ко сну после того, как она рассказала нам сказку. Я становлюсь на колени и тоже молюсь, и

забытые в городе у Амалии слова сами текут, вяжутся одно на другое.

— Богородице, Дево, радуйся, — читает Ивушка, и мы все повторяем за нею.

А потом Миша ползет по сетке в свою постель, быстро забирает ноги, свертывается калачиком, Ивушка подымает и укладывает Сашу, натягивает одеяло, гладит по голове, приговаривая: «Вот, вот — спи, Христос с тобой!..». — Ивушка, Ивушка! — если бы только этот ее образ сохранился на всю жизнь: увы, и она не устояла, и она в революцию «шатнулась на кривду» — по ее собственным словам... И возникает сомнение: если из нас, у которых были и отчий дом, и родительская, направляющая рука, и няня, как Ивушка, — а нянь таких, кроме России, кажется, нигде не бывало, — если из нас, кого в детстве учили прежде всего молитве, добру и милосердию, кому проповедывали Христа, Божью Матерь и незримого Ангела Хранителя за спиной, вышли, всё-таки, столь жестокие, пустые, столь грешные люди, то что же выйдет из тех, что растут во зле наших дней, кому проповедуют с детства злобу и ложь, а вместо Христа — залитых кровью земных калифов?.. И если люди, знавшие и воспитанные во Христе, уготовили миру столько зла и страданий, пролили столько крови, то что же ждет мир теперь, когда открыто возносят ненависть, злобу, убийство?.. Ибо, если даже хорошее дерево дало дурной плод, то сказано: дурное дерево не может принести хорошего плода.

IX

Ночью Ивушка разбудила меня. На столике горела свеча и из этого желтого, идущего снизу света глядело на меня, обрамленное темнотой, морщинистое, доброе лицо.

— Вставай, вставай, надо в церкву сряжаться — благовестят уж.

В доме — необыкновенное движение, то и дело пробегают по коридору, пахнет сдобными пирогами, ванилью, жарким — во всем чувствуется праздник, но вставать тем не менее мучительно трудно, сладко тянет всё тело, тяжеловесны, непослушны веки.

— Помой личико в тазике, сразу веселее будет.

Ивушка не уходит, пока я не выскакиваю из постели и, весь дрожа, хотя в комнате тепло, — не подбегаю к умывальнику. На улице тихо, звона не слышно!

— Ивушка, ты обманула меня — где же благовест?

И, как бы в ответ на мои слова, гулко ударяют в колокол, и густой, одинокий звук, качаясь, плывет над миром. Ивушка крестится, а я тороплюсь скорее умыться, одеться: надо попасть в церковь до полного звона. Пока только благовестят в большой колокол: мерно отбивает удары Кузьма, церковный сторож, и звуки падают в ночь, один за другим, как бой часов. На стуле мне приготовлена разутюженная форменная, черная курточка с двумя серебряными пуговицами у застежки, но как на зло воротничок сегодня до того туго накрахмален, что я никак не могу его застегнуть: долго я мучаюсь, обливаясь потом, и чуть не плачу от досады: воротничок обращается в какую-то белую тряпку: из-под шинели всё будет видно.

— Готов ты? — дверь открывается и входит мой отец вместе с сестрой Марией. Отец сегодня в куньей шубе с бобровым воротником, в черной, высокой, барашковой шапке, в белых бурках на ногах. Он высок и плотен, и я кажусь перед ним таким маленьким, таким ребенком, что даже хочется отстать и идти одному. А сестра в черной, бархатной шубке, в шапке из пыжика; и опять меня поражает, как она выросла и похорошела. Снаружи гул колокола еще полнее, гуще, торжественнее, кажется, он стоит на весь мир. К ночи сильно покрепчал мороз, и небо всё в звездах; их больше здесь, свет их острее, чем в городе, небо мглистей, косматей, таинственней. Мы идем к церкви вдоль погоста, и со всех сторон уже слышны шаги, хрустит остро снег и, возникая из мглы, на фоне желто-освещенных окон, мелькают смутнее силуэты — народ идет в церковь. Из труб вьется дым, прямо, как жезл, становясь над крышами, уходит в седое, косматое небо и деревья в инее кажутся тоже дымными, седыми. «И се звезда, ю же видевше на востоце», — возникают вдруг во мне слова Евангелия от Матфея о Рождестве Христове, всегда необыкновенно поражавшего меня: «идяше перед ними, дондеже пришедше ста верху, идеже бе Отроча...» — и напрягая мое воображение, я стараюсь увидеть глазами тот непостижимый мир, где родился Бог, таинственный Восток, и ту ночь, и трех волхвов, идущих во тьме, под блеск звезды и хруст снега... Что то была теплая, южная, во всяком случа бесснежная ночь, не приходило мне на ум, — в Рождество должен лежать снег, хрустеть под ногами, должны вспыхивать звезды в сухом морозе... И, мне кажется, я действительно воспринимаю сейчас ту ночь, Ее великий холод и великую тишину, и вижу, как дрожа в утренней мгле, склоняется над яслями, над Сыном, Божья Матерь!..

В церкви уже много народу: пришли к службе из дальних деревень, верст даже за 15. Стоят прямыми, длинными рядами — вправо от входа мужики, а влево

бабы, как полагалось в старину и велось до самой революции. Сегодня все одеты в лучшие одежды, большей частью — в овчинные шубы в талью, извлеченные из дедовских сундуков, и оттого в церкви пахнет немного лежалым мехом, скипидаром, которым опрыскивают бабы шубы от моли. На груди и по оборке шубы оторочены красным сафьяном, узко перехвачены в талье — напоминают до-петровские, древне-российские одежды; на головах у баб кашемировые и шелковые расшитые шали и полушалки. Стоят чинно, не шевелясь, не оборачиваются головами на приходящих, как в городских церквах; молятся, кланяясь всем рядом. Но всё же, когда мы проходим по середине церкви к амвону, я замечаю на себе взгляды и на мгновение чувство превосходства, спеси охватывает меня — и за то, что мы стоим впереди всех, что у меня шинель с серебряными пуговицами и что, вообще, мы, в особенности отец — *другие*, не похожи ни на кого. Впереди, у амвона, стоят рядами подростки, среди них — мои былые приятели; я встречаюсь глазами с Бандурой, с другими ребятами — они смотрят с почтением на меня, как мне кажется, но еще приятней мне взгляды девок.

Отец идет к старосте, к свечному ящику, покупает свечи и ставит их перед образом Спаса и храмовой иконы Рождества. Читают псалмы, утреня еще не началась, но перед иконами всюду уже зажжены свечи; их горящие пучки напоминают огненные снопы. На древних ликах святых, на почерневших, глянцевитых, деревянных балках стен колышутся отблески света; чуть пахнет кадильным дымом. А снаружи благовест перешел уже в звон, звонят во все колокола, и из алтаря раздается голос священника:

— Благословен Бог наш!..

И вот идет эта ночная рождественская служба в старинной деревянной церкви, полной народа, в большинстве, может быть, даже неграмотного. Но нигде не

чувствовал я себя так близко к Богу, ни в одном знаменитом соборе, — а видел я их после много — не летела так к небу душа, как в этом бедном, затерянном в снегах храме, нигде не видел той простой и полной молитвы и веры, как в этих рядах, разом крестящихся и кланяющихся.

— На земли мир и в человецех благоволение... — звонко рассыпаясь, поют на клиросе детские голоса. Регентом отец Алексей, старый священник, что живет у нас на покое, а поют крестьянские дети из школы; голоса чисты и по-детски слабы, и пенье напоминает иногда биенье птичьих крыл. А ряды крестятся широким взмахом, высоко занося персты, кланяются в пояс: и от этого общего движения в церкви стоит шорох и шевелится пламя свечей.

А затем ликующая песнь.

— Христос рождается, славите, Христос с небес, срящете!

И это рождение Христа — Божьего Сына, оно словно свершается сейчас в храме!.. Я невольно подымаю глаза в купол, ввысь, чтобы видеть и встретить Его, идущего к нам... За маленькими, решётчатыми окнами — синий мрак, хотя понемногу начинает светать — служба длится уже третий час; чуть набухают ноги и никнет иногда голова, а на душе ликование — как будто Родившийся тут с нами. Слова — торжественные, библейские, малопонятные, и это еще более усугубляет чувство необыкновенного.

— Жезл из корене Иесеева и цвет от него, Христе,— поет хор — от девы прозябл если, от горы хвальной, приосененныя чащи... В них сокрыта вся непостижимая, великая Тайна рождения Христа, и когда мы, радостно усталые, идем домой, я уношу Его в себе, я полон Им, я Его чувствую во всём мире: на земле, словно начинается новая жизнь, ибо пришел Он!

На Западе я ни разу не пережил на яву этой великой

тайны рождения Божьего Сына. Да и сам праздник Рождества здесь зовется по иному: Weihnachten, Noël. В сочельник, после обеда, чинные бюргеры идут в церковь, долго усаживаются, устраиваются на скамейках, поют, бесстрастно, в униссон, сладко благочестивые стишки: «Wer ist das schöne Kindelein, es ist das liebe Jesulein...» или еще лучше: «Das Kindlein so zart und fein — wie freundlich sieht es aus...» — и коробит всего от этого сентиментального панибратства с Богом. Почему сразу не колыбельную? Так не поют о Божьем Сыне; это в почтенной, буржуазной семье родился ребенок, смертный и беззащитный, как и все люди; раз я слышал, как щебетал по радио голос, упиваясь собственной пошлостью: «Если бы ты родился у нас, в Померании, то я бы уложила тебя в колясочку, под пуховое одеяльце, я бы кормила тебя кашкой...». Бога хотят сделать понятным маленьким буржуа, добродетельным бюргером, мещанином, с которым можно погоревать совместно о плохой жизни, о дороговизне на рынках. Мертвенно горит на середине церкви электрическая елка, и каждый год всё на тот же лад вопрошает, выкрикивает пастор: «Кто есть Бог? Что есть Рождество?» — целый час льется эта риторика, этот заученный пафос. Один простачок-пастор признавался мне, собой весьма довольный, что он все проповеди свои нумерует и раскладывает по праздникам, имея, таким образом, всегда готовые тексты, — впрочем, раньше чем через два года проповедей он не повторял. Вот уже пятое столетие на Западе волокут, тащат всеми силами Бога на землю, как будто Его непостижимая тайна станет от того понятней; из таинства молитвы делают риторику, из религии, — пошлую, ограниченную философию рационализма и земного счастья, из Богослужения — бюргерское собрание, почти что как за Stammtisch; — в самом деле, я видел, как в Голландии, у кальвинистов, входили во храм в шляпах, с дымящимися сигарами в руках,

оставляя их на время службы на пульте перед собою, рядом с псалтирью.

Но спрашивается: почему же не в Европе, где царит этот безкрылый рационализм, а в России стряслась самая кровавая, самая бесчеловечная революция, почему именно в этой стране гонят Бога?.. Почему именно русский народ, с его верой, приносит вторично Христа на заклание? Кто знает — пути народов неисповедимы. Ясно только одно: это не подлинная Россия гонит Бога, Россия, отравленная Европой, западным ядом рационализма и безбожия. И странно: Россия, выпив этого яду, корчится и горит в муках, а Европа вот уже веками пьет яд и только пухнет и пошлеет. Народ, верящий лишь в карман и желудок, не сделает никакой революции.

В сумерках раннего утра на улице вспыхивают огни, как светляки, — это идут христославы со звездами славить Христа. Меня тянет немедля бежать, присоединиться к какой-нибудь паре и опять, как прежде, — как недавно это было! — идти из дома в дом, останавливаться у порога и петь: «Рождество Твое, Христе, Боже наш!» и «Дева днесь Пресущественнаго рождает»... В каждом доме христославам непременно подают что-нибудь: если дом побогаче, то пироги скоромные, начиненные мясом, яйцами, ватрушки, густо смазанные сметаной, маслом, а в бедных домах — лишь лепешки из ячменной муки, посыпанные толокном, но везде в самой маленькой избе, с оконцами, заткнутыми тряпьем, соломой, — всюду радость, всюду бодрствуют, встречают праздник, ждут христославов. И как весело потом разбирать дома подаяния, гадать, где что дали, и какая овладевает сердцем жалость к тем людям, что подали от последнего сухие, ячменные лепешки!..

Когда мы возвращаемся из церкви, дома горят ярко свечи, столы покрыты чистою скатертью, Ивушка суетится, убирает еще что-то на ходу. А на столе ломятся окорока, паштеты, закуски, всевозможные пироги — с мя-

сом, рыбой, яйцами, капустой и всё это пахнет, благоухает упоительно, на весь дом, шумит самовар — сил нет ждать. А потом появляются христославы; у некоторых звезды из желтой оберточной бумаги, с двумя-тремя картинками от дешевых конфект, наклеенными сверху, валенки у поющих залатаны, на одеждах заплаты, отцовские шапки велики, но сияют глаза, горят щеки, звенят голоса. И Ивушка старается набить в их мешки как можно больше: она сует лепешки, и по куску пирога, и сахару, и конфект, а отец встает и каждого из поющих оделяет 20 копейками... Меня уже берет беспокойство — что же не идет Бандура? Но открывается дверь, Палашка манит меня пальцем — в боковушке уже ждет со звездой Бандура; я поспешно переодеваюсь в старую шубку и валенки. И вот мы идем по всем дворам — а на селе около 300 дворов — славить Христа; из одной деревни переходим в другую через синеющие снежные поля, по тропкам, туго убитым ногами. И навстречу нам тоже идут христославы со звездами... А над беспредельными снегами, над туманной синевой далей — чистое, нетронутое по утреннему небо; в мире — полная тишина, какая, вероятно, стояла здесь столетия; в мире — Бог и покой. И я невольно подымаю голову к небу, почти что в надежде увидеть Бога, каким представлял я Его себе еще недавно в первые детские годы. Он сидит на облаках, Бог-Отец, по правую руку — Бог-Сын, Иисус Христос, по левую—Дух Святой: и они смотрят на нас, благословляют эту землю, эти деревянные, черные избы под снегом. А сзади вьются, поют ангелы... Если бы можно было и теперь иметь эту веру и этот дар видеть Бога!... Уже утрачено, убито всё, но и теперь, когда услышу вдруг, как запоют «Дева днесь», то встрепенется душа, стремясь назад, туда, в эти снежные поля, где ходил я когда-то со звездой. Было это, но повторится ли еще когда-нибудь на земле до скончания веков?..

X

Всю неделю в доме пахнет елкой, подгоревшей хвоей, козулями, и, вскакивая по утрам, тотчас же впадаешь в праздничное состояние, то ли от этих рождественских запахов, то ли от подарков, которые еще не пригляделись. Дома я отсыпался, вставал поздно, когда уже рассветало. Стояли морозы, по ночам гулко трещали, лопаясь, стены, окна расцвели пышными, белыми цветами. Но хорошо топили березовыми дровами, весело трещало в печах, выскакивали гулко угли на пол, и Авдей до полдня ходил, шевелил и подгребал жар, — всё боялся, как бы не упустить тепла, закрывал рано, бывало даже угарно. Выпив чай, я каждый день почему-то подходил к окну с айсбергами, сверху уже отошедшими, смотрел в пепельно-дымчатые, застывшие фонтаны берез и ракит в саду; за ними рдело солнце, и на полу лежали, переливаясь, холодные, цветные лучи, как драгоценные каменья Снаружи — мороз, а в саду неутомимо, звонко точит, кует синица; где она живет, чем питается, и как выносит этот холод — непостижимо! В доме очень тихо, лишь изредка раздается тонкий плач, мать остается дольше в постели, вставая только к обеду, все стараются меньше ходить, тише говорить, и потому как-то особенно пусто, торжественно-празднично в комнатах. Незаметно уходит время, текут дни, один за другим, столь медленно — казалось бы — и столь непостижимо быстро; вспоминается вдруг, как вызывали меня в инспекторскую, как стоял инспектор у окна, падал редкий снег, — до чего это уже далеко, как много времени уже прошло с тех пор — и, Боже, скоро конец каникул, надо воз-

вращаться!.. Я гоню эту мысль поспешно от себя: осталось всё-таки еще больше десяти дней! Вероятно, потому, что мать не вставала, в то Рождество не было гостей, только несколько раз заходили монашки, оставались ночевать. Приходили они из разных монастырей, со всех концов России, собирали на «построение храмов Божьих», шли пешком, через деревни и города, в черных длинных одеждах, в черных теплых шалях на голове, подпоясанные широкими, черными кожаными ремнями, и говорили все как-то на один лад — певуче, склонив голову на бок, и все много крестились. И каждый раз, когда они заходили к нам и сидели на кухне, пили чай, разговаривали с Авдеем и кухаркой, я украдкой наблюдал за ними с чувством не то недоумения, не то жалости к ним, стараясь разгадать: какая нужда заставила их стать монахинями — нельзя же по своей воле идти в монастырь? А монашки раздавали бумажные цветные иконки, маленькие нательные крестики, подушечки для иголок, стенные кармашки для часов, вышитые бисером. Некоторые из них знали меня: «Как вырос-то — за один годочек» — говорили они мне, хотя я их совсем не помнил. Некоторых мать звала к себе в комнату, и там они долго оставались. Иногда они пели «Рождество Твое» или «Дева днесь», — стройно, грустно, по-монашески...

От необычной ли тишины и пустоты, что стояли в доме, или от того, что мало выходила мать, отец на третий день праздника уехал к соседям и взял с собой Машу, старшую сестру. Он любил движение, шум, гостей и в праздники терялся от одиночества и тишины — спал или ходил, как прибитый. Мы слышали, как он бурно и многократно отказывался ехать, а мать уговаривала его — ведь по делу же! — и он, наконец, согласился и за обедом всё ворчал о делах, мешающих даже праздники провести спокойно дома; но по его глазам, по всей фигуре, по движениям, вдруг, приобретшим опять округлость и самоуверенность, было видно, что он рад ехать. С отъ-

ездом отца стало еще тише и пустее в доме. И еще сильнее, и больше хотелось теперь думать об Асе. Мне казалось, что я объят грустью, и что эта грусть и пустота вызваны ею, ее отсутствием. И так слонялся я по дому с утра до вечера, вздыхая, останавливаясь подолгу у окон с задумчивым видом, глядя грустно невидящими глазами. Ивушка быстро заметила все это, входила за мной в комнаты, а я как будто не видел ее и, наконец, она не выдержала:

— Ты бы сбегал на уличку — видишь, ребята в мячик играют, поиграл бы, как прежде.

— Что-то не хочется, Ивушка.

— А чего не хочется, надень катанки и ступай. Ваня Бандура уж сколько раз спрашивал, наведывался.

— Ах, Ивушка, мне не до того теперь... — многозначительно отвечал я. Мне хотелось, чтоб она обеспокоилась, спросила меня, почему я такой. Но Ивушка не тревожилась, ничего не спрашивала, а там сама вдруг рассердилась:

— Да ты не гордись — што возгордился! Фараон гордился, в море свалился, сатана гордился, в ад провалился, а мы гордимся, — никуда не годимся. Люди в старину-то умнее нас с тобой были...

Она так задела меня, что хотелось со злости накричать и натопать ногами, как раньше, но я пересилил себя, молча отвернулся к окну — она же не знала, что происходило в моей груди!.. Глядя сквозь снежный узор в прозрачный сад, с голубыми тенями на снегу, на снежную, искрящуюся даль за ним, я старался представить себе Асю — что она делала теперь, думала ли обо мне, вероятно, стремилась видеть меня? Я вспоминал холод и влажность ее губ, зубы, блеснувшие во мгле, ее голос, и как она прижалась ко мне, и от счастья становилось тесно в груди. Милая, милая! — шептал я, и сладостно останавливалось сердце, слезы навертывались на глаза, и так тянуло поделиться с кем-нибудь счастьем,

теснившим грудь, но кому было сказать — не Бандуре же? Я боялся его насмешек. Иногда, когда я так стоял в мечтах у окна, спускался вниз Миша, мой меньшой брат. Он был необыкновенный мальчик: тонкий, прозрачно-нежный, с белыми кудрями, очень тихий. Уже с шести лет он умел читать и знал наизусть церковные службы, мало играл, сидел больше один, рассматривал книжки, при том он не был дичок, людей отнюдь не боялся. Спустившись ко мне вниз, он садился в кресло с книжкой в руках и начинал рассматривать картинки, и так проводили мы вместе долгое время, молча, только иногда он, указывая на какой-нибудь снимок в книжке или в нашем альбоме, спрашивал меня:

— А это, Андрюша, кто?

Выслушав мое объяснение, он опять долго молчал. И вот ему я решился открыть всё — смущался только, поймет ли он?

— Миша, ты знаешь, я люблю...

— Ты любишь? Что любишь, Андрюша? — он посмотрел на меня своими огромными голубыми глазами, и мне показалось, что он прислушивался не к моим словам, а к каким-то иным звукам, которые я не слышал, и видел мир, недоступный мне.

— Я люблю Асю — и она меня тоже...

— Ты хочешь на ней жениться, Андрюша, когда ты вырастешь большой?

— Да, только ты об этом никому не говори, обещаешь?

— Да, обещаю.

— Дай мне руку!

Миша протянул мне руку, и я пожал ее крепко, смотря на него многозначительным взглядом: он встретил мой взгляд открытыми, блестящими, лучащимися глазами. Он был далек от меня, от всего того, что владело мною, хотя между нами и установилась с тех пор некая тайна: попрежнему он был молчалив, тих, походил

на Сергия Радонежского. Милый мальчик, — то было последнее Рождество, что мы провели вместе, последнее свидание! Революция — бессмысленный зверь! — вырвала прежде всего эту тихую, нежную душу из нашей семьи.

Часы у окна я проводил с тайной надеждой завидеть вдали на дороге белую лошадь, давно знакомую мне. На белой лошади, в маленьких санках, ездил доктор, и я все ждал, что он появится к нам; доктор был дружен с отцом и езжал к нам запросто в гости; с ним иногда появлялась и Ася. Каждое Рождество у нас устраивали званую елку для крестьянских детей, на ней Ася непременно бывала. И в этом году была бы елка, если бы не нездоровье матери. Она вставала только на короткое время — о званой елке никто не говорил, значит ее могло и не быть. Ася могла не приехать. Я был глубоко несчастен. Званую елку устраивали и другие соседи, возможно, что и в этом году я где-нибудь встретил бы Асю, но всё это было не наверняка. И каждый раз, придя в комнату к матери, я порывался спросить об елке, но удерживал себя, стыдясь своего эгоизма, и потому неловко молчал, отвечал невпопад на вопросы. Мне казалось, что ни о чем другом, кроме Аси, я не мог думать. А мать, встревоженная моим видом, спрашивала меня пытливо о моем здоровье, смотрела долгим взглядом, даже велела поставить градусник, — жара, разумеется, не было. Если б ты знала, что происходит в моей груди, — думал я, глядя на нее многозначительно. Не зная, чем только еще ублажить нас, она каждый вечер, перед тем, как отпустить ко сну, спрашивала каждого из нас по одиночке, что мы хотели бы заказать на завтра к столу. И каждый заказывал что-нибудь, звали Ивушку, а та передавала дальше кухарке. Помню, что больше всего я любил заказывать масляные белые колобки, сладкие, рассыпавшиеся, как песок. Но ничто не утешало меня.

Белая лошадь не показывалась. А на четвертый

день праздника пришел к нам неожиданно в гости отец Алексей, старый вдовый священник, живший в селе на покое. Был он уже до того дряхл и слаб, что никуда больше не ходил, только в церковь по большим праздникам. В теплую погоду летом он сидел целыми днями на скамейке у дома, грелся на солнышке, а около него вились дети. Он был необыкновенно добр и радостен, в особенности с детьми, в кармане всегда носил какие-нибудь дешевые конфеты. И сегодня я еще слышу, как просили у него поминутно: «Бачька, дай конфетку», — и, запустив руку в огромный карман серого подрясника, он раздавал детям конфеты, гладя их по голове, и тихо смеялся в свою длинную, сивую бороду. Мать очень любила отца Алексея; узнав, что он пришел, встала и вышла до обеда.

— Слаба еще, Васильевна, — встретил ее отец Алексей, всех называвший по отчеству, благословляя ее. — Храни Христос, храни Христос!

Он остался у нас обедать, вернее остался сидеть у стола, а съел только кусок пирога с рыбой. Мишу и Сашу и — увы! — меня он тотчас же оделил конфеткой и, хотя мне было отчасти неприятно, что он считал меня по-прежнему ребенком, — я взял конфетку умиленно.

— А на елку сей год к деткам уж не знаю, соберусь ли, — начал вдруг отец Алексей. — Люблю бывать у тебя на елке, Васильевна, люблю посмотреть, как детки веселятся — чисто в раю... Да годы теперь не те... Такое дело... Лета, Васильевна, лета, скоро в дальний путь... Елочка-то когда будет?

— Под Новый Год, думаем, — ответила мать нерешительно. — Ты не слыхал, Андрюша, от отца? — спросила она меня. — Нет. Лучше всего под Новый Год... А вы, отец Алексей, непременно приходите, я за вами Авдея пошлю, он вас доведет и проводит.

После прихода отца Алексея разом всё переменилось: мать уж не ложилась больше в постель, а под вечер

в тот же день приехал обратно отец. Приехал он шумно, лицо его лоснилось, и глаза масляно блестели, от него пахло вином. Он много и как-то необыкновенно охотно и самоуверенно говорил, мать наблюдала за ним исподтишка. Вечером он послал Авдея за дьяконом, которого любил за голос, за уменье пить, и вдвоем с ним они уединились в кабинете. Скоро дьякон запел своим чудеснейшим басом: «Ныне отпущаеши...», отец сопровождал его на фисгармонии и подтягивал концы октавой. И в доме сразу всё ожило, наполнилось звуками, стало готовиться к ёлке. Три дня, остававшиеся до вечера нового года, прошли стремительно. Всё время почти я проводил вне дома: за деревней, со скатом на реку, была устроена ледяная горка, и там катались на санках подростки со всей деревни до самого вечера. У меня были обитые бархатом санки на железном ходу, сбегавшие дальше всех по реке, и девки добивались сесть ко мне; иногда прибегала Палашка, и было особенно приятно катать ее. Возвращался я домой в темноту, голодный, промокший, со снегом за воротником и в валенках; горело мокрое лицо, ломило всё тело от усталости, — я засыпал непробудным сном до утра.

И этот вечер наконец пришел! После обеда Авдей с Ивушкой стали убирать угловую: скатали и вынесли ковер, вытащили лишнюю мебель, чтобы освободить место для танцев. Елку отодвинули в самый угол; она уже осыпалась и, когда зажигали свечи, по всему дому стоял тонкий, чуть кадильный запах подгоревшей хвои. Я с раннего утра ходил сам не свой: при мысли, что скоро приедет Ася, меня кидало то в холод, то в жар, — куда только девалась моя уверенность? А больше всего мучений причиняли мне мои упрямые, прямые волосы, никак не ложившиеся в пробор. Когда в комнате никого не оставалось, я подбегал к створчатому зеркалу и, каждый раз приходил в отчаяние, особенно от непокорного клока на макушке, придававшего мне совсем ребяческий вид

Сколько я ни мочил волосы водой, через некоторое время они опять подымались, а помаду отец запрещал употреблять. В конце концов, я надел шапку и так в ней и ходил по дому, пока отец не остановил меня:

— Ты что татарин, что ли? В шапке по дому ходишь?

— Воистину татарин некрещенный, — вмешалась Ивушка и добавила к моему ужасу: — Всё охорашивается перед зеркалом — чисто красна девица волосики приглаживает. А теперь, вот, шапку надел. Чему у вас там, в городе, учат только — образов-то не видишь!

Так мне и пришлось снять шапку. Первым приехал наш дядюшка, к великой радости всего дома: он был весельчак, певун, плясун, отлично играл на гитаре и на гармонике. Еще со двора слышен был его густой хохот, и едва он вошел в дом, — высокий, плотный, но весь подтянутый в своей военной форме, — как всё сразу словно заходило колесом. Его у нас любили до чрезвычайности, в особенности прислуга, а я немного побаивался его насмешек: он у всех подмечал какую-нибудь слабость и обрушивался немилосердно. Только бы он не заметил про Асю, — думал я и решил быть на чеку, чтоб не подвести ее. Мне казалось, что Ася сгорает от нетерпенья видеть меня и может сделать гафф.

Уже приехало много гостей, и на дворе стало смеркаться, как на дороге показалась докторская лошадь; я едва сдержал себя, чтоб не ринуться навстречу Асе. Увы — меня ждало горькое разочарование! С Асей приехал ее двоюродный брат, кадет, которого я считал своим соперником. И едва он вошел в дом и, приложив руку под козырек, молодцевато отдал честь, как я понял, холодея сердцем, что всё пропало!.. Он был выше меня ростом, помадил волосы и держался по-военному — вытягивался струной, ловко стучал каблуками. Ася едва поздоровалась со мной, совсем не замечая моего многозначительного взгляда. Весь вечер она не проронила со мной ни одно-

го слова, лишь, от времени до времени, кидала короткий и насмешливый взгляд. Почти все время она танцовала с кадетом и это приводило меня в бешенство. Он уверенно и плавно танцовал вальс и па д'эспань, а я умел только польку. До сих пор я презирал танцы и ставил это себе даже в заслугу; лишь полька, в которой можно молодечески стукнуть каблуками и лихо пронестись по залу, казалась мне приемлемой. Но теперь, когда заиграли польку, и я на зло Асе пригласил Катю, дочь исправника, которая мне тоже нравилась, и понесся с ней по залу, как можно громче топоча ногами, я вдруг понял, что я, вероятно, очень не грациозен и похож на прыгающего козла. Ася сказала что-то на ухо кадету, тот посмотрел на меня и оба засмеялись. После танца я вышел на двор и там, вытирая снегом разгоряченное, потное лицо, смотрел с тоской и отчаянием в холодное, седое небо, на бесчисленные звезды, я вспоминал пургу, кибитку и Асю и говорил почти со слезами, жалея себя: «Как я ошибся, как наказан!». Эту фразу твердил всё время мой дядюшка: я не знал тогда, что она была из Пушкина.

XI

Первый день Нового года для меня всегда был налит какой-то особенной, праздничной грустью: замыкается опять один круг, и в этом кругу и счастье, и горе, и неизменно сожаление о многом содеянном, — если бы можно было этот круг начать снова умудренным!.. И что нес Новый год, на этот раз начавшийся для меня столь жестоко, столь коварно, как мне казалось. Отпив чай, я слонялся без толку по дому, не зная, что предпринять; хотелось завалиться с ногами на диван и лежать, ничего не делая. А отец вышел веселый, громкий, прошел быстро к своему письменному столу, убрал свои старые деловые книги, положил на стол толстую, новую книгу и, открыв ее на первой странице, размашисто-крупно написал: «Господи Боже, благослови!», проставил новый год и, откинувшись в кресле, посмотрел на надпись. Так делал он каждый год, и это действие его почему-то вдруг, разом сделало меня смехотворным в собственных глазах; я боялся, как бы отец не заметил моего состояния и не высмеял меня.

— Что скис, кавалер? — спросил он насмешливо и, заливаясь краской от стыда, я сразу понял, что он знает *«всё»*. Только бы он не заговорил об этом!.. А отец прошел к окну, поглядел, постоял молча, потом, точно отвечая на свою мысль, тихо сказал: — День самый подходящий — лучше не надо. Что Макар сегодня не приходил? — спросил он меня и, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты.

И сразу же хандру мою сняло, как рукой, — отец собирался, повидимому, на медвежью облаву. Позавчера

днем на деревне появился неожиданно Макар — лучший охотник по округе, — пропадавший в лесу целыми неделями. В тот же вечер он пришел к нам, принес на продажу беличьи и лисьи шкурки и долго сидел с отцом в «боковушке», комнате рядом с кухней. Там висела у нас всякая сбруя, упряжь, инструменты — пилки и топоры; там же хранил отец ружья и шкуры, что покупал у охотников. Шкуры эти приносили ему со всей округи на неудовольствие постоянных скупщиков пушнины: платил отец мужикам много больше, не столь придирался к изъянам, кажется, вообще был не особенно сведущ в этом деле. Он всё старался о какой-то охотничьей и смолокуренной артели, убеждал мужиков образовать добровольное товарищество, рассказывал о кооперации заграницей — всё под влиянием толстовских идей. Исправник говорил отцу быть осторожней — поступали уж на него доносы, и отец свирепел: — «Да я первый монархист в государстве, — России без царя для меня нет. Кто писал донос? — гремел он: — скажите, я ему попробую кости!». — Исправник смущался, потел, доносчика однако не называл, а советовал: «Бросьте вы эту артель Толстого — что вы с мужиками связались, — им содрать побольше, да товар сбыть похуже. Того и глядят, как бы надуть. Ведь вы втридорога платите».

Беличьи шкурки, что принес Макар, были связаны в пучки по 12 штук, вывернуты почему-то мехом внутрь, кожа ссохлась, приятно хрустела в руках. Отец ловко развязывал веревку, рассыпал шкурки веером и, взяв одну в руку, хлопал ею об ладонь, мял, отбрасывал пучок в сторону, назначал цену. И Макар обычно соглашался, лишь иногда говорил, чуть запинаясь:

— За эфти бы, пожалуй, подороже надо, Миколай Митрич, гривенник набавить надо.

— Гривенник, говоришь, — ну, хорошо, получай на гривенник больше.

Когда, отлучившись выпить теплого молока, я опять

вошел в боковушку, отец расспрашивал Макара о какой-то берлоге, а тот всё мялся, говорил неопределенно — знает-де одно логово, да не стоющий медведь, шатун, залег в яму, почитай, уж после заморозков. Замирая сердцем, я слушал разговор, непонятные слова — авось отец сговорится, они поедут на медведя, как в прошлом году, и, может быть, на этот раз возьмут и меня с собой — это было мое давнее, страстное желание. Но в тот вечер, по-моему, отец с Макаром ни о чем не договорились: Макар как-то уклонялся от ответа, а на прощанье спросил только, прибудет ли к нам на праздники мой дядя Григорий. Отец нахмурился; после я узнал, что Макар питал прямо страсть к моему веселому дяде, считая его по неведомой причине великим охотником к неудовольствию моего отца, хотя дядя ничему никогда полностью не отдавался, разве только песням, музыке и вину.

Макара у нас не было, да и не могло быть в этот час — я слышал, как отец послал за ним Палашку; накидывая платок на голову, она пронеслась за окнами. Отец, стало быть, всерьез собирался на охоту; желание всегда овладевало им неожиданно и мгновенно и тогда уж владычествовало им вполне: даже во вред себе он, большей частью, приводил его в исполнение. По сбившимся морщинам у переносицы, по сердитому выражению его лица я видел, что он решил ехать непременно сегодня на охоту, хотя что-то его и удерживало: но в таком состоянии он мог не взять меня с собой, ибо раздражался из-за пустяков, повидимому, сознавая свою слабость. Надо было просить дядю Григория. Он занимал «гостиную», меня уже давно перевели к Мише, а Сашу к старшей сестре. Дядя сидел в кресле, закутавшись в шубу, теплые туфли на ногах: в комнате было отчаянно холодно, одно окно стояло открытым настежь. Дядя мой был чудак, подражал утрированно англичанам, часто приезжавшим на север, и страсть эту вселил и в моего отца;

в самый мороз он спал и пил утренний кофе — с яйцами и беконом — при открытом окне. Когда я вошел, дядя уже окончил кофе и курил трубку.

— А, поэт! — приветствовал он меня к моему удивлению, — сколько стихов написал?

Я никогда в жизни еще не писал стихов и изумился вопросу. Поэты казались мне тогда не земными и, уже во всяком случае, не живыми существами, чем-то вроде греческих богов, каких больше никогда не рождается; как же я мог писать стихи? Но дядя оказался пророком.

— Сегодня поедут на медведя. Дядя Григорий, попросите, чтоб взяли меня с собой, — начал я с места в карьер, позабывая про стужу.

— На медведя? С Макаром? — вскричал дядя, — вот это дело! — Он вскочил, скинул шубу, оставшись в одном ночном белье. — Хоть ты и стихи пишешь, но за эту новость уговорю взять тебя на охоту. Закрой окно... Бррр...

Он еще не успел одеться, как в комнату вошел отец и ни мало не удивился, увидя меня тут.

— Послал за Макаром, — начал он несколько смущенно. — Не съездить ли сегодня на медведя. Говорит, нащупал логово — за высоким бором, знаешь, в ложбине? Говорит, подойти хорошо можно...

— Да я уж готов, и даже поэта обещал взять, — ответил дядя, показывая на меня.

— Ну что ж, пускай едет. Ступай, спроси у матери и оденься теплее.

Живо натянув через голову фуфайку, шерстяную шапку, валенки, с шарфом и полушубком на руке, я выскочил на двор. Там еще никого не было, только Авдей, раскрывая ворота в скотный двор, выводил лошадей; ехали две подводы — санки и розвальни, но Воронка Авдей не запрягал — черезчур горячая лошадь. Не было и Макара. И вообще кругом было так тихо, так долго никто не шел, — ни отец, ни Макар, — что я даже начал

отчаиваться: поедем ли вообще, не раздумали ли?.. Не вытерпев, я побежал опять в дом; отец и дядя, оба в валенках, в романовских полушубках с черным барашковым воротником были в боковуше, заправляли патронташи, осматривали ружья. У нас в доме было два ружья, пригодных для медвежьей охоты: новенькая, недавно купленная отцом трехстволка и старинное курковое ружье с тиснением, с резьбой, необыкновенно красивое и массивное. Дядя хотел его выбрать, а отец великодушничал, предлагал трехстволку и настоял на том, чтоб дядя ее взял. Когда мы вышли во двор, было уже запряжено, и Макар был тут, одетый в рыжий от старости армяк, в островерхую, самодельную шапку из барана, с огромным курковым ружьем за спиной, с топором за поясом — в его фигуре было что-то азиатское. Макар привел и своего пса с мрачной кличкой Ворон, — маленькую, остромордую, злую собаку с черной короткой шерстью и хриплым лаем. За кучера ехал Егор, брали также наших двух собак: Туза и Волчка. Отец с дядей сели в санки; меня поместили в розвальни вместе с Макаром и Егором, чему я был очень доволен.

Погода помягчала. Небо совсем желтого цвета, как в оттепель, набух снег, пожелтела и дорога, блещет, золотится колея. Но едва мы выезжаем за деревню в поле, налетает вдруг ветер, пронзительно посвистывая, вьется над землей, вздымает, развевает хвосты и гривы у лошадей. Ночью выпал снег, поле нетронуто чисто, ни одного следа, под ветром оно вспыхивает, пенится, как море. И облака на востоке уже белеют, вытягиваются, сплетаются в косы, голубеет даль — снова поворачивает на мороз. Егор жмется, подтыкает сено, забегают за сани, на подветренную сторону, собаки, — ветер пробирает до костей, — и я нетерпеливо жду, когда мы въедем в лес.

— Сиверко забирает, — говорит Егор, потягивая плечом.

— Дуй, не дуй — не к Рождеству пошло. Январь — году начало, зиме середка, — отзывается Макар и опять молчит, смотрит вдаль.

В лесу, действительно, теплее, совсем тихо, лишь где-то гулко ухает топор: рубят, верно, дрова; звук летит долго над деревьями, постепенно уходит ввысь. Навстречу нам идут одинокие возы с дровами, Егор останавливается, говорит с мужиком, спрашивает: «За дровами ездил?» или «Дровец посек?» — хотя это само очевидно; и сколько бы мы ни встречали подвод, Егор всех останавливает, всем задает тот же вопрос, отнюдь не смущаясь его ненужностью. Это — просто тяга поговорить, или же больше — чувство связанности, одной семьи: тут, не сходя с места, прожили века поколение за поколением, сроднились, смешались кровью. От наших саней мы сильно отстали, на одном из поворотов отец останавливает, привстав на санях, машет нам рукой, кричит что-то. Едем мы через Конанец, потом через Травосею, Круглыш — все столь знакомые мне места, но я с трудом узнаю их зимой, под снегом. А проехав по Долгому мосту через болотину, где летом столько ягод — морошки, клюквы, мы вздымаемся на Высокий бор, потом спускаемся к реке и едем по косогору; мест этих я почти уж не знаю; летом, видно, тут много малины. За косогором тихо, безветрено, даже непривычно уху. Теперь правит Макар, сидит молча, понуро: я не таким его представлял в лесу. Мне хочется о многом спросить: где медведь, как он нашел берлогу, не убежит ли он и не нападет ли на нас, но Макар на все вопросы мои отвечает одним каким-то неясным звуком. Зато Егор словоохотлив, возбужден:

— Будь покоен! Не уйдет! Ловит медведь, ловят и медведя, будь покоен, — говорит он опытным тоном, но я почему-то не верю ему; мне кажется, что Егор даже боится.

Мы останавливаемся у края поляны, Макар подхо-

дит к саням отца, что-то говорит ему, показывая на другой край. А поляна вся залита светом, слепит снег, радужно играет в лучах, как оперение какой-то птицы; молодой, редкий ельник на том краю похож под снегом на белых путников, придавленных ношей. Отец и дядя выходят из саней, идут, хромая; выскакиваю и я и еле могу ступить — отсидел ноги; семенят, вьются собаки.

— Ишь, пороша выпала, — говорит Макар, показывая на поляну, — обмять надо, как бы не увязнуть. Он те не увязнет, — добавляет он и смеется. Вот, так ногето способнее.

Вчетвером они обминают поляну, обламывают сучья на кустах, принаравливают ружья, а я всё не могу понять, — где же берлога? Егор толчется больше всех, хоть ружья у него нету; на тихий вопрос мой — спросить Макара или отца я почему-то не решаюсь — где же берлога? — он поспешно отвечает: «А под кустиком, под кустиком», — машет неопределенно рукой и бежит к лошадям. — «Отвести — кабы не испужались, не понесли». А Макар с шестом в руках идет уже по другому краю леса, крадется напряженно, как кошка, выгнув спину и, остановившись у старой сосны, молча указывает под ноги. Меня берет удивление, даже разочарование: место, как место, небольшое возвышеньице, пенек — неужели это берлога? Макар машет рукой, отец крестится, кричит: — «давай Бог», и оба с дядей они садятся за кусты, прилаживают на суку ружья, взводят курки. А Макар сует длинный шест куда-то под землю, тычет им долго, пока не раздается тихое бурчанье, вой, и тогда, отскочив, он бежит в сторону, кричит: «Ворон, бери!», кидается в снег за куст. Ощетинив шерсть, захлебываясь, исходя в хрипе, Ворон кидается вперед, вьется у пня.

— Бери, Волчок, бери! — кричит отец, и обе собаки с яростным храпом срываются к берлоге, подымая вихрь снега.

И как-то непостижимо быстро, так, что я даже не

могу по-настоящему отдать себе отчета, свершается нечто, наполняющее меня ужасом, оцепеняющим холодом: с ревом высовывается над снегом острая, бурая морда, на секунду, замирая сердцем, я вижу разинутую пасть, два сверкающих клыка, розовую ленту языка, и тотчас же медведь вырастает, с необычайной ловкостью освобождает всё свое тело из берлоги и кидается на исходящих хрипом, сбившихся в клубок собак; но в это время хлопает рядом выстрел, совсем слабо, как будто только ударили хлыстом — у куста, где сидит дядя, вспыхивает желтый дымок. А когда я вновь отвожу глаза на берлогу, меня поражает, что медведь стоит на двух ногах, как человек — длится это только один миг! — потом рушится с ревом на передние лапы, устремляется вперед, и тут опять хлопает выстрел, на этот раз необычайно громкий: у куста, где сидит отец, вспыхивает огонь, я вижу, как ружье валится из рук отца, и сам он падает назад, на землю.

— А! — изо всех сих в ужасе кричу я, застыв на месте, а от берлоги, низко наклонив голову, прижимаясь к земле, ловко и легко валит, рыча и сопя, медведь прямо на отца!..

— Макар, бей, Макар! — слышу я, как кричит дядя, — что ты, дурак! — и вижу, что ружье у него открыто, дуло болтается, сам дядя ищет что-то по карманам, кругом себя, а отец лежит на спине, не шевелясь.

— А, а! — опять кричу я, закрывши глаза... И вдруг раздается голос Макара:

— Береги-и!

Затем вновь хлопает выстрел, что-то свистит мимо меня и, подавшись всем телом в сторону, подскочив в воздух, медведь рушится наискось, тащит тело еще несколько шагов, а на снегу, как брусничные ягоды, вяжутся одна за другой мелкие капли крови. В тот же миг, я вижу, подымается и садится отец, отирает голову, к нему бежит дядя, бегу я, рвутся, лают собаки.

— Что, что? — кричит дядя.

— Проклятое ружье? — отвечает отец, щупая плечо — надеюсь, что не переломило ключицу... Верно, заржавело где-нибудь в дуле. — Морщась от боли, он силится подняться, протягивает Макару левую руку: — Благодарю, Макар, в самый момент кончил — еще минута, и он помял бы мне кости, как пить дать...

— И медведь — костоправ, да — самоучка, — раздается голос сбоку и глупый смех; оглянувшись, я вижу Егора — он куда-то совсем исчезал и только теперь появился.

— Что ты так долго не стрелял, Макар? Заснул, что ли ?— сердито спрашивает дядя. — У меня патроны запропастились куда-то, как на грех. — И я вижу, что отец чуть заметно улыбается.

— А у меня всего один заряд в дуле-то, ждал, пока боком повернет, — отвечает Макар.

А медведь лежит на снегу, левый глаз его широко открыт, прозрачен и чист, как будто зверь только притворяется, наблюдает за нами, но впились в снег когти, как четки, вяжутся одна на другую капли крови. Кругом бродят, нюхают собаки, почему-то совсем притихшие. Еще долго возятся с тушей, взваливают на розвальни; бьют ногами, рвутся лошади, приходится их привязать. Отец устраивается тоже в розвальни, рядом с тушей, облокачивается на левый бок, — сидеть он, видно, не может, — вытягивается на сене. Я еду с дядей в санках. Первое время он пасмурен, скоро, однако, отходит и вновь называет меня «поэтом», но мне неприятно, что он шутит; я думаю об отце, о Макаре, о мертвом медведе. Как быстро всё это кончилось!.. На улице уже начинает темнеть, воздух стал холоднее, острее; лес иногда редеет, и пространство между деревьями кажется наполненным застывшей, прозрачно-зеленой влагой. Не слышно ни одного звука, только бьется брюхо у лошадей, бегущих рысью, шипит колея. А когда мы выезжаем в

поле, дома вдали чернеют, как горбы спящих животных, на западе широко разлился закат, и на этом багряном фоне отдельные силуэты деревьев походят на карандашные линии. Вьется, свистит ветер, полощет, как дымом, снежной пылью, забрасывает в глаза.

XII

На Рождество вышли на побывку четверо солдат, среди них Мишка, сын Настасьи, нашей кухарки. Ему едва исполнилось двадцать лет, я помнил, как он играл еще подростком на деревне. На войну он пошел добровольцем — как единственного сына при матери его бы не призвали; у Настасьи были земля и изба в соседней деревне, верстах в трех от нас. Надел ее в полторы души обрабатывал с тех пор ее брат, живший своим хозяйством. Мишка приходил к нам каждый день на кухню, спал, однако, дома. Он вышел на побывку после ранения в левую лопатку, с георгиевским крестом четвертой степени: вынес под огнем из проволочных заграждений раненого офицера. Еще недавно Мишка бегал босой по улице, и я никак не мог себе представить, что он был на войне, солдат, георгиевский кавалер, и чувствовал к нему необыкновенное уважение, стыдясь, что сам я так мал еще и не мог идти на войну. Мишка меня должен был — по моим понятиям — презирать. Вместе с Мишкой вышел на побывку Данила, меньшой сын Шевелюги—лохматого, вздорно-крикливого, вечно-пьяного мужика с конца деревни. И он заходил к нам на кухню с Мишкой; оба оставались подолгу сидеть, рассказывали про войну Настасье, Авдею и Егору. Мать моя боялась шумного Шевелюги, и он у нас почти никогда на кухне не бывал, хотя отец приучил всех мужиков запросто заходить к нему: поэтому Данила первое время дичился, сидел волчком. Ему было уже за двадцать лет. Приходил иногда еще мужик, по прозвищу Порт-Артур, участвовавший когда-то в японской войне и ею навсегда выбитый из

колеи: он мог говорить только о той войне, скоро однако впадал в раж, начинал кричать, поминутно прибавляя Порт-Артур и терял всякую нить рассказа. Вначале, когда я появлялся на кухне, меня дичились, разговор смолкал и, постояв неловко несколько минут, посмотрев с уважением на Мишкин крест, я уходил; и тотчас же, едва закрывалась дверь, на кухне вновь начинали разговор. А позднее ко мне привыкли и уже больше не стеснялись.

На другой день после охоты Макар свежевал на кухне медведя; я пошел посмотреть. Кроме всех наших и Макара, были сегодня Мишка, и Данила, и Порт-Артур, и еще один солдат — санитар лет тридцати, пробиравшийся на побывку к себе на деревню дальше. Как его занесло к нам на кухню, я не знал — об этом у нас не спрашивали.

Шкуру с медведя уже сняли; она висела в боковуше над огромным тазом с водой; Макар возился над тушей, разрубал мясо на куски, складывал и солил их в бочке. Пришлый санитар, маленький, рыженький, веснущатый солдатик, рассказывал о своих местах, причмокивая губами, весь исходя, видно, от радости, что скоро «пребудет» домой, как он говорил.

— Места у нас чистые, привольные — тягуче пел он — и чего хошь: аль табе луговина — на Петров день девкам, парням хоровод водить, плясать, — аль табе речка, аль табе лесок, — всё есть! Ну, на ведмедей — он покосился на Макара — у нас не ходят, народ мирный, да и ведмедей то нет, как есть, нет — прибавил он убежденно и повел радостным взглядом. — А коль где и есть, то вовсе мирный зверь — не шалит, разе, что малинки пососет — только и делов. А малины у нас, аль грибов — чисто грибовое царство! Где только гриб не растет! Мальчишками, бывало, весь день-деньской в лесу — до чего ж хорошо! Стоит грибок, зарылся в мохе, блестит, весь мокрый, на шляпке травинка, аль улитка,

духом тянет — не ушел бы из лесу! Ночью глаза заведешь, а он сразу в глаз и вскочит, встанет. Целу ночь гриба ищешь. Хорошо у нас!..

— Всяк кулик свое болото хвалит — оборвал его смешливо Данила.

— А што ж мне не хвалить? Армяк с дырой, — да свой. Аль не тоскуешь по родине то? Чего ж ворочался? Кто, парень, по своей, по родине-матке не скучает, — пропащий тот есть человек, не родиться бы ему на свете: весь век неприкаянным проскитается. Господь Бог — отец человеку, а земля ему — мать во веки, родная мать, как есть. А ты не скаль зубов — истинное слово говорю.

Данила держался отчужденно, насмешливо оглядывал других или сидел насупившись, разговаривал только с Мишкой, который его, повидимому, побаивался. Наедине Мишка оживлялся, охотно говорил о войне, о своем подвиге, в котором, кажется, не видел ничего особенного, рассказывал просто, как будто съездил в лес за дровами, и начинал он, помню, всегда так: «Я с Игнатом вдвоем поползли...».

И тогда он тоже рассказывал: «А он уж третий день лежит под проволокой. Первый день звал, просил: выручите, братики. А куда выручить — немец бьет, чешет без пробою, пули свистят, ровно ведьмы, — носу не высунешь. А на второй день стих, повизгивает, чисто кутенок. А воронье стало слетаться... А хороший человек был — до чего ж жалко!.. Ну, я не вытерпел... Мы с Игнатом снялись. Почитай, три часа ползли — это полверсты-то! — меня ничего, Бог хранил, а Игнашку по ноге полоснула, шесть недель потом в лазарете маялся». На груди у Мишки крестик на черно-коричневой ленте, приковывающей всё мое внимание, а сам Мишка его, как будто, совсем не замечал. И на деревне девки уж пели, очевидно, про Мишку: «Крестик беленький на ленте у милого на груди».

— Таперь ты Егорьевский кавалер! — говорил Порт-Артур, сильно ударяя на последнем слове.

— А ты Бога благодари — отзывается Авдей — своего ангеля хранителя — на благое дело табя навел — ближнего от смерти черные вызволил. В черькву сходи, свечу поставь.

Данила фыркал:

— Вот я тоже такой-то глупый был — спать ложился, молился, голоcой мотал, на колени становился, — на случай, значит, что ночью скончаюсь. А теперь насмотрелся. Не к чему это всё. Одна пустая болтовня. Всё забыть надо, чему учили. Сказано: не убей, значит — бей, не жалей отца родного; люби мол, ближнего — значит, тяни у него последнюю рубаху с гузна, одним словом, расти себе зубы волчьи, а то разорвут. Не верю теперь ни в Бога, ни в чорта.

— Ай, стыд! — Авдей сокрушенно качает головой — ай, страм! За Богом греха нету, парень.

— А за кем он, грех-то, коль не за Богом. У нас батя на позиции поет о «христолюбивом воинстве», а у немцев, говорят, тоже попы на кажную роту — правым свое дело считают. С двух сторон, значит, Бог. А тут всё перебили, пожгли, поля помяли, девок, баб перепортили. Осталось: ни избы, ни хлеба — земля да небо.

— А ты, милый, по Библии воюй — не обиждай. Инок святой, Сергий Радонежский, сам на татарву рать благословлял. И Христос воинов праведных не проклинал. Война сор метет. Только правильно воюй. Пущай война, аль не война, ты помни: за плечом у тебя Христос Ангел-хранитель. А главное — не обиждай, сироток не делай.

— А ты правду сказал, крещеный: за Богом греха нету — прервал убежденно санитар: война — не Богово, сатанинское дело. И первый у него помощник — Вильгельм злодей. Нам что воевать: земля родит — все сыты. Наш мужик поел хлебца в волю, да и в поле. Мужику

усскому воевать совсем не для чего. У меня вон на войне всё сердце выгорело, — до чего жаль людей, добра Божьего. Один раз так-то вечером идем, а рожь колышется, хлебным духом сладко тянет, а во ржи солдатики убитые лежат. Плохо! Так зажгло сердце...

Он поводит вокруг своими глазами, а я вижу в них то же вопросительно-младенческое, чуть мечтательное выражение, что и у Авдея и, пожалуй, у Егора, несмотря на всё его бахвальство, и, может быть даже и у Мишки; лишь у Данилы по иному уже светят, тлеют глаза. В начале войны приходило к нам на кухню много народа, и я помнил, как меня тогда обдало жутью от таинственности слышанных мною слов и рассказов — о страшных знамениях и чудесах, вещавших, будто бы, войну: о собаке, ощенившейся котятами, а кошка — щенками, о том, что рожь воротила колос от солнца, что месяц и солнце встретились днем друг с другом, и стала сатанинская темь на земле, — много таких страшных чудес вещало войну. И уже тогда поразила меня разница между словами дяди, видевшаго в войне нечто героическое и славное, и этими рассказами и речами мужиков, считавших войну делом темной силы.

Макар, всё время молчавший, вдруг оторвался от туши и, подняв глаза, сказал, ни к кому не обращаясь:
— Земля гудёт. В лесу приложишь ухо к земле, — гудёт, стонет таково глубоко, в самом нутре земля. Зверь, и тот чует, тревожится... — и снова принялся за шкуру. Таинственный смысл, скрытый в этих словах, поразил меня — помню — особенно, может быть, потому, что говорил их бесстрашный охотник, одиноко неделями бродивший по лесу.

В кухне появился отец, приказал Егору запрягать, выговорил за какие-то неполадки в упряжи. Егор стал оправдываться, что-то объяснять, и я чувствовал, что словам отца он не придает никакого значения, а только так отговаривается, и исправлять ничего не станет; за-

метил я и острый блеск в глазах Данилы. Когда отец появился на кухне, все поднялись и поздоровались с ним, привстал и Данила, но не сказал ни слова. А едва отец вышел, он, не стесняясь моего присутствия, сказал:

— Ишь, брюхо ростит! Запрягай, да катайся... На войну, небось, не тревожат — откупился.

— Пустое говоришь, парень — сердито отозвался Авдей — побоялся бы Бога, не про што коришь: у человека сердце сырое — как ему на войну идти.

— С дохтуром-то друзья-приятели, дружбу ведут, водку пьют, а может и смазал, четвертной билет отвалил — освободят, как есть. Мошна-то тугая.

— Не кали, говорю, души завистью. Кажному своя мерка горя отвешена.

— То истинно, — вмешался опять санитар, — должен я верить теперь, что не для радости единой рожден человек. Раньше я всё о себе старался, работал, копил, всё хотел, чтоб у меня лучше всех было. А вот на войну сходил, смерти, горя насмотрелся — вижу, не к счастью одному рожден человек. А прежних ден, полагаю, теперь не вернуть, хоть скрозь землю провались. Опомнятся люди, заплачут, затоскуют, ан, поздно — не воротишь.

— Богатеям-то брюхо поспустим — тогда ровнее будет, — прервал Данила, закуривая папиросу.

— Всё подравняют, — это как есть, — согласился санитар, — а кто на том путе ровном ходить будет, не додумаюсь — вовсе людей не станет, всех до того кончат. Смертоубийством счастья, парень, не сыскать. Неправдой свет-то пройдешь, да назад не воротишься. Старичок табе правильно сказал: не кали души завистью, а Господу Богу за жизнь благодарствуй.

— А и глуп же ты, дядя, что пуп. Мало тебя там еще учили, а с меня хватит — наученый. Теперь я знаю, как сытым быть. Всё у народу награбленное. Теперь я рвать без жалости буду, да баб портить. Бабу в кажную ночь, только бы мочь.

Оба они с Мишкой захохотали, а Порт-Артур добавил, ухмыляясь и гладя бороду:

— На бабу лечь, как на жаркую печь — это точно.

Иногда Мишка и Данила рассказывали друг другу, заходясь смехом, какие-то истории и по отдельным словам я, замирая от стыда, догадывался, что говорили они срамное о женщинах; слушали их только Порт-Артур да Егор, Авдей плевался и уходил, качая головой, в другой угол, Настасья гнала вон Палашку и, в конце концов, набрасывалась на сына с бранью, замахивалась на обоих полотенцем. Оба с хохотом расходились. Уже тогда, до революции, война сделала свое дело, война, которая только лучших, только немногих благородит, а большинство непоправимо губит. Уже тогда чувствовал я смутно, что надвигается нечто новое, страшное, что на место старого русского мужика, вроде Авдея, санитара, Егора, идут другие — злобные, бесстыдно-грубые и завистливые, как Данила, попирая всё старое на своем пути и торжествуя в своей грубой силе. По вечерам оба они напивались допьяна и ходили, окруженные ватагой подростков, по деревне и орали во всю глотку срамные песни:

По деревеньке пройдем, что-нибудь да сделаем:
Дров поленницу рассыплем или девок ......

И — странно — я невольно чувствовал тяготение к ним, видя во всем какое-то геройство: дядя хохотал, слушая их срамные песни, а отец морщился, нервно поводил головой — он был очень целомудрен.

Как всегда о Рождестве, по вечерам девки со всей деревни собирались друг у друга на посиделки — пряли пряжу, пели песни и плясали: вечеринки эти велись поочередно в каждой избе. Дядя ходил иногда на них и один раз, когда мать ушла раньше к себе, он взял меня с собой тайно. Высоко в дымном кругу, как в сияющем кратере, стояла луна, а перед нею плыли, перекрывая,

легкие кружевные облака. Прямо над головой висела Большая Медведица, этот таинственный ковш со странным именем, поражавший меня всегда необыкновенно сильно: еще недавно в гимназии, на уроке латыни, я увидел впервые карту неба, как представляли его в древнем мире, и был потрясен, найдя там контуры Большой Медведицы. В самых ранних годах я пытал мать, всё спрашивая — для чего в мире звезды? — и она отвечала мне: чтоб светить морякам и путникам во тьме, чтоб напоминать им о доме и близких. «Вот, посмотришь на эту звезду — она показывала мне на начальную звезду Большой Медведицы — и вспомнишь обо мне, где бы ты ни был, а я посмотрю — о тебе вспомню». И вот нет уже ни ее, ни дома, ни всей той жизни; какая-то невероятная даль отделяет меня от тех дней, а посмотришь на небо, найдешь ту заветную звезду, и оживет и встанет всё, как будто было всё вчера и ждет еще моего возвращения!..

Почти во всех избах уже темно, спят, ночь глухая лежит над деревней, мир кажется одной сплошной тьмой. Посиделки сегодня у Домны, вдовы, со странным прозвищем Шурушниха; в избе ее я никогда не бывал — сыновей у нее нет, только две дочери. Из маленьких, решётчатых окон с кумачёвыми занавесками сочится слабый свет, на снегу лежат чахлые, желтые квадраты. Дядя наощупь отворяет низкую дверь и, сильно наклоняясь, входит в темные сени — пахнет здесь конской сбруей, близким стойлом, коровами; а за стеной слышны женские голоса, хохот, тотчас же смолкающий, как только дядя переступает порог. В глаза мне бьет неяркий свет лампы, подвешенной под потолком, круги дыма над нею, сначала ничего другого не видно.

— Что умолкли? — громко начинает дядя — всё не привыкли еще, а пора бы, не кусаюсь. Домна Семеновна, угощай — он вываливает на стол груду мятных и

опарных пряников, барбарисовых конфет в бумажках и орехов.

— Милости просим, Григорий Васильевич! — Домна, кланяясь, кинулась в большой угол, очищая дяде почетное место на лавке. — И ты, светик, садись подле дяди.

В избе чуть пахнет керосином, табачным дымом, хотя парней мало — больше подростки. На лавках вдоль стен сидят девки за расписными, обвитыми куделью, прялками, напоминающими конские головы, прядут пряжу — ловко бежит, вьется нитка на веретено, вращающееся в левой руке. Домна сложила пряники и орехи на две деревянные тарелки и обносит девок. Сначала они жеманятся, отказываются, шепчутся из-за прялок одна с другою, прыскают тихо на сторону, берут по одному прянику, по одному ореху. А дядя подсаживается от одной девки к другой, те конфузятся, хотя, видно, довольны честью, — и я замечаю, что девки, к которым садится дядя, самые красивые и бойкие; парни смотрят на дядю явно неприязненно.

— Что, в самом деле, девки, — пойте! — приказывает Домна.

И сначала тихо, но всё шире и шире, высоко затягивая концы, они поют песни, и помню я особенно одну — протяжную: «Экой, Ваня, — разудалая твоя голова!». А потом ударяет вдруг гармонь, дядя вскакивает с места, бьет ногой об ногу, — как ловко у него это выходит! — и, подхватывая отбивающуюся, хохочущую Тальку, дочку старшины, необыкновенно ловкую, сильную, грудастую девку, идет с нею в кадриль, к ним тотчас же присоединяются другие пары, и от игры, от пляски ходит ходуном вся изба, качается лампа. Помню, с особенной силой поют, подхватывают девки:

Не хочу я кумачу,
А хочу китайки!..

Со свистом развеваются сарафаны; ловко, притоптывая сапогом, ведут, кружат девок парни. Потом пляшут и другие танцы: «Во лузях» и еще что-то — всё народное, старо-русское.

Поздней появляется Данила с ватагой парней; они все напились ханжой и самогонкой, шумят, качаются, лица их лоснятся, расползаются в глупом смехе, непослушны раскрытые губы, бессмысленно блуждают глаза. У одного в руках гармонь, беспомощно и яростно он разводит ее во всю ширину ладов, извергая чудовищный рев. Ввалившись в избу, начинают озорничать, лапать девок, плюхают им на колени; Данила, завидев дядю, кричит:

— А, ваше балгородие, — наше вам с кисточкой!

Верно, они принесли и с собой самогону, ибо через четверть часа становятся явно пьянее и затевают между собой драку. Домна гонит их из избы ухватом, визжат, голосят девки. Когда мы уходим домой, перед избой возятся в свалке в снегу тела, стоит крик, матерная, пьяная брань, над нашими головами свистит, пролетает кол.

— Разошлась солдатня — говорит равнодушно дядя: — теперь держись — разведут музыку на весь свет. Унтера бы сюда хорошего, да на гауптвахту. А так сомнут, заплюют всю жизнь.

Я тогда еще не понимал вполне его слов, но уже тогда лежало на сердце, как камень, предчувствие какой-то беды, а может, — и гибели. То разошлась уже «краса и гордость революции», то были уже не грядущие, а пришедшие хамы, разрушавшие святость семьи, мирный, давний быт, народный эпос, во имя брюха и газетной фразы, возводимой в откровение. И вот нет уже того мира со старинными народными песнями и плясками, с храмами Божьими, а есть мир, где мнут землю тракторы, и трещат радио и газеты изо дня в день о наступившем счастье, о сбывшейся мечте человечества.

Но не знаю, сомневаюсь, ходит ли кто истинно счастливый по этим «ровным путям», по этой коммунистической земле?.. Не мудрее ли всё-таки, не ближе ли к тому единственно-истинному и непостигаемому в жизни, что чует каждый из нас, прежний русский мужик, или китаец, или индус какой-нибудь, сидящий на пороге своей убогой хижины?..

XIII

И — чем ближе к сроку, тем почему-то всё отдаленней казавшийся день — день отъезда наступил, свалился как-то разом. Уезжать нужно было в Крещенье. Этот праздник, чтившийся и праздновавшийся в старой России столь поэтически-первобытно, я всегда особенно любил, хотя и был он связан, вот уже ряд лет, с грустным днем конца рождественских каникул. Накануне почти весь день я провел на реке, где Кузьма, церковный сторож готовил, с мужиками «Иордань»: со звоном врубались топоры в аршинный лед, разбрасывая сверкающие осколки, а внизу, под ногами, черно бежала, бурлила вода, и иногда всплывали, подходили под лед, пуская пузыри, мордастые рыбы. Прорубь обрыли снегом, обнесли частоколом из молодых елей, убрали дорожку еловой хвоей. — Вечером же к старшей сестре пришла Даша, дочь лесничего, и девки, подруги из деревни, и все они гадали в боковуше: при свете свечей топили вокс, плавили олово над медным тазом с водой — раскаленные капли тяжеловесно спадали в воду, с шипеньем кружились по дну. На стенах эти застывшие фигуры давали странные тени: всадников без головы, замысловатых зверей, и девки искали в них свою судьбу, охали и заходились хохотом, и я не узнавал своей старшей сестры, всегда сдержанной и гордой. И так незаметно прошел этот день, не оставляя времени на раздумье.

А на завтра, в Крещенье, я проснулся разом, как от толчка, и сразу же ударило, рванулось сердце — сегодня надо было уезжать! В доме пахло по-праздничному, необыкновенно приятно; как-то особенно сильно чувство-

вался сегодня дом, и одевался я уже сам не свой, всё утешая себя тем, что до отъезда оставалось еще несколько часов. Потом мы все пошли в церковь: мать, впервые после болезни выходившую на воздух, вел под руку отец — и при виде ее впавшего, бледного лица у меня до боли сжималось сердце от мысли, что завтра я ее уже не буду видеть; и она взглядывала на меня иногда, подолгу задерживаясь на мне грустными глазами. А старшая сестра шла рядом, гордо несла свою красивую голову, и мне становилось стыдно за свою слабость: ведь она тоже уезжала — правда, лишь послезавтра. В церкви я ушел на клирос и всю службу пел в хоре, как в прежние годы, с трепетом ожидая, когда пойдут на Иордань. Церковь полна народу, не меньше, чем на Рождество, и под конец службы самые степенные и старые мужики в расшитых овчинных шубах, все с бородами до пояса, выходят к амвону, вынимают из гнезд хоругви, иконы, выносят из алтаря огромный деревянный крест; и медленно, сквозь расступающиеся ряды, со священником и дьяконом в белых ризах впереди крестный ход выходит из церкви наружу. Там сверкающий морозный день, солнце стоит в дымчатой, нежной пелене́, в воздухе реет сухой, острый снег, хотя на небе нет ни одной тучи. С пением крещенских стихир мы идем через деревню, сверкают ризы, бьются и трепещут хоругви, звенят, поют колокола, а за нами сзади поток молящихся, мужики идут с обнаженными головами. Мы спускаемся на реку к Иордани, и там священник купает крест, святит воду, кропит крестообразно народ, и хор поет: «Днесь вод освящается естество и разделяется Иордан...». И во мне заходится от какого-то блаженного восторга сердце. И когда освящение воды кончается, и крестный ход идет назад, оглядываясь, я всё еще вижу народ, теснящийся у Иордани с сосудами в руках, набирающий священную крещенскую воду... «Освяти мене и воды, Спасе!..».

Дома Палашка носилась из комнаты в комнату с

грудами свежего, пахучего белья на руках — готовили нас в дорогу. В коридоре я наткнулся на нее, когда, скатившись сверху по глянцевитым перилам лестницы, она с легким вскриком упала как раз передо мною. Исподлобья она посмотрела на меня, словно чего-то ожидая, я смутился, не зная, что сказать.

— В городе-то не забывайте нас, деревенских, — нашлась Палашка первая и пробежала в боковушу.

За обедом был у нас священник, отец Михаил, пришедший неожиданно, к общему удручению, и мать старалась быть с гостем особенно любезной. Батюшка был молодой и неопытный, ни с кем еще не ознакомился и оставался у нас бесконечно долго; я видел недоуменные взгляды, которыми перекидывались мать и отец и радовался, что гость так долго сидит: может быть, из-за этого сегодня не поедем, отложат до завтра. Егору было сказано в пять подавать, а шел уже третий час, за окнами стало синеть, багряные лучи пронзали, чуть дымясь, обледенелые окна, рассыпая рубины на полу. Я сидел, и несвязные видения вились передо мною: горница в Турасове, тоже с пурпуровыми окнами, где я ждал отъезда перед пургой, инспектор у окна — Боже, как это недавно всё было! — подъезд к дому, мать в постели. Ася и кадет — она тоже сегодня уезжала. И я удивлялся, что не чувствовал больше стыда и боли, и странно! — мысль почему-то перебегала на Палашку.

— Извините, батюшка — услышал я, как сквозь сон, голос отца, — сегодня мы сына отправляем...

Значит, всё-таки, едем! Торопливо поводя руками по пуговицам и без того застегнутой рясы, по цепочке креста, отец Михаил встает, прощается, смеется при том нервным смехом, благословляет меня: «Во имя Отца и Сына»; от его рясы пахнет сильно нафталином — очевидно новая, вынул для праздника. И с его уходом всё свершается очень быстро: мать спешит посмотреть, что мне уложили, достаточно ли дали белья, провизии, — а

набито для меня четыре корзины; отец зовет к себе, передает конверты с надписями: этот отнесешь тому-то с поклоном, этому просто передашь, в крайнем случае по почте пошлешь, это твоей «чухне» отдашь деньги, не потеряй, и тут впервые за три недели я с тоской вспомнил про Амалию — ее отец величал «чухной».

Всё проходит быстро, спутанно, я ничего не помню, увы, из этих прощальных часов; с необыкновенной, горестной отчетливостью встает лишь последний момент, когда все мы собираемся в столовой, — я уже одетый и укутанный до того, что трудно пошевелиться. На мгновение все присаживаются, наступает тишина, а затем все встают, и мать, оборотясь к иконам, начинает столь знакомый мне, каждый раз у нас перед отъездом читавшийся псалом: «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси Ты и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи...», читает мать тихим голосом, и я вижу, что глаза ее закрыты, хотя в руках она и держит молитвенник — слова молитвы, мне не совсем понятные, но волнующие своим сокровенным смыслом, она знает наизусть. «...Плещьма своими осенит тя...», и я вижу Его, осеняющего меня своими плечами, как огромного, светлого ангела, летящего надо мной». «..Не убоишься от страха нощного, от стрелы, летящие во дни, от вещи, во тьме преходящие, от сряща и беса полуденного...» — это место всегда поражает меня своей таинственной красотой. И дальше, повышая голос: «Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе сохранити тя на всех путех твоих...» — голос матери крепнет и звучит торжественно: «На руках возьмут тя, да не преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши и поперешú льва и змия...».

Слушая эти таинственные слова, я смотрю кругом на все столь знакомые мне вещи: на серебряный само-

вар на столе, малиновый альбом для фотографий с золотым тиснением, с серебряными застежками, который я еще вчера разглядывал, на огромный фикус в углу с негнущимися острыми листьями, шерстяную накидку матери, наброшенную на кресло, трубку отца на пепельнице, — и мне кажется невозможным, невероятным, что через несколько минут всего этого уже не будет, что вообще можно жить без этих, столь дорогих вещей. Уезжал я тогда всего на шесть месяцев до летних вакаций — отчего же так разрывалось, леденело сердце?.. Ужели чувствовал я, что видел всё это в последний раз, в последний раз был дома, там, где пласт за пластом легла жизнь, вся пропитанная миром, благостью?.. Теперь же, смотря туда назад, я не могу всё еще поверить, чтобы мир этот исчез, сгинул без следа, как тот альбом; всё кажется, что стоит между нами только стена, непроницаемая стена, которая должна когда-нибудь рухнуть.

А мать кончила чтение, стоит и крестится молча. Потом отец подходит ко мне, крестит трижды, целует в щеку, со словами: «Ну, поезжай, Христос с тобой. Учись, веди себя хорошо». — И, замирая сердцем, я приближаюсь к матери, едва сдерживая слезы при виде ее огромных глаз и худого лица, — но надо крепиться, отец нарочно вызывал меня к себе, просил не огорчать матери. Она тоже крестит меня и прижимает к груди и долго держит так молча— я слышу, как неровно и часто бьется ее сердце, — а затем разом отпускает, еще раз быстро крестит и идет к моим вещам. Машинально, почти бесчувственно я прощаюсь с сестрами и братом, с Ивушкой, и все мы выходим на крыльцо. Там стоят Авдей, Настасья и Палашка, я им протягиваю руку и спускаюсь в темноту. Егор ходит около лошадей, Воронко запряжен в пристяжку, бьет нетерпеливо копытом.

— Рабочий конь на соломе, пустопляс на овсе — говорит укоризненно Егор, но в голосе его звучит довольство.

С трудом я залезаю в сани, под кибитку, на медвежью полость и сено, меня укутывают сверху, а я словно одеревенел, вижу только красные просветы во тьме от наших окон, темные фигуры около кибитки и иногда чуть освещенное лицо матери, слышу голос отца, убеждающего ее: «Анюта, не простудись, ты бы хоть шаль накинула».

Потом Егор взметывается легко на передок, и разом кончается вся эта тягостная толчея — берут с места кони, в темноте я вижу еще, как крестит воздух мать. А когда мы выезжаем за ворота, вдруг вскакивает на сани мой брат Миша, что-то шепчет торопливо и что-то сует мне в руку, соскакивая кричит: «Скорее приезжай обратно!» — и исчезает. Я силюсь высунуться из кибитки, посмотреть еще раз назад на наш дом, но, когда мне это, наконец, удается, он уже исчез во тьме... навсегда!..

***

Вот уже годы прошли с тех пор, многие годы!.. И вся та же чужбина кругом, чужие люди, которые никогда ничего не поймут и не станут близкими, всё та же скорбь и горечь в душе, и надежда, тающая постепенно. Всё дальше уходит Россия, которую знал и любил, но посмотришь иногда зимою из окна на сверкающий снег, на солнце, роящееся в нем, на синиц, бестолково прыгающих, и вдруг блеснет, воспрянет в душе какой-то день: даль без предела, скрип полозьев, колокольный звон, избы под снегом, — весь тот спокойный, ясный быт. Никогда уже это более не вернется, но уже одна память о нем очищает душу. Блажен, кто может вспомнить с радостной болью о своем детстве, блажен, кто знал тот мир!.. Приткнулась о камень нога моя, и зло пришло ко мне — увы! — аспид и василиск оказались сильнее меня, но, когда вспоминаю о той молитве. всё

таится еще надежда на спасение и на встречу с теми, что ушли от меня, кого нет теперь поблизости, но кого любил больше всего, — надежда, ибо тоскует душа и знает, что есть мир, где они живут, и что только от силы нашей любви зависит будущее свидание. Свидание есть лишь воплощенная любовь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРНЕТА

«Но страшно мне: изменишь облик Ты».

Блок.

I

Каждый раз при встрече нового года кто-нибудь непременно говорил: следующий раз будем праздновать на родине, в России, и велось так уже двадцать лет. Первые годы, после исхода из Крыма, в эти слова искренне верили; казалось не только вероятным, но даже самоочевидным, что следующий Новый год можно будет встречать уже дома; но годы проходили, всё дальше отодвигалось, бледнело старое, а вместе с тем и надежда на Россию, и последнее время прежний тост произносился больше по привычке, хотя всё же что-то тревожно отзывалось при этом в сердце. Подберезкин вспомнил теперь все эти эмигрантские годы, проведенные в смутной надежде на Россию в одном и том же городе, среди одних и тех же лиц, — целые двадцать лет! — вспомнил с умилением и любовью, поражаясь, как мало ценил и понимал прежде всю особую красоту этого изгнаннического бытия, этих чаяний и ожиданий на чужбине, на реках Вавилонских. Вспомнил он полунощный молебен под Новый год в русской эмигрантской церкви, крупную фигуру владыки на возвышении посредине храма, в светлом облачении, в ореоле седых волос под митрой, его непослушный, страстный и громкий голос, ломающийся где-то в сводах, воздетые руки и слова молитвы о богохранимой стране Российской, и людей, подходящих под благословение — всё знакомые лица! В сущности, был это кусок России, настоящей России!.. А после молебна возвращались по темным, узким, кривым улочкам старого славянского города домой или к друзьям для встречи Нового года,

громко разговаривая по-русски к удивлению отдельных встречных туземцев, и, если на улицах этого старинного города со множеством церквей и деревянных домов лежал снег, то память и чувство России усиливались до боли. И вот двадцатилетняя надежда становилась действительностью — корнет Подберезкин возвращался в Россию! Правда, возвращался он не так, как представлял себе все эти годы, — не в рядах белой армии, очищающей огнем и мечом родную землю от полонившей ее нечисти. Огня и меча было достаточно, впрочем, и теперь, но несло их не белое русское войско, не под его победными знаменами вступал он на русскую землю, а в рядах чужой армии, воевавшей с его родной, хотя и оскверненной, страной. Вызывало это в корнете странные и неясные чувства. Когда началась война, то сначала радостно прянуло сердце: вот оно наступило, то, чего двадцать лет ждали не переставая, — освобождение родной страны, пусть даже с чужой помощью; место его, бывшего офицера белой армии, было, во всяком случае, там, впереди; точило, однако, сердце при этом и какое-то сомнение.

После длительных усилий Подберезкина приняли переводчиком в штаб одной немецкой дивизии, стоявшей под Петербургом. Этот город он знал и любил по своим гимназическим годам; связан он был с блоковскими стихами, с белыми ночами, полными какой-то особенной мистики, и никакого иного имени Подберезкин за ним не признавал. Это был именно Петербург, не Петроград, и уж, во всяком случае, не Ленинград! Незаметно, как в угаре, он проехал через Германию и очнулся лишь в Прибалтийском крае.

Поездом ехали воинским. Был он битком набит немецкими солдатами, и первое время Подберезкин чувствовал себя неловко; солдаты его тоже сторонились. Приглядываясь к ним, он с удивлением заметил, что в

них было очень мало типично «прусского», всего того, что в его сознании непременно связывалось с немецким солдатом; не замечал он ни большого геройства и бахвальства, ни особенной военной выправки, ни туго затянутых мундиров; большинство из солдат были очень молоды, с почти детскими лицами, без всякой мысли в глазах, и разговоры вели самые солдатские — о женщинах. Особенно неутомим был один рыжеватый толстенький солдатик, всё рассказывающий о том, как он веселился в Берлине во время отпуска, то и дело вставляя в свои слова «Det war ein prima Mädel sag' ich Dir, Mensch!..». Он расстегнул воротник мундира, обнажив розовато-рыжее тело и желтовато-грязное белье; всё его существо являло смесь простодушия и вульгарности. Вероятно он уже бывал в России, ибо часто вставлял в свою речь русские слова вроде «nitschewo» или «punjemaju», возбуждая одобрительный смех товарищей: особенного успеха достиг он, когда, окончив какой-то рассказ и вытерев потное лицо, повел носом и со словами: «Es ist hier zum... Wodka trinken!..» вытянул из спинного мешка фляжку и стал пить, закинув голову. Рядом в купе пустили грамофон; сдавленный, типично-немецкий тенор пел, слащаво гнусавя, что-то о «Matrosenliebe»... Подберезкин вышел в тамбур.

Поезд шел еще по балтийским землям. Станции были полны немецких мундиров, слышалась одна немецкая речь, и как-то не верилось, что в старые годы здесь была уже Россия, и потому чувство тревоги или, во всяком случае, какой-то неуверенности, охватившее его в вагоне, всё росло: казалось, что всё это еще не то, еще Россия не пришла, еще негде приложить свои силы, и он всё ждал, когда же начнется настоящее. Удивляло его, что не было внутри большого напряжения, не рвалось сердце, а ведь казалось всегда прежде, что оно, вероятно, выскочит из груди, когда скажут, что можно

возвратиться в Россию. Что-то было всё-таки не так — это ему с самого начала стало ясно. Вспомнил он 1920 год, Крым, уход войск на кораблях, галлиполийское сиденье, потом Прагу, шоферство, нужду, день за днем, год за годом, и всё тот же огонь и веру на галлиполийских собраниях, и одну единственную любовь и тягу — к России, как к матери, как к храму, как к святыне, оскверненной и еще более дорогой!.. Протекала мимо какая-то жизнь, события без бытия, как сказал кто-то, — и всё было ни к чему, не трогало, важна была только Россия, а то всё было чужое. Двадцать лет ждал он так возвращения в Россию, жил только этим, и вот теперь возвращался — и всё же не было ни радости, захватывающей без остатка, ни даже нетерпения, а скорее тревога, неуверенность, неясная боязнь.

После Риги стало холоднее, вагонные окна расцвели снежными цветами, бело окаймило дверные щели, и даже в проходы между вагонами набился снег; и тотчас же что-то отозвалось в сердце — какой-то дальний день, какой-то поезд в России, хотя русские вагоны были совсем другие. Подышав в окно, корнет протер в цветах дырку и стал смотреть. Уже клонило к вечеру, синел снег на полях и вдали лес начинал сливаться с небом, вся местность стала шире, не походила ни на одну страну в Европе. «Nur in Kurland ist der Himmel blau!» — вспомнил он слова знакомой балтийки, тосковавшей в Германии о жизни в старое время в русской Прибалтике. Да, здесь небо было уже иное, иная земля и даль уже лежала перед ним, но всё же еще не настоящая, не полностью русская даль; иногда возникали, темнея, длинные сухие шатры кирок, и тотчас же впечатление России исчезало. Рядом с рельсами вилась всё время санная дорога, еще мало заезженная, но при виде желтых желобков от полозьев опять радовалась душа. Поезд бежал торопясь, — «тороплюсь, тороплюсь» — приговаривал невольно, в такт Подберезкин; повизгивали, как

щенята, колеса, перед глазами на стене качалась доска какой-то рекламы и фигура улыбающейся девушки шагала прямо на него, из вагона доносились беззвучные голоса, громко, в унисон певшие какую-то песню — и так он стоял и ехал в Россию, пока не стало совсем темно.

II

Ночью на автомобиле они проехали от станции к деревне, где стоял штаб дивизии, и в темноте, не зажигая огня, устроились на ночлег в какой-то избе. С русской стороны всё время бросали в небо ракеты, вспыхивавшие сине-багровым светом; вдали временами коротко и глухо рокотало, и Подберезкин сразу же перенесся в годы гражданской войны — так же становились когда-то в темноте на ночлег в незнакомых деревнях под звуки дальней канонады. Приехал он с двумя немецкими офицерами. Молоденького лейтенанта фон Эльзенберга он уже знал. Происходил тот из старинной немецкой семьи, давшей Германии не одного именитого военного и дипломата: предки его бывали послами и в России. Был он высок, девически тонок и розов, всегда с иголочки одет, весь полон упоения и веры в Германию и ее «миссию на Востоке». По дороге он постоянно заговаривал с Подберезкиным, уверял, что еще в этом же году возьмут Москву, дойдут до Волги и если те не захотят сдаваться, — пускай идут в Сибирь. Считал он, повидимому, что всё это было в порядке вещей, иногда только спохватывался, как будто что-то припоминая, и говорил, что, разумеется, они не хотят порабощать русского народа, найдутся совместные пути; один русский народ, однако, очевидно, не способен на самостоятельное существование. Другой офицер был подагрический балтиец с длинным кривым носом на продолговатом лошадином лице и клоком редких волос над высоким бледным лбом, породистый, чуть дегенеративный, похожий на фавна. С самого начала он был сух с Подберезкиным, едва подал руку и по дороге

не заговаривал совсем, хотя, вероятно, должен был знать и по-русски. Лежа теперь на деревянной скамье у стены, корнет вспоминал обо всем этом. Молодой лейтенант был ему, несмотря на полное невежество в части России, скорее приятен, но начальством окажется, видимо, всё-таки балтиец — тот был в чине капитана. Вопреки страшной усталости, спать Подберезкину не хотелось. В избе было жарко натоплено; проведя рукой в темноте, он коснулся голой бревенчатой стены, между балками в пазах лежала пакля. Косо вдоль гладкого, будто отполированного, дерева шли щели, в них возились тараканы или домовые жуки, наполняя тишину шорохом и тем необъяснимо приближая к детству в России: было в этом шорохе что-то свое, мирное, рождественское — как в «Сверчке на печи» у Диккенса. Затеплить бы лампаду в углу перед образами — и стало бы совсем как прежде!.. И радостно вспоминал: да ведь я в России, в русской крестьянской избе, в какой не бывал уже двадцать лет. Завтра проснусь и выйду в русский мир — Боже мой!.. Постепенно он всё же заснул, весь полный напряжения, ожидания, спал, бредя домом и детством, и во сне, ужасаясь и радуясь, увидел вдруг с совершенной, вещественной ясностью, как шла к нему, протягивая руки и грустно улыбаясь, сестра, оставшаяся одна в России, о которой он почти ничего не слыхал за все годы изгнания, а за нею, тоже радостно и грустно улыбаясь, отец Зосима — их старый сельский священник, в той же соломенной шляпе, люстриновой серой ряске, — всё тот же, но весь светлый и бестелесный. Протягивая руки, с криком корнет бросился навстречу — и проснулся.

В избе стояла сизая полутьма, но маленькие заснеженные окошки справа уже рдели багровым цветом; косо ложились на пол красные лучи, плотные, как плахи. Было еще раннее утро, немецкие офицеры спали на полу, на соломенных матрацах, покрывшись шинелями, от дверей по ногам несло стужей. Подберезкин оглянулся. Изба

была самая обыкновенная, крестьянская; по рисункам, в такой избе держал когда-то Кутузов военный совет в Филях: деревянные стены без обоев с квадратными переплетами окна, широкие низкие скамьи, врубленные вдоль стен, огромная русская печь по левую руку от дверей, в переднем углу — досчатый стол и над ним божница с иконами и висячей лампой. Всё было, как прежде, и Подберезкин опять радостно, всем сердцем, ощутил Россию. С какой тягой вспоминал он всегда в чистеньких городоподобных деревнях Европы, с радио и бензинными станциями, о былой русской деревне, о русской крестьянской избе с резными окнами, со старинными темными образами в красном углу, с расписными полотенцами, с медным самоваром на столе! Он не успел еще по-настоящему оглядеться и придти в себя от сна — болели бока и шея — как дверь в избу тихо отворилась и просунулась старушечья голова, повязанная платком.

— Ефим, а Ефим, — тихо сказала старуха, — когда печь топить будем? Солнышко уж в спину греет. Ай, спишь до сей поры? Стыд и срам!..

— А не сказывали ничего. Приехали и спать легли, — отозвался густой мужской голос сверху. Поведя глазами, Подберезкин увидел сначала огромные ноги, потом пестрые домотканные портки и дальше седую мохнатую голову — как седую копну сена. Старик сидел на краю печи, свесив ноги. Увидев, что на него смотрят, он дернул ногами, как будто хотел закинуть их обратно на печь, и остался попрежнему сидеть, вопросительно глядя на Подберезкина скорбными голубыми, для его лет изумительно ясными глазами. «Объявляться или не объявляться русским?» — подумал в нерешительности Подберезкин. Прикидываясь немцем, он мог больше услышать, но было как-то совестно обманывать старика, скрываться на родине и, сам еще не отдавая себе ясно отчета, он сказал, улыбаясь:

— Проснулся, дедушка?

— А проснулся, сынок, — ответил тот глухим басом, ничуть, повидимому, не удивляясь русской речи, и тотчас же слез на пол, достал сверху валенки и онучи и, сев на приступку у печи, стал обуваться.

— Раньше и о будень день не обул бы таких катанок — зашиты, залатаны, — показал он, смеясь в бороду, на огромные серые валенки с заплатами со всех сторон, — постыдился бы по деревне пройти, мужики бы засмеяли: всё пропил, видно, Ефим. Разве что Ваньке Шалатыге носить их было прежде — был у нас такой франт, почитай круглый год без верхних штанов ходил, зато чарки крепко держался, — продолжал он рассказывать, изредка поглядывая на Подберезкина, а тому казалось, что он сидит в театре и смотрит на какого-то толстовского или чеховского мужика.

— Нонче будет праздник Крещенья, — продолжал старик. — Немцы церковь открыли, на старости лет могу Богу помолиться, а думал уж не доживу до таких дён. Молодые Бога совсем не знают. Креста положить не умеют. А ты крещеный будешь? Али в Бога тоже не веришь? При Советах сказывали — заграницей ученые Бога совсем отменили.

— Крещеный, дедушка, крещеный и в Бога верую.

— То-то хорошо, — отозвался старик. Обувшись, он прошел в угол у двери и стал умываться из висячего медного рукомойника над медным тазом. Нацедив воды в ладони из носика рукомойника, он с шумом опрокидывал их на лицо и тёр, пофыркивая, щеки и бороду, а потом, сняв со стены полотенце, обсушился, разгладил надвое рукой волосы и, обратившись к иконам, перекрестился несколько раз, низко кланяясь и приговаривая: «Благослови Господь на добрый денек». И, повернувшись к Подберезкину, продолжал: — Попа-то у нас отцом Василием звали, — товарищи угнали. Лет, почитай, пять без попа жили, а потом новый объявился. Сказывают при советах в городе сапожничеством занимался — чисто

Иосиф святой. Пойду сегодня ко службе схожу — Крещенье Христово большой праздник раньше был. Бабка-старуха уж наведывалась, топить ли печь: торопится в церковь сходить. А твои приятельки долго спать-то будут? — Он указал на лежащих на полу.

— Зови, зови старуху, пускай топит, — отвечал Подберезкин.

Старик ушел из избы, сказав, что еще скоту надо корму дать, а баба придет, затопит печь: из открытых дверей покатились по полу, наскакивая друг на друга, клубы морозного пару прямо на спящих; вспомнив об их присутствии, Подберезкин невольно поморщился — так они не подходили к этой избе. Скоро появилась старуха в пестром бумазейном сарафане поверх пестрядиной рубахи, в серых валенках; войдя, она низко поклонилась и сразу же заговорила:

— Слышу, Ефим всё разговоры с тобой разговаривает, и диву даюсь — неужто старик по-чужому на старости лет заговорил? А ты, сокол, из наших будешь али только речи нашей обучен?

— Русский я, бабушка, самый настоящий русский. Только белый — слыхала про белых? В двадцатом году с красными бились.

А старуха перебила, словно не слушая:

— Ждали вас, белых-то, сколько лет, да и жданки все потеряли.

— Что ты говоришь?

— А говорю: конь с ведмедем тягался, только хвост остался...—разговаривая с Подберезкиным, старуха бойко передвигалась по избе, положила бесшумно дров в печь, нащепала лучинок и зажгла огонь; выгибаясь, потекли вверх в трубу густые пряди дыма. Потом старуха налила воды в огромный медный самовар, подбросила в трубу горячих углей и лучинок.

— Раньше был у нас, говорю, Бог, а теперь на всё советская власть — что, сокол, противу сделаешь? —

вдруг сказала она и, остановившись, посмотрела на Подберезкина поблекшими добрыми глазами. — Ждали, говорю, ждали — и жданки потеряли. А теперь как и встречать вас — не знаем. У нас, при советской-то власти, кто старины крепился, тот и двора лишился.

Подберезкин почувствовал в ее словах не то упрек, не то сожаление к нему, и еще что-то неопределимое, наполнившее его самого болью, точно приходилось вдруг расстаться с давней и дорогой надеждой и познать некую горькую правду; а вместе с тем так мила была ему эта старуха, напоминавшая и няню, и многих других деревенских баб, что знал он по своему детству. И он сидел так, не зная, во сне всё это было или наяву. Столь долгие годы отделяли от прежних времен и людей; и в то же время старухина речь и сама она действовали так, как будто не было никакого перерыва. А старуха замолкла, вздыхая возилась у печки, и, поведя взглядом, Подберезкин вдруг заметил, что барон высунул голову из-под одеяла и смотрел не то на него, не то куда-то в пространство рядом неподвижными серыми глазами; повидимому смотрел так он уже давно, и от его немого взгляда сразу стало как-то не по себе.

— Guten Morgen, Baron, — поздоровался Подберезкин и пошел мыться; разговаривать по-немецки не хотелось. После него мылся барон с кисло презрительной миной на лице, как цапля перегибая худое тело на длинных ногах, едва касаясь пальцами медного рукомойника, а молодой лейтенант всё спал. Было, вероятно, уже около девяти часов, и Подберезкину не терпелось — хотелось выйти на улицу, отыскать старика, пойти с ним в церковь, встать, наконец, ногой на русскую землю. Не переговорив с лейтенантом, уйти он не решался и потому старался шуметь при своих движениях; балтиец тоже шумел, не стесняясь, а лейтенант всё спал. И вдруг вскочил, сел поперек матраца, осмотрелся, видно, ничего толком не соображая, остановился глазами на огромном

зеве печи, на дыму, убегающем в поддымник, на старуху — и тут только, вероятно, окончательно проснулся и понял, где он находился.

— Nein, wie interessant, meine Herren! — заявил он радостно, протирая глаза, и протянул снова: — Wie interessant! — Подберезкину было приятно это розовое мальчишеское лицо с красными полосами на щеках, со спутанными мягкими волосами.

— Какой молоденький, Господи! — заговорила старуха, — а тоже на войну загнали, такая уж ваша доля.

— Was sagt sie? — спросил улыбаясь лейтенант Подберезкина и, услышав ответ, протянул радостно: — Ach, so!

Встав с постели, он вытащил из своего добротного кожаного чемоданчика туалетные принадлежности: щеточки, напильнички, скляночки и стал готовиться к мытью. Старуха стояла, видимо, дивясь его приготовлениям, и подконец сказала:

— Принц, чистый принц.

И опять немец спросил Подберезкина: «was sagt sie, was sagt sie?» — и видно было, что слова старухи ему польстили; и старухе, видно, тоже искренне нравился этот молодой офицер, — не то, чтобы она льстила ему из корыстолюбия или по привычке. Но окончательную жалость немец вызвал у нее, когда, подойдя к висячему рукомойнику, он вылил из грязного таза воду и, наполнив вновь свежей водой, хотел из него мыться. Таз был огромный, медный, весь позеленелый: как всегда, в России мылись не в нем, а над ним — из самого рукомойника. Старуха пришла в волнение.

— Соколик, да что ж он в грязном тазу умываться хочет! Мы из него и скотине не даем пить. Ничего, видно, у вас там на чужой стороне не понимают. А говорят — чужая сторона прибавляет ума... Молодой-то какой! А он женатый? — спросила она Подберезкина и, не дожидаясь

ответа, продолжала: — Женам теперь хуже всего: воин воюет, а жена дома горюет. Вот у меня невестка Авдотья тоже. Сына-то взяли... — начала она, но старик, вошедший в это время в избу, прервал ее:

— И что ты кудахчешь, бабья твоя голова. Нету рассудку ни краюшка. Молчи, знай, да ставь лучше самовар на стол — люди с дороги притомились.

Вскоре самовар закипел, старуха поставила его на стол, принесла чашки и стаканы.

— Нечем больше подчевать, скажи им, соколик. Чаю не имеем. При советской власти хлебу да воде были рады. Хлеб да вода — здоровая еда. С голоду не помрешь, а жиру не нагуляешь — работать легче.

Отпив чаю вместе с бароном и лейтенантом, Подберезкин узнал, к своей радости, что майор из штаба, к которому он должен был явиться, находился где-то в разъездах; день был свободный.

III

Надев шинель, корнет вышел наружу. Несмотря на то, что на нем был немецкий военный мундир, всё казалось ему, что он в белой армии и что произошел лишь короткий перерыв. И вот прерванное вновь началось, вновь стало явью — попрежнему идет борьба за очищение русской земли. Он вспомнил призывные слова из воззвания генерала Алексеева перед знаменитым ледяным походом в степи о том, что зажжен светоч для русской земли, что они — белые — несут его и должны пронести до конца, вспомнил бои под Ростовом, на Кубани, под Перекопом, вспомнил немое отчаяние и последние взгляды с парохода на уходящую русскую землю, когда уплывали с остатками армии на чужбину, и все эти годы томления, ожидания заграницей, редеющие ряды товарищей — что же, не напрасно, светоч еще не потух!..

Выйдя наружу, Подберезкин невольно остановился — такой ослепительный блеск ударил ему в глаза от земли: радужно лоснясь, уходили от деревни широкие снежные поля, сливаясь вдали с небом, и от блеска их дрожал и будто звенел воздух. Это была настоящая русская зимняя даль, какой он не видал уже два десятка лет в Европе, с дымчатой каймой леса на горизонте. Направо возвышалась шатровая деревянная церковь над пухлыми белыми скатами крыш, туда к селу вела от деревни, где остановился корнет, дорога с двумя глянцевито-синеватыми желобами, с грязно-желтыми следами копыт посередине. А по бокам бежали два припухлых снежных горба, утыканные вешками под белыми папахами, — ка-

залось, шли вдоль всей дороги крохотные путники с белой ношей на плечах. От избы поднимался дым, свиваясь в прямой тонкий свиток, уходил ввысь, в небо нежно-зеленого цвета. По улице шла баба от колодца, несла на коромысле через плечо два ведра с водой, чуть придерживая передней рукой: а так кругом было еще совсем пусто и тихо, ничто не напоминало войны, как будто текла в этих темных избах с маленькими окошками веками нерушимая, одна и та же жизнь от дедов к внукам. Вид весь был до того российский, до того свой, что Подберезкин едва удержал себя, чтобы не закричать, не броситься на землю и не целовать ее. Русская земля! Вот она была перед ним опять — родная земля, по которой изболелось всё сердце, но не как по любимой, не как по жене, может быть даже не как по матери, а как по родному опустошенному дому. Опустошили его совсем, или же осталось еще что-нибудь от былого — подумал он, примет ли он его, блудного, но верного сына, или же вошел сюда, поселился здесь раз навсегда некто новый, и нет возвращения назад, и нет воскресения тому, что было, и нет ему больше приюта?.. Он пошел вдоль улицы по направлению к церкви на пригорке. По ту и по другую руку лежали крестьянские дворы за изгородью из жердей, с бревенчатым въездом на сеновал, с темным скотным двором, пристроенным сзади дома, — всё, как было и при его детстве; в дверях стояли розвальни с раскинутыми в воздухе оглоблями — вид был такой, что давно никто никуда не ездил. После Подберезкин узнал, что с немецкой и с русской стороны лошадей у крестьян всех забрали. Идя по этой зимней дороге, он вспомнил почему-то с необыкновенной ясностью, как ехал он когда-то давно-давно, мальчишкой лет шести, с отцом из усадьбы в церковь. Ехали полем в маленьких санках, впереди беспрестанно ровно крутил вороной зад коня в снежном кругу, обдавая снежной пудрой, взвивался хвост, цокали копыта, рядом сидел

отец, высокий, прямой, в черной шубе с бобровым воротником, в котиковой черной шапке. А кругом так же уходили в даль, чуть изгибаясь, блистающие поля, дымились трубы изб и вспыхивал крест сельской церкви в снежно-пыльном воздухе утра, сзади же остался дом и с ним чувство уюта, тепла, прочного собственного мира. Почему вспомнилась сегодня именно эта поездка, до сих пор утаенная памятью, никак нельзя было понять — совершил он после по России сотни зимних поездок: но и сейчас от этого воспоминания тепло, как вино, разлилась по телу радость, потому что было это на самом деле, хотя и казалось теперь как-то невероятным, до того всё стало иным, до того по-иному пошла потом вся жизнь. Не стоял, как тогда, сзади дом, придававший миру и жизни стойкость, а сердцу полноту и счастье: новый мир стал бездомным, это было самое ужасное и самое для него характерное — казалось всегда Подберезкину.

На селе было полно немецких войск, у домов приткнулись в ряд вереницы покрытых тонким ледком танков, замаскированных ветками; на изгородях, на столбах были немецкие надписи. Солдаты, показавшиеся навстречу, отдали честь, щелкнули каблуками, и Подберезкин вдруг спохватился — на нем же был немецкий офицерский мундир, и поспешно с удовольствием, по старой привычке поднес руку к козырьку. Солдаты зябли, многие обмотали головы шарфами, подняли воротники шинели, и это придавало им сразу невоенный, жалкий вид; старые русские солдаты держались, бывало, куда бравее. «Что для русского здорово, то для немца смерть», — вспомнил он улыбаясь.

Церковь стояла на другом конце деревни, но уже издали он понял, с легким замиранием сердца, что в ней, наверно, больше не служили: вместо креста сиротливо торчал развороченный купол, дыбилось на крыше ржавое обледенелое железо, темно и холодно зияли окна с ре-

шётками без стекол. На повалившуюся ограду, на кирпичные столбы намело косо и густо снегу, в церковном дворе торчали из сугробов одинокие покосившиеся кресты могил, и к храму не вела тропа, как прежде, как навсегда это у него запечатлелось в памяти. Проваливаясь в снегу, он взобрался на крыльцо к сорвавшейся с петель косо висевшей двери и вошел в холодный опустошенный храм и сразу же закрыл с ужасом глаза: на полу волнами лежал грязный снег, взлетали клочья бумаг, с голых стен, с оскверненного иконостаса свисали какие-то лозунги и лубочные картины; были распахнуты царские врата и опрокинут алтарь. Он слыхал об осквернении церквей в России, но наяву всё это было до того ужасно, что, содрогаясь, он выбежал из храма. Хуже всего было сознание, что это были не следы войны и врага. «И увидишь мерзость запустения, стоящую где недолжно», — вспомнились ему смутно слова из какого-то священного текста — «и спадут звезды с неба, и луна, и солнце не будут светить». И звезды не спали, и луна, и солнце светили!.. «Но почему же Ты молчишь, Господи, почему Ты приемлешь это поношение, если Ты есть и видишь?» — почти крикнул Подберезкин — «И как понять, вообще, что побеждают мрак и это варварство, а гибнет и оскверняется, может быть, единственно ценное и святое на земле? — ужели зло должно победить, в конце концов, в этом мире?». Наблюдая жизнь за последние годы, он разумом должен был признать, что это было, повидимому, так, что побеждало, с его точки зрения, зло, но душой он чувствовал — или надеялся смутно, что этическое в истории всё-таки играет большую роль, чем кажется, и что тот гибнет и обращается, в конце концов, в прах, кто этого не понял.

На улице он вспомнил слова старика о том, что живут они без церкви уже несколько лет, — куда же он в таком случае собирался идти к службе? Еще раньше, проходя по деревне, Подберезкин заметил, что позади

одного двора, в большом саду толпился народ; он подумал, что там наверно производили какую-нибудь раздачу. И теперь вдоль села шли люди, направляясь туда, немецкие солдаты приостанавливались, долго смотрели, некоторые сворачивали. Приближаясь, корнет различил слабое церковное пение, разрываемое ветром; пел хор из мужских и женских голосов, и к нему иногда присоединялась, подхватывая слова, многоголосая толпа. Скоро он различил и возглас священника: «Господу помолимся!», ударявшего особенно на последнем слове, и ответное: «Господи помилуй» — хора. Очевидно, происходило богослужение под открытым небом. У аметистово сияющих берез был устроен алтарь, и перед ним стоял священник с крестом и кадилом в руках, а сзади на снегу полукругом народ — больше было баб, повязанных платками, с кучей малышей и подростков, стариков с заиндевевшими бородами, простоволосых, несмотря на мороз и сухо сыплющийся острый снег. Подростки собрались впереди, смотрели, не отрывая глаз от священника, от хора, иногда быстро перешептываясь друг с другом; в хоре пело несколько стариков с длинными бородами и совсем молодые девки. Пели девки чистыми, упруго летевшими голосами, сильно, всей грудью, как бывало на сенокосах, но заметно было, что они еще не освоились с церковными напевами, и было что-то мирское в церковном пении, как радение, как цыганское завывание, в особенности у альтовых грудных голосов. В толпе Подберезкин различил Ефима и его старуху, оба узнали его — он заметил это, но не подали виду: так всегда раньше молились старики в их сельской церкви.

Когда он пришел, кончалась обедня. Священник, высокий старик с седой узкой по-библейски вьющейся бородой, произносил проповедь; слова его сухо звучали в морозном воздухе. Он говорил, подняв крест, чуть подаваясь вперед, от губ его шел пар. «Ведь он наш Отец! — страстно восклицал священник. — Наш родной Отец!

Он нас всех любит и жалеет!». В его словах звучало что-то убеждающее, хватающее за сердце; сзади — Подберезкин встал в переднем ряду — послышалось всхлипывание, и невольно оглянувшись, он увидел, что половина баб плачет. Плакали они чисто по-русски, неловко, как дети, утирая глаза ладонью, концом своих шалей, и было во всем их виде — в этих столь знакомых русских бабах — что-то жалкое и до боли свое. Стоят они рядами, как и прежде в церквах, крестятся и кланяются все разом, высоко закидывая руки при кресте, кланяются низко сгибаясь, шурша одеждой при движении. Молодые девки смотрят испуганно, потрясенно, не умеют по-настоящему креститься, движения их неуверенны, неловки, будто они еще стыдятся их. И когда, после проповеди, священник, поцеловав крест, запел «во Иордане крещахуся Тебе, Господи», то поют с ним вначале одни старики, потом нестройно подхватывают бабы, а после все поют уже ладно, громко, уверенно вставляя слова. «Так не забыли же они о Боге, не отступили от Него, — взволнованно подумал Подберезкин, — а носили Его, тая все эти годы в сердце, как один единственный огонь спасенья, как свечу на ветру в Великий Четверг». Когда все подошли ко кресту, священник, отступя несколько назад, спросил громко:

— Дети у всех крещены?

И в ответ раздается негромко, неуверенно, вразброд:

— Некрещеные... Где было крестить... некрещеные.

Подберезкин содрогнулся. Как это было странно, что Россия — христианская страна, богоносный народ — вновь после тысячи лет стала языческой!

— Святая Православная Церковь — продолжал священник, — разрешает пастырям крестить без купели, без омовения в воде, буде нет другой возможности. Буду свершать обряд Святого Крещения для отроков и отроковиц. Младенцев окрещу по домам.

И вот, чуть подталкивая сзади, одна за другой, подводят бабы своих детей — подростков с обнаженными

головами, с испуганно восторженными глазами — под руку священника, и он кистью ставит им крест на лбу: «Крещается раб Божий имя рек», и трижды кропит водою.

Сияет над головой высокое ледяное небо без единого облака, холодно лучась, изгибаясь, простираются снежные поля, где-то невидимо переходя в светящуюся, будто парчевую, стену горизонта, неподвижны березы с аметистовыми стволами, все охваченные белым горением. А хор поет: «Явился еси днесь вселенной...». Всё это походит на какие-то древние времена; кажется Подберезкину, будто читал он об этом где-то, когда-то, видел эти черные избы, эти дали без краю, и народ, подходящий креститься, — точно присутствовал он при древнем крещении Руси.

IV

— Вечером нужно будет идти в офицерское казино, — сказал Подберезкину фон Эльзенберг, — познакомиться с господами офицерами. Сам фон Эльзенберг уже с полудня снова занялся туалетом: напомадился, надушился, приготовил новый мундир: в белой шелковой рубашке походил он, со своими девственно розовыми щеками, длинными белокурыми волосами, на сахарного немецкого херувимчика.

День был яркий, с одной стороны стекла отошли, и снаружи мимо окон часто ослепительно падал луч, сразу озаряя всё: и улицу, и желтую дорогу, и горницу, светлым весельем; от этого ли света или от недавней службы, но у корнета было необыкновенно легко и радостно на душе, словно был это обычный мирный день в деревне, во время какой-нибудь охоты; ничто не напоминало о войне. Переодеваясь и перекладывая бумаги из кармана в карман, он обронил что-то на пол и, подняв, увидел, к удивлению своему, что то была его собственная фотография офицером — молоденьким корнетом — во время гражданской войны, неизвестно как в кармане очутившаяся. Было забавно и чуть грустно смотреть теперь на длинного худого мальчишку с туго затянутой ремнем талией, в лихо, набекрень, посаженной фуражке с офицерской кокардой над до смешного мальчишеским лицом. Как он был молод тогда — совсем мальчишка, а считал ведь себя уже совершенно взрослым!.. Взгляд его перешел на зеркало, и он сравнил свое лицо теперь с тем, юным: кожа потемнела, потрескалась, мутные глаза, две глубокие складки, как скобки, замкнули рот, а на лбу

вьются, как нити, морщины. Лицо — не старое, но на нем, как у многих русских офицеров, печать отчуждения, затаенности, нечто донкихотовское — он сказал бы. Однако, ни за что он не согласился бы быть на другой стороне; самое большое счастье его жизни составляло именно то, что он принадлежал к белым, что сражался в белой армии!

Когда вышли на улицу, уже смеркалось. На западе над кровавым закатом блестели, пронизывая небо, синие стальные облака, похожие на крылья огромных налетающих эскадрилий; на волнистых полях лежал розовый свет, и они пенились в нем, как вечернее море. На востоке же небо умерло, побледнело, было непостижимо далеко от земли, а между, как влага, застыла девственно-прозрачная зеленая сфера, и в ней неподвижно, как мумии, стояли деревья. Ближе была деревня — черные туловища домов с красными зрачками окон... Иногда, разрушая этот трансцендентный покой, взлетали откуда-то с востока ракеты, летели, извиваясь, как скорпионы с огненными хвостами, вдруг замирали и рассыпались голубым светом.

— Сегодня ночью они что-нибудь начнут, — сказал фон Эльзенберг. — Diese Burschen, drüben. Клянусь всеми святыми!

Говорил он точно таким же тоном, каким сам Подберезкин говаривал о подобных вещах в свои корнетские годы, желая казаться холодным и знающим, скрывая не то радостное, не то жуткое волнение.

Казино помещалось в бывшей избе-читальне, и корнет не без интереса вошел туда. Посредине висела под потолком большая керосиновая лампа, напоминая людскую в старом подберезкинском доме, на столе в углу горела вторая настольная лампа, в избе было светло, тепло, но уже сильно накурено. Когда они вошли, находилось там шесть человек. Подберезкину бросился больше всех в глаза совсем молодой лейтенант огромного

роста, мешковатый белокурый тевтонец в круглых светлых роговых очках, из-под которых глядели чистые, наивно-вопрошающие глаза. Здороваясь с Подберезкиным, он доверчиво улыбнулся, радостно потрясая протянутую руку. Судя по фамилии, принадлежал он к самой первой немецкой знати; офицеры между собой звали его Паульхен. Другой, обративший на себя внимание Подберезкина, был старший лейтенант с красивым самодовольным лицом того особенного типа, который корнет считал характерным для нового времени и совершенно не переносил. Люди этого типа, повидимому, часто принадлежали к партии и считали, что они всегда правы. Это был именно герой нашего времени: звали его Корнеманн. Раньше он состоял, как узнал после Подберезкин, в дипломатическом ведомстве, был атташе при какой-то миссии. С Подберезкиным он с первого же разу стал холоден, почти неприятен. Другие показались вначале незначительными. В углу тихо играло радио, передавали новую танцевальную музыку; офицеры сидели вокруг стола с вином, коньяком и едой. Когда они с фон Эльзенбергом вошли, говорил как раз Корнеманн:

— Только здесь, в нашем положении, можно вполне оценить, как тяжело было немецким солдатам в великую войну, — кроме почты, они никакого общения с родиной не имели. Представьте, что у нас нет радио!

«Но ведь солдаты других наций тоже не имели радио и были даже дальше от своей родины, — скажем канадцы, — почему же он говорит только о немецких солдатах?» — подумал недоуменно Подберезкин, но ничего не сказал. Разговор шел о России, и, как он скоро заметил, вели его две стороны: на одной был Корнеманн, балтиец, и под конец присоединился Эльзенберг, на другой — все остальные; особенно горячился один уже пожилой майор и Паульхен.

— Только радио еще соединяет нас с культурой и цивилизацией, — продолжал Корнеманн, — иначе можно

в этой стране превратиться в дикаря. Вспомните французский поход, французских женщин. Как они нас встречали! А тут я уже давно прекратил думать о женщинах, ибо эти существа здесь («Marielchen», — сказал он. «Что это было за слово: Marielchen?»— подумал Подберезкин) убивают у вас всякую охоту. Дикий народ. Нет, я никогда не учил русского языка, хотя принадлежу к дипломатическому ведомству, и поход утвердил меня в моей уверенности. «Stoj, swolodi!» — bleib stehen, du Schweinehund! — «njet punemaju» — «verstehe nicht», «podaite malaka, jaiza und masla» — verkauft mir Milch, Eier und Butter, — mit diesen drei Sätzen kommt man überall durch. Genügt vollständig.

«Что он, меня сознательно оскорбить хочет? — подумал Подберезкин. Или же он считает меня за немца?».

— Ein paar Wochen genügen hier völlig, um wieder Sehnsucht zu bekommen nach Gegenden, in denen blütenweisse Betten, ungezieferfreie Wohnungen und anständige W.C.'s — Verzeihung! — selbstverständlich sind.

Он посмотрел победоносно вокруг. Какое у него пошлое лицо, типичный герой нашего времени!.. И как он уверен в своей правоте. Для того, чтобы считать себя всегда правым, нужно быть, повидимому, глупым, — думал Подберезкин слушая.

— О, я отнюдь не жалуюсь, мы все знаем, что этот поход был необходимым. Но, mein Gott, он мог бы быть уже давным давно кончен, если бы не этот варварский народ. Почему русские борются так упорно, спрашиваю я вас? Русский не знает, за что он борется, он глуп и дик. Er ist dumm und stumpf.

— Но, Корнеманн, — возражал пожилой майор, — как вы можете так рассуждать? Почему то, что у нас называется храбростью, мужеством, для других солдат, как вы говорите, — dumm und stumpf? Вы не имеете ни малейшего представления о старой России — ни об ее прошлом, ни об ее армии. Своим высоким искусством

смерти и страдания русские солдаты уже не раз поражали Европу. Что вы хотите, — русские покоряли почти все столицы Европы. А кто был в Петербурге или в Москве — никто, кроме Наполеона.

— Но именно поэтому мы должны их истребить, — резко вмешался вдруг барон. — Ни одна другая нация нам не страшна. С Францией готово, с Англией мы справимся в шесть недель, в шесть месяцев с Америкой, но для этого мы должны раз навсегда покончить с Россией.

— Другие не страшны — именно, именно! — улыбаясь начал фон Эльзенберг. — Помните, во Франции? Они сдавались тысячами при первом выстреле. Я говорил потом с пленными французами — avec les prisoniers francais. Почему вы так плохо бились? — Мы? — удивленно переспрашивали французы, зачем мы будем рисковать своей шкурой? Moi, je m'en garderai, moi!.. Франция останется, побежденная или непобежденная. А колонии — ca ne-me touche pas — это меня не касается. Les colonies, je m'en fiche moi. Ха-ха-ха! А англичане? — О, я всегда был поклонником Англии, но против немецкого солдата ни один англичанин не устоит. Это мое убеждение. Значит, остаются только русские. Конечно, это оскорбление для немецкого солдата быть сравненным с русским, но они — diese Kerle, — сражаются, как львы, — нужно сказать.

— Вы знаете, — тихо сказал Подберезкин, почти против воли: ему не хотелось говорить и спорить, ибо по опыту он знал, что всё равно никого не переубедить. — Наполеон сказал: «Недостаточно убить русского солдата, надо его еще при этом и повалить. Il ne suffit pas le tuer, il faut encore le renverser».

— Да, да, вы вот русский, — торопливо, как будто вспомнив что-то, начал фон Эльзенберг, — объясните нам... — Но барон перебил его и, сверкая глазами и брызгая слюной, заговорил:

— Повалить, повалить! Renverser! Но из-за чего он

бьется! Вот народ! Уже забыл про обиды, причиненные ему большевиками. Рабы! Всякий другой народ давно сдался бы, а эти бьются, не сдаются. Свинство! Всё равно разобьем вдребезги.

— Но это, может быть, наша вина, барон, что они не сдаются, — заговорил опять майор, — мы должны показать им, что идем как друзья, не как враги, идем развязать их путы. Большевизм — это и наша вина, европейская. Наивно думать, что он только русское явление. Большевизм создан в Европе, от нас он пошел в Россию, и мы должны его искоренить. Этот поход должен стать настоящим крестовым походом.

— Это ошибка! — закричал Корнеманн. — Мы не филантропы. Мы сознательно идем против того, что называется Россией. Искоренение большевизма, политический строй в России нас не интересует. Пускай большевизм останется с ними — где-нибудь за Уралом, в Сибири. Мы делаем сознательный поворот в политике Германии, *великой* Германии, — поворот на *восток*. Это борьба против степи. Политика на тысячу лет!.. Он выпил вина и кричал отдельными фразами: — Мы обрекаем этот народ на вымирание. Пускай он вымрет миллионами — мы не скрываем, что хотим этого, что это наша цель. Мы народ без пространства и мы хотим его получить и мы получим его, koste es, was es wolle!.. Это наша миссия на востоке.

— А если не удастся? — спросил майор.

— Не может не удасться. Если они нам подчинятся, они могут дальше существовать, как феллахи, как индусы у англичан. Если они не подчинятся, мы их истребим полностью. Мы дойдем до Волги, до Урала, там построим вал, пускай они идут в Азию. Европа будет европейской!

— Мы будем действовать против них, — снова вмешался барон, — как они действовали в свое время против туземцев. Мы построим крепости, дадим им силь-

ные немецкие гарнизоны, и радиус их действия будем год за годом расширять. Как сами русские когда-то в Сибири против татар. Мы будем посылать штрафные экспедиции, да, да, Strafexpeditionen! — кричал он, глядя на Подберезкина.

Корнету было совершенно ясно, что тот нарочно кричал эти слова в его присутствии, съедаемый, повидимому, какой-то злобой к русским или к России, и хотел сдержать себя, по опыту зная, что невозможно иностранцу понять Россию — книгу за семью печатями — и что поэтому бесполезно и глупо на них обижаться, но всётаки не выдержал.

— Меня совершенно не удивляют слова господина старшего лейтенанта: он иностранец и не знает России и не в силах ее понять — начал он. — Но вы, барон, балтиец, вы помните старую Россию, возможно, говорите по-русски и должны хоть немного знать историю. — Он говорил тихо, чувствуя, как дрожали его губы, а голос не вполне подчинялся. — Господин лейтенант может не знать, что Россия не одна степь, хотя нет ничего на свете прекраснее нашей южной степи и только невежда может обращать ее в ругательство. Господин обер-лейтенант может не знать, что Россия уже в девятом веке представляла собой могущественное и передовое государство, когда стран, ведущих войну с Россией, даже еще не существовало. Господин обер-лейтенант может не знать, хотя он и принадлежит к дипломатическому ведомству, ни о столетиях борьбы России с Азией во имя Европы, ни о половцах, ни о татарах, ни даже о Наполеоне. Господин обер-лейтенант может не знать ни о нашей истории, ни о нашей литературе, ни о нашей церкви, ни даже о том, откуда к нам пришел большевизм, — не знать и считать нас варварским народом и верить в свою миссию на Востоке, — но вы, барон, вы не можете всего этого не знать! Как же вы рискуете поддерживать эту безумную затею уничтожения и штрафных экспедиций,

как можете это делать, любя Германию? Ведь ясно, что вы потерпите неудачу, если придете со штрафной экспедицией.

Он остановился, вспомнив опять, что ни один иностранец, не живший в старой России, не в состоянии ее постигнуть, и впервые смутно понял, что по какой-то ошибке находился здесь, что, несмотря на его немецкую форму, он был чужой всем присутствующим, а в бароне и в Корнеманне почувствовал даже врагов.

— Вы не объективны, — сухо отозвался барон. — Вы русский. — И прибавил по-русски: — Но, однако, почему вы, в таком случае, здесь?

Наступило неловкое молчание. Но Паульхен вскочил вдруг и, налив в рюмки коньяку, закричал уже чуть пьяным голосом:

— Auf die Befreiung Russlands! За освобождение России!

Он полез чокаться с Подберезкиным, опять разбивая в том все сомнения и зарождая новую надежду, потом с майором, с фон Эльзенбергом, даже с бароном и Корнеманном, но те рюмок не подняли.

— Да, да, лучше выпьем! — подхватил скороговоркой Эльзенберг! Не надо политики, политика не дело военных, meine Herren, и — давайте музыку!

Подойдя к другому столу, он завел грамофон и пустил пластинку — какое-то испанское танго. Запел низкий женский голос под аккомпанимент гитары, и невольно Подберезкину вспомнились годы после великой войны в Европе, кафе, полные сплетенных пар, табачного дыму и тягучих звуков, и возвращение по ночным гулким улицам — весь тот сладкий и тягостный чад. Здесь в России, эти звуки как-то не подходили, Россия прошла мимо иной, своей дорогой. Сидя в кресле, он смотрел на присутствующих: все примолкли. У Паульхена и у Эльзенберга явно дрыгали ноги, так и хотелось им, видно, пуститься в танцы; согнувшись, нахмурив лоб, сидел

майор; было ему лет пятьдесят пять: значит из первой войны вышел он еще молодым, и, вероятно, и для него эти звуки имели их странное очарование.

Так сидели они еще некоторое время, перебрасываясь отдельными словами, каждый занятый своими думами. Несколько раз входил и опять уходил, потоптавшись у порога, молодой парень с испитым лицом, в русской солдатской рубахе, в дырявых сапогах, видно, прислуживавший в избе. Подберезкин не раз ловил на себе его просительно-покорный взгляд, а когда стали расходиться, парень вдруг подошел и сказал тихо:

— Господин, не найдется ли хлебушка?

— Кто ты такой? — спросил Подберезкин, удивленный, что тот заговорил с ним по-русски.

— А из пленных, из перебежчиков. В бараке здеся живем.

— Вас не кормят, что ли?

— Почитай что совсем не кормют. Хлебушка нет ни краюшки.

На столе, где стояли бутылки с вином и коньяком, оставались еще хлеб, масло, консервы. Подберезкин взял полкаравая и начатую коробку консервов и протянул всё пленному солдату. Но в тот же момент кто-то закричал сзади: «Halt!», — и корнет почувствовал руку, взявшую его за локоть. Это был Корнеманн. Красноармеец, впрочем, уже успел схватить хлеб и банку и стоял, прижимая всё к груди.

— Вы с ума сошли! Как смеете вы раздавать казенное офицерское довольствие нашим врагам? — спрашивал Корнеманн повышенным голосом, смотря на корнета злыми, мгновенно позеленевшими глазами.

— Я отказываюсь от своей порции, — ответил Подберезкин чуть дрожа, — он голоден, их не кормят. Смотрите, он едва на ногах стоит.

— Они наши враги, не забывайте. Недопустимо, чтобы они ели наш хлеб. Вон! Raus! — закричал он на плен-

ного. Уронив банку с консервами, тот выскочил за дверь.

— Ах, оставьте, Корнеманн! Не будьте так мелочны! — вмешался майор, сморщив лицо, — Он же прибирает избу. И к тому же перебежал к нам.

— Они все одинаковы. Им нельзя верить. Все замаскированные коммунисты. Мы должны быть жестокими. Jawohl!

Подберезкин чувствовал, что у него трясутся колени, трясутся и дергаются губы, но он сдержал себя и вышел наружу. Ничего не случилось в сущности: немец был посвоему прав, вероятно; тем не менее теснили боль и обида за этого жалкого пленного, за себя, за всю Россию. Прежний русский офицер не поступил бы так с пленными, ни один русский вообще не пожалел бы куска хлеба даже врагу, но, может быть, это было именно глупо с европейской точки зрения? Слишком уж много сентиментальности у нас — думал он, — все мы какие-то Дон Кихоты, люди старой России, а здесь все они реалисты, оттого мы всегда и в проигрыше. Разумеется, он был прав. Жестокость была доминирующим явлением в новом мире, в том числе, конечно, и в новой России, — он смутно чувствовал это. Так брел он к дому, раздумывая и прислушиваясь к хрусту снега под ногами, и остановился вдруг. На дворе была русская крещенская ночь! На небе высыпало столько звезд и так они все мигали и вспыхивали, порхая, как живые, что невозможно было подумать о них, как о каких-то мирах, солнечных системах. Он этому никогда и не верил по-настоящему; вглядываясь в темно-сияющую межзвездную бездну, он всегда как-то цепенел; душа шевелилась робко, но сами звезды — они никогда не возбуждали страха! Они свидетельствовали о Боге и звали лишь к славословию всей этой красоты... А на земле избы стояли черные, низкие, придавленные снегом, нигде не горел огонь; в тишине хрустел остро снег и по-особеннному, как нигде в мире, пахло зимой, морозом. И был так велик и божественен

мир и так сиротливо-человечна и затеряна в нем эта деревня, что становилось ясно: Бог, создавший этот непостижимый огромный мир и вместе эту бедность и немощность, — Он не мог сделать это ради забавы! Для чего же он создал всё это? — И Россию, с ее странной судьбой, и его самого, и чужбину, и эту войну, и немцев, — всё это было призвано им и для чего-то нужно?..

Когда он уже подходил к своей избе, глубоко, всем ртом, втягивая холодный, останавливающий кровь воздух, его нагнал Паульхен.

— Не будьте нам, пожалуйста, злой, — заговорил он по-русски: — мы не все так думаем, как Корнеманн. Я очень люблю Россию и русски. В Берлин я иду всегда в русский ресторан слушайт русски петь. Никто так не может петь, как русски.

— Я очень рад, — ответил Подберезкин, действительно радуясь словам Паульхена и всему его появлению. А тот сгреб его руку в свою лапу и долго тряс, радостно гогоча и пытаясь что-то говорить по-русски.

V

Под утро русские начали бой. Безошибочно, старым чутьем военного, Подберезкин уловил это даже сквозь сон. Услыхав, как где-то вдали словно ухнула и раскрылась земля, он сразу понял, в чем было дело. Тяжелая артиллерия била из-под Ленинграда. До города было верст тридцать-сорок, и сперва снаряды ложились далеко — били по передовым немецким линиям. Одеваясь, Подберезкин прислушивался, чуть напрягаясь телом, к дальним взрывам, к сотрясению и гулу воздуха, к легкому дрожанию стекол и посуды; всё это было так знакомо по гражданской войне и опять переносило в те времена. С немецкой стороны сначала не отвечали; а потом тяжело, колебля землю, воздух, весь дом, стали бить сзади; со страшным громом раздавался выстрел и, гудя, посвистывая и словно перекатываясь в воздухе, уносился снаряд за снарядом. Балтиец и Эльзенберг молча оделись и убежали из избы; вошел старик и за ним появилась старуха, оба крестились, вздыхая, при звуках выстрелов, но ничего не говорили. Когда над избами, повизгивая и забирая за собой воздух, пролетал снаряд, старик подымал лицо, прислушивался, выражение его было строго, как на молитве. Сам не зная, что делать, ибо никогда не находился в бою без занятия, корнет вышел наружу. День был, как и вчера, ясный, холодный; тонким синим жезлом уходил в небо дым из труб, выгибаясь синели снежные поля, синел лес вдали, вливаясь в легком тумане с небом, — весь мир был голубой под этим голубым н

чистым куполом неба. И странно — этот бой не нарушал величия мира, а скорее гармонировал с ним: в том и другом была жуть.

По деревне пронеслись с треском несколько мотоциклистов с поднятыми меховыми воротниками, в меховых шапках, с винтовками поперек спины, а затем из соседнего села, где была церковь, поползли по снегу серые танки, выставив вперед дула орудий, и издалека были похожи на стадо каких-то тяжелых зверей. Они рассыпались веерообразно по полю и ползли медленно к лесу, вздымая снежную пыль. Канонада усилилась, перейдя в сплошной гул, иногда на небе едва уловимо вспыхивало и расходилось белое пламя — видно, били по аэропланам, но гула их не доносило. Переживал сегодня Подберезкин первый бой после многих лет, бой — казалось бы — с теми же, с кем бился и он тогда, с кем у него не могло быть примирения, но он не чувствовал желания в нем участвовать, не знал даже с уверенностью, к которой стороне он принадлежал. Это было странно, но в этой войне трудно и даже невозможно было определить — кто был истинный друг? Стоя на пригорке у черемуховых кустов, сплошь опаленных инеем, Подберезкин смотрел на исчезающие в лесу танки и ловил себя на том, что внимание его занимал, пожалуй, не гул боя, не разрывы снарядов, а скорее неутомимый, неизменный звон синицы, шедший из-под кустов, — о чем она там пела и хлопотала?

— Подберезкин! — услышал он вдруг голос фон Эльзенберга. — Еду на передовые. Хотите, поедем вместе? Но сначала наденьте шубу.

Наскоро накинув казенную шубу, корнет сел рядом с фон Эльзенбергом в автомобиль, и они тронулись, со скрипом давя снег, по направлению к лесу, куда ушли и танки. Это была дорога на Ленинград, лежавший всего лишь в тридцати-сорока верстах отсюда, и Подберезкина охватило волнение.

— Город скоро видно будет? — обратился он на пути к фон Эльзенбергу после долгого молчания.

— Что? — переспросил тот, не понимая. — Какой город? А, Ленинград. Конечно. Сразу же из-за леса будет видно.

Гул боя был в лесу еще сильнее, часто вздрагивала земля, с елей рушился снег, и где-то в стороне с треском валились деревья; фон Эльзенберг, не отрывая рук от руля, косился по направлению звуков. Между мраморно-синими стволами берез мелькали отдельные танки, но вблизи их не было, и снаряды здесь не ложились. Из лесу выехали неожиданно, разом очутясь на опушке. Фон Эльзенберг дотронулся рукой до Подберезкина, показав головой налево: автомобиль шел по пригорку, внизу расстилалось огромное белое пространство; сильно изрытый снег искрился, походил на застывшее море, и на нем копошились, как мухи, черные тела. С левой стороны, с пригорка спускалась на долину вереница немецких танков, первые машины были уже на поле, а с другой стороны им навстречу ползли группы других танков, часть из них лежала, дымясь неподвижно на снегу, метались отдельные люди. Из лесу по тому, дальнему, краю поля била немецкая легкая артиллерия. Всё это Подберезкин охватил сразу, почти одним взглядом, но внимание его приковала не картина битвы. Вдали, раскинувшись на огромных пространствах, лежал Петербург! Клубясь, теснились над ним облака, с востока небо стало заводить, и черная тень, как плащ, опускалась на город. Но пока еще сияло в нем солнце, блестели шпицы, крыши домов, искрилась снежная Нева, в трепете Подберезкин разглядел вдали в дыму купол Исаакия, Петропавловскую крепость, Зимний дворец, мосты, и дальше — Казанский собор!.. Больше двадцати лет тому назад, приближаясь с белой армией, последний раз он видел этот город, где прошла почти вся юность, гимназия, началось студенчество, — разве можно было думать, представить тогда,

что в следующий раз он увидит его вот так, в автомобиле, сидя рядом с немецким офицером, через два десятка лет! Невероятно!.. Сколько раз он проходил по тому мосту у Зимнего Дворца и дальше по великолепному Невскому, — какая совершенно иная жизнь текла тогда и люди были совершенно иные в сущности! Воспоминания возникали в нем, тесня одно другое, и ничто не принимало формы, ничто не вставало ясно; заливал душу один радостный и горестный поток; и всего сильнее было не то недоумение, не то жалость, не то неверие: да уж было ли на самом деле то время? Ходил ли он, действительно, когда-то там в студенческой шинели, в фуражке с голубым сукном, был ли тот Невский с лихачами, с блестящими мундирами, с великолепными магазинами и дворцами, — та Северная Пальмира, столица Российской Империи!.. Или же приснилось ему всё из какой-то иной жизни — это не было невероятно. Он так забылся, так ушел в себя, что не слышал больше ни боя орудий, ни пулеметов, строчивших в поле, ни скрипа снега под автомобилем, и очнулся лишь, когда фон Эльзенберг круто повернул машину; рядом оглушительно лег, разрезая воздух, снаряд; чернобелая пыль кинулась вверх и встала на миг, как куст; Подберезкин вспомнил почему-то о библейской куще. На той и на другой стороне лежали, курясь, черные груды, но немецких танков становилось явно больше, и всё-таки с той стороны непрестанно били, стреляли просто со снегу, из-за дымящихся руин; туда ложились теперь уже и снаряды немецкой артиллерии, и на поле вставали всё время черно-белые кущи.

— Чортовы дети! — услышал он, как во сне, голос фон Эльзенберга: — каждого поодиночке нужно брать! Пока есть патроны — не сдается. Выкопал себе яму в снегу и лежит. Zum Teufel! Ведь ясно, что нужно сдаваться...

Они подъехали ближе и, холодея сердцем и чуть закусывая губы, Подберезкин впервые после двадцати

лет увидел вновь мертвые тела на снегу — распластанные руки и ноги, обгорелую рвань, разбросанную вокруг, вновь ощутил то недоверчивое жуткое чувство: действительно ли это были еще недавно живые люди? Ужаснее всего было видеть обожженные тела, вывалившиеся из развороченных танков, с черными обугленными лицами. Как страшна и мучительна должна была быть их смерть в аду машин; даже на небо, на мир Божий они не могли, вероятно, бросить последнего предсмертного взгляда!.. Со снегу, из-за дымящихся машин, всё еще били из пулеметов, раздавались отдельные винтовочные выстрелы, иногда кувыркались, взлетали ручные гранаты, но реже и реже. Да, они бились до последнего патрона! За что же они бились? За ту новую жизнь, что им дали, которую, по его мнению, жизнью вообще нельзя было назвать. Или же защищали они вон тот город, эти пространства за ним, всю Русскую землю?.. Следя за движениями немецких танков, Подберезкин увидел вдруг, что со снегу стали вскакивать отдельные фигуры; подымая руки, они бежали машинам навстречу. Сначала их было двое или трое, потом число сразу увеличилось, бежали они кучей... И, цепенея от ужаса, он увидел дальше, как несколько танков приостановились и, развернувшись по направлению к бегущим, открыли пулеметный огонь. Бегущие стали падать, один за другим, остальные остановились, заметались по сторонам, бросились на снег.

— Что они делают, что они делают! — закричал Подберезкин. — Что же они бьют, ведь те сдаются, руки подняли!

— Слишком поздно! — отозвался жестко фон Эльзенберг. — Schon zu spät. Die Wut ist zu gross!

VI

В тот же день привели первых пленных. Взяли всего свыше роты, окружив в лесу, но массу или побили на месте, как во время боя на поле, или отправили сразу дальше в лагеря; для допроса оставили человек десять наиболее подозрительных, как сказал Корнеманн. У большинства были чисто русские крестьянские лица, и при виде их так и вспомнились солдаты старой русской армии; впрочем было в них и что-то новое; были они серее, низкорослее, отличалась и их форма от прежней. Как у пленных всех наций и армий, у приведенных был уже покорный и тупой вид; некоторые стояли без шапок, без ремней, и это придавало им вид глубоко не солдатский. Немецкие солдаты погоняли пленных, прикрикивая и и подталкивая; сопровождал их русский переводчик из штаба полка, тоже очевидно из эмигрантов. Было ему, однако, не больше тридцати лет. «Он не мог быть белым офицером», — подумал Подберезкин, — почему-то неприязненно смотря на холеное, упитанное и красивое лицо переводчика с холодными голубыми глазами. Звали его граф Шеллер, приехал он из Франции, как узнал позднее Подберезкин, сразу же, в начале войны, поступив там в немецкую армию добровольцем.

— Очень гад! — говорил переводчик Подберезкину, сильно картавя. — Очень гад познакомиться и — вообще — что вы приехали. Предпочитаю быть на фронте, чем допгашивать этих гадов. — Он указал на пленных. — У меня уже гуки устали их гасстреливать. Гасправляйтесь теперь вы сами.

Приложив руку под козырек и взяв под руку Корне-

манна, он стал с ним шептаться, указывая движением головы на пленных; лицо его скосила странная плотоядная улыбка. Посмотрев на пленных, Подберезкин разглядел, что среди них была женщина, одетая в офицерскую шинель, с крастнокрестной повязкой на рукаве; красный крест был и на ее фуражке.

Пленных отвели и заперли в пустой избе, крышу которой своротило снарядом. Корнеманн распорядился сразу же вызвать на допрос троих: женщину, молодого высокого лейтенанта, раненого в руку, и рослого рыжего парня без гимнастерки, в шинели прямо на белье, и без фуражки. Парень смотрел угрюмо, держался несколько особняком, пленные его, повидимому, стеснялись, — так показалось Подберезкину. Как узнал он позднее, парень этот подбил несколько танков ручными гранатами, взяли его, ударив прикладом сзади, когда он поднес руку с револьвером к виску. Женщина с красным крестом оказалась врачом, хотя было ей на вид не больше двадцати пяти лет. Во время боя она появилась вдруг на поле и перевязывала раненых — и русских и немцев; когда к ней подбежали немецкие солдаты, она сидела над умиравшим офицером Красной армии: тот что-то еще говорил ей, и немецкий унтер-офицер доложил потом, будто бы она вынула из сумки умиравшего какую-то бумагу или бумаги и разорвала в клочки. Третьего — лейтенанта — взяли на допрос, ибо он был единственным офицером среди пленных. С самого начала поразила Подберезкина его тонкая, высокая фигура, посадка головы, продолговатое красивое лицо и манера глядеть, чуть прищуривая глаза. На первый раз Подберезкина просили только присутствовать при допросе и отнюдь не показывать вида, что он знает по-русски. Это ему было почему-то неприятно.

Допрос вел Корнеманн. Первой вызвали женщину. Пришла она уже без шинели, в юбке и защитной военной гимнастерке с высоким воротником, под которой очень

туго стояла грудь, вошла с некоторым стеснением, чуть опустив голову; темные ее волосы были расчесаны посередине надвое и сзади сплетены жгутами. Войдя, пленная остановилась почти у самого порога, не зная, что делать дальше, и, подняв серые глаза, вопросительно повела взглядом по присутствующим. Во всем лице ее, в серых, нетронутых глазах, в смуглой коже и сочетании ее с темными волосами, и в чуть приподнятом носе, — было столько первобытной прелести, чего-то совсем невиданного в Европе, что у Подберезкина перехватило дыхание. Чем-то походила она на гимназистку старых годов, на его сестру, на ее подруг; вчера — как будто — он гулял с ней по Петербургу, читал ей Блока. Мешала только ее одежда.

— Имя, чин, звание в Красной армии? — спросил резко Корнеманн, обращаясь больше к переводчику. Тот перевел.

— Наталья Петровна Есипцева. Врач, — ответила вошедшая низким голосом, почему-то вспыхивая.

— Замужем?

— Нет. — Она покачала головой.

— Каким образом вы очутились на поле действия?

— Как врач, по долгу службы.

— Вам было приказано идти на место боя?

— Нет, я сама подошла, не заметив.

— Вы коммунистка?

— Нет, беспартийная.

— Вас взяли в плен, когда вы уничтожали бумаги, — что это были за бумаги?

— Содержание их мне неизвестно. Я сделала это по просьбе умирающего офицера.

— Он был коммунист? Вы его знали?

— Я его видела в первый раз.

— Но вы должны были знать содержание этих бумаг! Он вам должен был сказать.

Есипцева покачала медленно головой, уйдя куда-то

взглядом. — Нет, он мне ничего не сказал, — ответила она, как бы очнувшись.

— Лжешь! — закричал вдруг, весь багровея, переводчик. — Ты должна знать, что это были за бумаги.

Пленная вздрогнула, побледнела, нахмурила лоб. Посмотрев на переводчика, ответила ясно и тихо:

— Я не лгу.

— Ты коммунистка, шпионка! Мы тебя расстреляем! — закричал Корнеманн, выхватывая револьвер. Ich kenne diese Faxen!..

Подберезкин дернулся невольно вперед и увидел, что пленная заметила его движение, но, прежде чем он успел как-либо вмешаться, она ответила вдруг по-немецки, с трудом, но правильно выговаривая слова:

— Ich bin nicht Spionin. Ich bin Ärztin.

— Вон! — закричал Корнеманн. — Raus!

Девушка повернулась, вспыхнув, и пошла к двери. Корнеманн поднял руку и выстрелил вслед уходящей, целясь, впрочем, явно выше. Уходившая пошатнулась, схватилась руками за уши и остановилась, вся дрожа. Пуля пролетела над ее головой и вошла в косяк двери.

— Как вам не стыдно! — сказала пленная, всё еще продолжая стоять.

— Raus! — закричал Корнеманн, опять подымая руку.

Не торопясь, пленная вышла. Когда закрылась дверь, Корнеманн улыбнулся, лицо его совершенно изменилось и, обращаясь больше к Подберезкину, он заговорил:

— Вы не удивляйтесь. Это — война. Невозможно все время быть в белых перчатках. И потом, кто знает, — в этой стране всё возможно. Иногда я теряюсь здесь, ничего не понимаю. Aber die Dame hat Haltung — was? Und hübsch ist sie dazu!

И Подберезкин знал из времен гражданской войны, что нельзя быть всё время в белых перчатках, но сцена

произошла всё-таки омерзительная; досаднее всего было, что он сам в ней участвовал. Он чувствовал, что им овладевает едва удержимая ненависть к Корнеманну, хотелось встать и ударить его кулаком, и злоба брала на себя, что оставался мирно сидеть, притворяясь спокойным. К его удивлению, с пленным офицером Корнеманн обошелся ровно. Молодой раненый лейтенант, повидимому, происходил, как показывала его фамилия, из старой княжеской русской семьи. Рука его была теперь перевязана, но, видно, он потерял много крови, ибо поражал бледностью лица, глаза нездорово блестели, черные курчавые волосы спадали на лоб. У него очевидно был жар. Шеллер тотчас же начал расспрашивать пленного о происхождении — из настоящих ли, где родители, как может служить в Красной армии, почему не перешел сразу на немецкую сторону? Допрашивал он свысока, грассируя и растягивая слова, и Подберезкин видел, что в пленном он вызывал недоумение, а может быть и презрение. Лейтенант отвечал тихо, но ясно, что раньше семья его считалась княжеской, — так он слыхал, по крайней мере; сам же себя никаким князем не признает, а в Красную армию призван и считает необходимым честно биться по присяге. Говорил он это всё без всякой злобы и аффекта, повидимому, так и думая, и слова его, и все поведение наполняли Подберезкина отчасти какой-то смутной радостью, что тот так достойно держался, а вместе и горечью, ибо был этот пленный совершенно новый человек, для которого старая Россия мало что говорила. Впрочем, может быть, он еще и ошибался. Корнеманн выслушал молча все показания, поставил какой-то значок на бумаге и приказал лейтенанту выйти.

— Très étrange, — заговорил Шеллер, — происходит из одной из самых старых семей России и — совершеннейший коммунист. Une chose tout á fait incempremensible et ridicule!..

— Почему вы так думаете, граф? — вмешался

Подберезкин. — Пленный отнюдь не утверждал, что он коммунист?

— Comment? — переспросил Шеллер, щуря глаза. — Mais oui, il se gardera bien de ca, — продолжал он попрежнему по-французски, — разумеется, он не скажет, что он коммунист.

В это время ввели третьего пленного — рыжего рослого парня с рыжими же глазами. Парень смотрел исподлобья, беспокойно бегал взглядом, но страха в нем не чувствовалось, скорее вызов. Уже с первого взгляда Подберезкин узнал в нем знакомый по гражданской войне тип тупого и непоколебимого коммуниста, для которого ничего другого на свете не существовало, кроме двух-трех яростно коммунистических фраз, даже не понятых. Был он с какого-то завода, но чем там занимался, установить было трудно; парень отвечал односложно; в армии имел, по его словам, чин сержанта.

— А где же твой мундир, что ж мундир сбросил и в чужой шинели остался, да и без отличий? — спрашивал Шеллер.

— Скинул на маршу на руку, весь промокший был. Ан и потерял, остался в одной шинелке, — отвечал нагло парень, бегая глазами от Шеллера к Корнеманну и останавливаясь ими только на мгновение в пространстве

— А где ж твои бумаги?

— А в мундире и остались.

— Ловкий тип! — бросил Шеллер Корнеманну и дико закричал, как и при допросе Есипцевой: — Ты лжешь! Ты — комиссар, большевик, вот ты кто! Мы знаем.

— А знаешь — чего спрашиваешь? — заявил парень с неожиданной злобой, — бери, стреляй, чего пытаешь? Ничего я тебе не скажу, белогаду, фашисту! И чего пришел, кто звал? Землю захотел обратно? Кончено ваше дело! Не видать вам ни земли, ни фабрик ваших... —

кричал он полубессвязно, видимо наслаждаясь своим порывом.

Корнеманн сделал знак, и пленного увели. Уходя, он еще прокричал с порога: «Наша земля — советская. Разобьем вас, белогадов, в лепешку! — вызывая в Подберезкине волну злобы.

— Допросить еще раз, подготовив материал, — приказал Корнеманн Шеллеру. — И если ничего не скажет, — расстрелять!

К вечеру Подберезкин, скрепя сердце, пошел в избу пленных, по поручению Корнеманна. Приказали ему выяснить, каковы взгляды пленных, установить, есть ли среди них коммунисты и евреи, вообще «пощупать», — по выражению Корнеманна. Сначала корнет хотел отказаться с негодованием — он не шпион, не лягавая собака! — но, подумав, подчинился: поступая сюда переводчиком, он должен был знать, на что идет: сказав «а», нужно было говорить и «б»! «Предавать-то я всё равно никого не стану, — подумал он, идя к пленным, — да и смешно — разве они что-нибудь ему скажут!»

В избе было, к его удивлению, натоплено! Большинство пленных лежало на соломе на полу, скатав шинели под головами. Посередине избы под потолком тускло горела керосиновая лампа с широким абажуром, вроде китайской шляпы. Около стола, в красном углу, сидело трое без гимнастерок в одних рубахах. Ни женщины-врача, ни раненого лейтенанта, ни рыжего парня в избе не было видно; позднее корнет узнал, что парня заперли отдельно, а раненого и Есипцеву поместили в маленькой горнице рядом.

— Добрый вечер! — поздоровался Подберезкин входя. Некоторые из лежавших на полу подняли головы, но ответил только один голос — кто-то из сидевших за столом:

— Доброго здоровьичка! — Голос был теноровый, ласковый и удивительно знакомый по выражению.

Подберезкин подошел к столу в некотором смущении, не зная, в сущности, как себя держать. Выросши в деревне, он когда-то умел и любил говорить с мужиками, с «народом», как выражались раньше, но прошло с тех пор столько лет — стена встала между той и новой Россией. Пленные смотрели на него вопросительно, некоторые приподнялись на локтях.

— Лежите, лежите! — Он махнул им рукой и, к своему собственному удивлению, протянул руку поочередно всем сидевшим за столом. Те привстали и неловко, поспешно, подали ему руки. Было ясно, что пленные должны были его опасаться — видели утром с немцами, был он в немецком мундире — и, вероятно, недоумевали. кто он такой был? Глупо было подавать им руку: он заметил не то недоверие, не то недоумение на лицах у сидевших.

— Прошу меня не опасаться, пришел я к вам не выпытывать что-нибудь, а просто поговорить, — начал он.

— А чего нам опасаться? — отвечал тенорок, — наше дело солдатское, подневольное. Говорившему было лет тридцать пять, был он рус, с голубыми глазами, сидел в одной розовой рубахе, расстегнув ворот, лицо его не выражало ни боязни, ни уныния — скорее довольство Два другие были помоложе. Показалось ему, что трое о чем-то спорили до его прихода. Он думал, что его спросят: кто он, русский ли, немец ли, но те молчали, смотрели вопросительно.

— Откуда вы все, земляки? — спросил Подберезкин, не зная, с чего начать.

— Все с разных краев! — закричал, почему-то радостно и весело, всё тот же русый солдат. — Васька вот с Тамбова будет, Миколай тот с-под Тулы, слесарь тульский, а я — звать меня Никита Калинкин — тверской, теперь калининский. — Как есть выходит: Калинкин-калининский. — Он засмеялся. — Но не знаю, как

теперь порешат, может быть, попрежнему тверскими будем прозываться. И подхватил снова: — Все разные мы, а вот всё едино — все в один кузов.

Он помолчал, посмотрел на Подберезкина, а потом, лукаво сощурив один глаза, спросил:

— Ребята пытают меня: скажи да скажи, Никита, что с нами зараз будет? Стращали нас, что повесят, мол — не сдавайтесь. Я и говорю: как есть повесят, задом кверху.

— Ты не скаль зубов-то! — прервал его один из сидевших, тот, которого Калинкин назвал Миколаем, — черноволосый, красивый парень с тонким носом и тонкими губами. — Повесят и всё, рыжего-то уж, полагаю, повесили.

— А то, браток, особая статья, — рыжий-то. А мы с тобой кто — солдат, стрелок, серая пешка. За что ж нас вешать? Вот господин или товарищ, — не знаю, как вас назвать, у нас всех товарищами зовут, — может, пояснит.

— Разумеется, — за что же вас вешать! — ответил Подберезкин медленно и тут же вспомнил лагери русских военнопленных, которые ему довелось видеть в Германии; вспомнил тысячи русских смертей от голода, от морозу, от тифа, от побоев; вспомнил ужас, который сам он пережил при виде их, и невольно замолчал. Как можно было им лгать? Могли их и повесить, и расстрелять, и уморить голодом, только за то, что они русские, «низшая раса», как те говорили; в этом ведь Корнеманн и ему подобные видели свою «миссию на Востоке». Всё это быстро прошло через его сознание, но всё-таки таилась еще надежда, что он заблуждался, и потому поспешно он вновь заговорил:

— Разумеется, не повесят — за что же вас вешать.

— А вешают нонче, браток, за то, что ты человеком родился. А то сам стал бы вешать, — отозвался вдруг тамбовский парень, всё время сидевший молча.

Подберезкин заметил, что многие из лежавших на полу смотрели на него, явно прислушиваясь к разговору, и ему хотелось найти ту душевную ноту, что всегда он умел находить раньше, разговаривая с крестьянами или солдатами своей роты, но теперь ничего не выходило. Было два верных способа для разговора с народом: один — тот, которым говорил его отец, — как высший с низшим, как имеющий право приказывать; мужики уважали и слушались, обычно, таких людей; другой тот, которым говорила его мать, — как равная с равными; мужики, обычно, не слушались ее, но любили и охотно прибегали к ней за помощью. Третий же тон — которым он теперь сам говорил — был тон подлаживания к мужикам; они это сразу замечали и не уважали говорившего так с ними и не любили. Подберезкин это всё сам подметил и знал давно, еще с детства, но применить теперь свое знание на деле как-то не умел. Все они были для него уже не те, что прежде, что-то отличало их от того народа и того времени. Видно, выросли в России совсем иные люди. А может быть и сам он переменился, стал чужой для них. Нельзя, говорят, унести родины с пылью башмаков.

На полу зашевелились, и Подберезкин увидел, что подымался высокий бородатый солдат лет сорока пяти.

— А, апостол встает! — полунасмешливо, полублагосклонно воскликнул слесарь, — ничего, иди, иди, побрехай.

— Брешет собачья пасть, да советская власть, — ответил резко поднявшийся и, несмотря на парня, обратился прямо к Подберезкину: — А ты кто будешь — русский аль немец?

— Русский, — ответил Подберезкин и добавил· — белый, слыхал, может быть.

— Белый, красный — всё одно, все русские, — ответил убежденно «апостол», поражая всё больше Подберезкина своим необыкновенным видом: синие огромные глаза его впивались пронзительно, горя каким-то внут-

ренним тайным огнем, отпущенные волосы, всклокоченные от лежания стояли венцом; в нем действительно было что-то библейское.

— Была правда у вас, белых. И будет ваша правда. — Он поднял палец и говорил, каркая: — Всякое растение, что не Отец мой небесный посадил, истребится. Истребится!.. Так сказано и так будет. Аминь — провозгласил он торжественно. Несколько человек захохотало. Апостол посмотрел на них строго и, повернувшись снова к Подберезкину, продолжал:

— Сказано: истребится. И жди. А сейчас ступай. Понапрасну пришли. Землю разорять. Сейчас Конь бледный. Которому имя смерть. Дана ему власть мертвить мечом, и голодом, и мором. Но не оборет! Сказано: «И вот конь *белый* и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему был венец и вышел он... — мужик говорил, торжественно растягивая слова: — и вышел он как *победитель,* — слышь! — *победоносный* и чтобы победить... Слышь! А потому ступай домой. Не разоряй землю... Как ведут сейчас слепые... Слепые, вожди слепых...».

Он посмотрел вокруг воспаленным взглядом и лег на свое место. Никто не смеялся. А когда великан улегся, Калинкин сказал тихо:

— Ума маленько решился... А в роте складно сказки сказывал и песни пел. — И помолчав добавил: — Таперь ума решиться — совсем плевое дело. Я и то себе дивлюсь, как рассудку не потерял. Совсем в мире радости не стало.

— Чего захотел — радости! А кто за тебя работать будет. Сознательность надо иметь. Народу в стране пользу приносить, — отозвался тульский слесарь.

Он продолжал говорить трафаретными словами газет, и Подберезкин смотрел на него внимательно: это был, вероятно, новый тип человека, созданный революцией и, видимо, очень распространенный в России. Впрочем и на западе всё больше и больше разводилось людей

этого склада. Скука, штамп, общественное животное!.. Все они походили друг на друга, действительно, как две капли воды, говорили одинаковыми словами, причем заранее можно было знать, о чем и как они будут рассуждать. Может быть, Маркс был прав всё-таки, и бытие определяло сознание. Мир массового технического производства порождал, во всяком случае, и массового стандартизированного человека...

— А я так думаю, — продолжал задумчиво Калинкин, — что одна работа — грех, не для работы одной рожден человек. На то и солнце на небе, чтоб ему радоваться. А какая тут радость, коли от работы надвое переламываешься и солнца не видишь ни капельки. При работе-то и душу забудешь, а душа, она — главное

— Где ты ее видел — душу-то?

— А я мир чую душой-то, вот что. Без души я мира-то не учуял бы. И вот я так думаю, что человек для радости рожден. Надо так жить и трудиться, как бы, скажем, для праздника. Раньше это люди, должно, понимали, праздники блюли. И такая светлость в миру была утром, помню, проснешься, мальчонкой еще, звон кругом, колокола поют, радуются, солнышко играет, оденешь чистую рубаху, в церковь сходишь, на клиросе попоешь... А дома, вернешься, мамаша избу прибрала, пирогов напекла — одно слово: праздник На то, думаю, и жизнь вся дана — праздником жить, ими и труд поднимать. А теперь всё едино — один трудодень.

Он, видимо, не мог вполне высказать, что хотел, и старался помочь себе даже руками. Лицо его просветлело.

— Аль, помню, о Петров день праздник. Деревня наша на угоре стоит. Под угором речка. А за речкой луг, весь цветет, как шелк, светится, лучится. На Петров день девки на луг выйдут, в полушалках, как цветы зацветут: до вечеру поют, пляшут, парни на гармошке играют — сердце радостью обливается. Глаз-то разго-

нишь, остановить негде: одна светлость кругом! А вдалеке лес синеет, ровно дымок бежит. Ай хорошо было о Петров день! Той светлости теперь нету, и песен тех не поют, что прежде. Красивые песни прежде пели.

— Ну, опять пошел старину величать, — прервал тульский парень, — а ты патефон имел раньше? а радио имел? а велосипед имел? А я имею.

— А на что мне твой патефон. Один крик у тебя в патефоне.

Подберезкин слушал их разговоры, как бывало, в детстве разговоры мужиков, работавших у них на усадьбе, чувствуя, что попрежнему между ним и ими была разница: принадлежали они к двум мирам. Революция ничего не изменила в этом отношении, хотя Калинкин был ему теперь, может быть, даже ближе и понятнее, чем тульскому рабочему, но всё-таки между ними двумя не было такой разницы, как между ним и ими. А светлости стало в мире мало, в этом он был прав. Раньше мир был несомненно светлее. Эту светлость он смутно ощущал у белых, в белом движении. Они несли ее, хотя, может быть, и затемнили. И потому, казалось, они должны были бы победить в конце концов. «И придет конь белый, победоносный, и дано ему победить», — вспомнил он слова «апостола». До сих пор побеждали, однако, не они. Те, с которыми пришел он теперь в Россию, и которые пока, видимо, побеждали, — они, корнет чувствовал это, тоже не были «белыми», в них тоже не было «светлости».

— А как, господин, — спросил вдруг Калинкин, — немцы землю-то отымут аль мужику отдадут — работай, мол, страдай, добывай сам хлеб. И сам ты хозяин, как прежде, — вот бы хорошо!

Подберезкин пожал плечами, вспомнив слова Корнеманна о «миссии немцев на Востоке», и ответил уклончиво:

— Надо земли держаться, не выпускать из рук.

— А по мне всё едино! — закричал вдруг тульский парень. — Нехай. Я слесарь, я работу везде найду. Мне всё едино, чья возьмет. Лишь бы живым остаться.

— Нет, то не так: чья земля, парень, того и хлеб, — возразил Калинкин. — Но я так думаю: не сгинет мужик русский совсем со свету. Крепко в землю врос. А не сгинет мужик русский, не сгинет и Россия. Жалко, господин, России-то, — вдруг обратился он к Подберезкину, — а? до чего жалко — была и нету.

VII

Через неделю пленных отправили дальше в тыл. Повели солдаты СС и, провожая глазами это понурое, рваное, серое стадо, Подберезкин подумал, что все они обреченные: в лагерях военнопленных держали впроголодь, били смертным боем: чем больше погибнет, тем лучше. Пришло в голову также, что и он ведь русский и мог бы оказаться на их месте. «Не сгинет русский мужик», — говорил Калинкин: как знать, трудно не сгинуть — от большевиков да от немцев. Из всей партии ему удалось отстоять Есипцеву, женщину-врача, и раненого лейтенанта. Первое время надо было ожидать, что тот умрет; началось заражение крови, лежал он в полубреду. Подберезкину показалось, что и сам Корнеманн почему-то заинтересован в оставлении Есипцевой, и это было ему неприятно, хотя чувства своего он никак не мог бы обосновать.

— Нам нужно врача, — объявил Корнеманн, — если она окажется разумной, может оставаться, работать при нашей части. Мы с женщинами не воюем.

Это было, разумеется, в высшей степени благородно, но почему-то вместе с тем и неприятно Подберезкину. Раненый всё время лежал в той же избе, там же помещалась и Есипцева, ходившая за ним. Первое время ставили часового, но потом убрали на честное слово. Оба эти пленные привлекали Подберезкина: оба были молоды, выросли уже в послереволюционной России и принадлежали к новым людям Как только он освобождался от работы при штабе, состоявшей обычно из переводов на русский язык глупых прокламаций и листовок для

Красной армии — «До чего бездарны немцы в политике!» — думал он с горечью при этом, — он тотчас же шел в избу к Есипцевой. Сначала та чуждалась его, держалась угрюмо, настороже, едва отвечала и никогда не заговаривала первая, но скоро привыкла и сразу совсем переменилась; вдруг начала звать его прямо «Подберезкин», а себя велела называть Наташей, поражая корнета этой непосредственностью. Неожиданно лейтенанту стало лучше, он пошел явно на поправку и тоже стал принимать участие в переговорах. Корнет боялся, что между ними не будет ничего общего, и первое время, действительно, оба казались ему совсем чуждыми: были у них и странный язык и странные манеры на его взгляд, в особенности у Есипцевой; у Алеши — так звали молодого лейтенанта — всё-таки чувствовалось воспитание, влияние семьи — и в речи, в особенности в ударениях на словах, и в манере держаться, — во всем облике. Наташа же показалась ему сначала плохо воспитанной, даже вульгарной — она слишком громко смеялась, здороваясь, по-мужски протягивала руку, знакомясь, называла свою фамилию, говорила упрощенным языком, употребляя слова вроде «ладно, чорт», невозможные раньше в устах хотя бы его сестры, и даже совершенно дикие для него, чисто советские выражения, как «на кой», «на большой палец», правда сама явно смеясь при этом и лукаво глядя на него Постепенно он перестал это замечать, и с тех пор они, разом как-то, стали ближе друг к другу, и Наташа вдруг сказала:

— А вы совсем не такой старый, как я вначале думала, — и посмотрела на него исподлобья, лукаво сияя глазами. И тут он опять увидел, как совершенна она была. эта высокая грудь, проступавшая сквозь все одежды, упругое, как жгут, тело, всё танцующее во время движения, эта полнота крови в лице, тяжелые полные волосы, — всё было полно силы, сока!

Постепенно привыкая к обоим, Подберезкин видел

все-таки, что были они, на самом деле, совсем иные, чем он, люди. То, что для него было всего дороже в России, для чего он ходил не раз в бой, ради чего и теперь без содрогания и сомнения умер бы, — всё это, повидимому, им ничего не говорило. Блеск и мощь империи, царский дом, александровские усадьбы с колоннами, старые московские переулки с особнячками и церквушками, старинные вековые монастыри, прелесть русских святок и русской пасхи, церковные службы в Кремле, русские прежние песни, — словом вся та, былая Русь не вызывала в них ни отклика, ни боли, что она ушла. Они были русскими, но, казалось, в такой же степени могли быть и американцами; европейцами, пожалуй, менее. Лейтенант был до войны студентом-геологом. По мере того как он поправлялся, он стал больше говорить, рассказывать о своих планах, и видно было, что не судьба России, не тревога за нее занимали его — чувство, повидимому, совсем не знакомое ему, — а его экспедиция на Памир, в Сибирь, на дальний север, то, загадочное для Подберезкина, «строительство», о котором писали в советских газетах. Наташа присаживалась к изголовью и тоже вступала в разговор: и она рассказывала и мечтала об организации каких-то «медпунктов» в Сибири, в Туркестане, и казалось, что для обоих всё это и составляло жизнь. Они никогда не говорили о Боге, о философии, и скоро Подберезкин убедился, что вопросы эти совсем их не занимали, не существовали, повидимому, для них. Всегда он носил с собой Евангелие, подаренное еще матерью перед гражданской войной, и как-то раз дал его Алексею и Наташе. Алексей взял книгу в руки, пробежал глазами по двум-трем местам, перелистал страницы, почитал еще и отложил в сторону; а Наташа, вернув Евангелие через несколько дней, сказала:

— Совсем я не понимаю этого автора.

И в то же время было в них что-то первобытно чистое, он бы сказал: христианское, чего совсем не наблю-

далось в европейской молодежи, а что именно — он определить не мог. Может быть, была то их простота в обращении друг с другом — совсем чужие, они вели себя, как брат и сестра, — и в обращении к нему, и к жителям деревни, с которыми Наташа моментально сошлась и заговорила своим языком, и доброта ее, и нестяжательность: свой паек она отдавала чуть не полностью пленным.

Были ли они, всё-таки, русскими и любили ли они Россию? — часто недоумевал он, глядя на них, и не мог ясно ответить. Несомненно они любили эту российскую землю, эту огромную страну и гордились, что к ней принадлежали; и пленом, и успехами немцев были удручены, не сомневаясь впрочем в русской победе; — но прошлое России — без чего ведь нельзя по-настоящему любить родину, — прошлое великой Русской Империи, оно оставляло их совершенно равнодушными. С трепетом корнет пускал на грамофоне «Боже царя храни», «Преображенский марш», «Коль славен», — для обоих эти звуки явно ничего не говорили; лишь о Преображенском марше, который корнет слушал, весь замирая, закусывая до крови губы, так воплощал он ему былую Россию, Алексей отозвался одобрительно. Поразительнее всего при этом было то, что семья Алексея и родня его тяжко пострадали от революции; всё было отобрано, разбито, разрушены вековые семейные гнезда, близкие родственники расстреляны, как он сам рассказывал; отец и мать и теперь находились где-то в ссылке в Сибири, — и, тем не менее, всем существом своим он тянулся к этой новой стране и считал себя обязанным биться за нее.

— Но они же осквернили Россию, если уже не убили ее, сделали посмешищем и пугалом для всего мира, грозным зверем, которого боятся и чуждаются. Они, наконец, беспрестанно мучали вашу семью, ваших близких, они уничтожили всё ваше прошлое! Неужели вы всё это

им прощаете, князь? — раздраженно начал как-то корнет и остановился: Алексей буквально корчился от смеха.

— Подберезкин сказал «князь» совершенно машинально, по привычке: в Европе, несмотря на все социализмы и рабочие партии, титулы охотно признавали и, при каждом удобном случае, употребляли, и потому поведение Алеши было ему сначала неприятным.

— Что с вами, чему вы так радуетесь? — спросил Подберезкин сердито.

— Как вы назвали меня: «князь»?! Ха-ха-ха! Вот чудак! Никогда не называйте меня князем, — заговорил Алеша серьезно. — Не хочу всего этого. Я хочу быть таким же, как все у нас. И я такой же!.. Достаточно и так муки приняли. И по заслугам!.. Тоже, князь, — ни кола, ни двора. Все одинаковы. Все — те же люди: рот, глаза, нос — что кровь разве краснее или гуще?

Знал он или не знал, что род его известен уже тысячелетие, столько же, сколько и Россия, что предки его, вероятно, сидели за столом еще с Владимиром Святым, что ходили они и против половцев и против татар, обороняя русскую землю, собирали по куску Русь после Батыева разгрома, сидели спокон веков в царской думе в Москве и сами метили в цари, что водили полки и против шведов, и поляков, и тевтонов, и двунадесять язык и что действительно имели право называться князьями российскими в отличие от какого-нибудь «михрюткина», который только разрушал в семнадцатом году эту, созданную князьями Россию. Неуважение к прошлому являлось первым признаком варварства... И было вообще непонятно, что «князья» должны были почему-то уступать, что серое, грубое, деклассированное побеждало в мире и все соглашались и мирились с этим. И неужели же этому нельзя было положить конец?.. Ведь чисто теоретически даже, могли победить и другие? И даже должны были бы победить, если бы хотели этого, по-настоящему хотели, как те...

Раненый постепенно поправлялся, благодаря уходу Наташи. Он сильно осунулся, побледнел и когда, вставая, вытягивался во весь свой огромный рост, то казался бестелесным. Опавшее лицо его стало еще тоньше, благороднее, поражало породой. У фон Эльзенберга Подберезкин взял как-то альманах фон Гота и, просматривая русские семьи, внесенные туда, наткнулся на фамилию Алеши и, к удивлению своему, увидел, что и Алеша сам был туда вписан. Впрочем удивительного тут ничего не было: в Париже жили родственники Алеши, известные по всей эмиграции своим чванством и снобизмом; очевидно это они внесли всю семью в Готский Альманах. Ca pose! — корнет рассмеялся. Но бедные родственники в Советской России — что бы они сказали! Едва он показал фон Эльзенбергу и Корнеманну на это место в Альманахе фон Гота, как оба явно изменились по отношению к лейтенанту: к великой досаде того стали звать его «Fürst», угощали папиросами и вином, фон Эльзенберг пригласил его гостить в свое имение.

На фронте было затишье, в штабе мало работы, и оба офицера часто приходили в избу к раненому, впрочем, как Подберезкин скоро заметил, не только из сочувствия к Алексею. Приходили они как раз в то время, когда Наташа была свободна, и оба подолгу болтали с ней, смеялись, угощали шоколадом и папиросами, и по выражению их лиц и глаз, Подберезкин видел, что Наташа им обоим нравилась. К своему удивлению, он почувствовал, что это его раздосадовало. Но еще неприятнее было видеть, что и Наташа сама оживлялась при гостях; лицо ее становилось более полным жизни, громче звучал смех и голос, выше стояла грудь, — она явно кокетничала. «Уже забыла, как он кричал и стрелял первый раз!» — подумал корнет с досадой; впрочем Корнеманн извинился позднее перед нею: война, приходится быть грубым. Но что ему в сущности, что она кокетничала: молода, в порядке вещей — и всё-таки было неприятно. А

когда Наташа, говоря с другими, вдруг останавливалась на нем взглядом — она смотрела при этом всегда как-то особенно, чуть-чуть наклонив голову, лукаво-испытующе, — он весь загорался радостью и тревогой. «Да не влюблен ли уж я?» — спрашивал он себя недоуменно, почти испуганно.

Через месяц раненый совсем выздоровел. Держать его при части становилось невозможным. Почти каждый день фон Эльзенберг и Корнеманн приходили к нему и при помощи Подберезкина, ибо Алексей плохо говорил по-немецки, старались убедить поступить добровольцем в немецкую армию, но тот не поддавался на уговоры.

— Тогда мы его отправим в лагерь, — объявил в конце концов Корнеманн, поджимая губы и меняя тон, — переведите ему.

Но переводить было ненужно, ибо Алексей и сам понял и поклонился в ответ одной головой, скривив губы.

— Вы сумасшедший. Вы погибнете там. Ведь вы же не коммунист. Что же вы сопротивляетесь? — убеждал фон Эльзенберг.

— Я не коммунист, но я русский и солдат советской армии. И я не изменник присяге, — упорно отвечал Алексей.

Подберезкину казалось, что тот был прав и не прав: сам он не знал, как поступил бы на его месте. Больше влияния имел на Алексея Паульхен, который стал приходить к нему последние дни. К Корнеманну и Эльзенбергу лейтенант питал явную неприязнь, а с Паульхеном, по-видимому, сошелся — часто слышно было, как оба громко гоготали. И Подберезкин сам испытывал к Паульхену склонность, хотя едва знал его: удерживала от сближения крайняя молодость Паульхена — был он моложе лет, вероятно, на пятнадцать. Но и Паульхену не удалось переубедить лейтенанта. В конце концов его взяли в тыл,

в лагерь. Прощаясь, он обнял и поцеловал Есипцеву так же обнял и поцеловал Подберезкина, как младший брат, и корнет, волнуясь, почувствовал, что вопреки всему, невзирая ни на что, оба они были близки друг другу; а связывала их Россия.

VIII

Оставшись одна, Наташа явно затосковала, говорила, что она предательница — поступила на службу к немцам, а Алексей вот отказался.

— Какая же вы предательница? — убеждал Подберезкин. — Вас же не спрашивали, а просто назначили сюда как врача. Вы же военнопленная и не можете не подчиниться.

Она смотрела на него вопросительно, ничего не отвечая, а он, неожиданно для себя, вдруг взял ее руку и поцеловал.

— Я так рад, что вы здесь.

— Правда? — спросила она, чуть краснея.

Февраль был уже на исходе, и с середины месяца стояли сильные морозы, на фронте всё замерзло. Даже разведки с советской стороны, тревожившие раньше немцев, прекратились. Земля стояла объятая седым туманом, как космами седых волос. Немецкие солдаты ходили, наглухо окутав головы, обмотав тряпьем ноги, часовые на постах обмораживали пальцы, обмерзали до смерти; в тыл уходили целые эшелоны с больными и обмороженными. За двадцать лет Европы Подберезкин совсем отвык от таких морозов, и первое время мерз не меньше немцев; потом, как-то незаметно, обтерпелся и стал даже наслаждаться этой великолепной русской, настоящей зимой. Как ни в чем не бывало, играли весь день на улице дети в ушастых шапках, в ватных зипунках, похожие на медвежат; шмыгали бабы, обмотанные до пояса шерстяными платками, проходил одинокий мужик, в валенках, в полушубке, схваченном кушаком, с совершенно белой

от инея бородой. Это была русская деревня, жизнь, что он помнил с детства и столько лет не видел более!.. На конце деревни ребята устроили ледяную горку, утоптали колею, полили водой, обсадили с боков вешками и все дни шумно катались на салазках; уносило далеко на луг. Сначала катались только подростки, да забегали иногда девки постарше, схватывали салазки и с поддельно-испуганным визгом, подбирая юбки, катились с горы, сваливались внизу кучей на снег, подымая веером белую пыль, и надолго заходились хохотом. Наверх подымались сплошь обсыпанные снегом, с лоснящимися щеками, с выбившимися из-под платков волосами. Немцы, на первых порах только смотрели, дивясь на катанье, потом солдаты помоложе стали подходить, брали у ребят санки или подсаживались к ним сзади.

Медицинский пункт, где работала Наташа, находился на конце деревни, близко от ледяной горки. Подберезкин иногда заходил туда к концу дня, провожал Наташу обратно до ее избы. Каждый раз, когда они проходили мимо горки, ребята кричали:

— Наталья Павловна, идите к нам, с горки кататься!

Он смотрел на нее: Наталья Павловна?.. В меховой шапке с ушами, в коротком бараньем полушубке, узко перехваченном в талии ремнем, она сама выглядела совсем не взрослой, почти девчонкой. Счастливо, по-детски звенел голос, озорные глаза словно рассыпали веселье; губы, всё лицо ее ежеминутно расходились в улыбке. И раз, проходя мимо горки, зараженная визгом и смехом ребят, она схватила Подберезкина за руку и сказала быстро:

— Пойдемте, скатимся раз! Хотите?

И, не дожидаясь ответа, бросилась к горке, увлекая его; он следовал, чуть улыбаясь.

— Сюда, сюда, Наталья Павловна! Со мной! — кричали ей со всех сторон.

— Нет, я сама. Кто даст мне санки?

— Я, я — вот, вот! — ребята кинулись к ней кучей.

Выбрав санки побольше, она села впереди и, указав на место за собой, сказала Подберезкину:

— Ну, садитесь же, скатите меня, или вы не умеете? Боитесь?

Улыбнувшись, он сел сзади и тотчас же припомнил, как бывало катался с гор, и легко, оттолкнувшись ногой, направил сани на ледяную колею. Они помчались вниз, разрезая тугой, острый воздух под легкий свист полозьев, мимо вешек по бокам, и Подберезкин, чуть замирая сердцем, видел всё время перед собой ее выбившиеся из-под шапки черные локоны, полоску шеи, покрасневшее ухо. Когда они уже скатились с горки и сани бежали по лугу, Наташа откинулась назад, посмотрела на него, улыбнулась весело, сверкая глазами и зубами совсем рядом с его лицом, сказала: «Чудно!», и, сам не зная, как это произошло, он вдруг приблизился еще более к ней, увидел совсем близко от себя рассыпающие свет глаза, сверкающие зубы — и поцеловал ее в холодные, раскрытые губы. Она ответила и, откинув голову, взглянула на него, несколько задержавшись взглядом, и вновь засмеялась. Сани остановились. Быстро вскочив на ноги, Наташа побежала назад, ничего не сказав. Взяв санки за ремешок, он пошел следом к горке, смотря на легко двигающуюся фигуру впереди, и то, что она ничего не сказала ему и ни разу не обернулась, наполнило его тревогой и даже болью. Лишь на самом верху она оглянулась коротко назад. Уйдет одна или дождется? — старался он разгадать. Она дождалась наверху. Когда они шли домой, стало уже смеркаться. Лицо Наташи выступало неясно, она молчала, и он был этому отчасти рад. Уже у самого дома она вдруг сказала, повертываясь и улыбаясь вдаль куда-то:

— Ах, как я любила когда-то с гор кататься! Боже мой!.. А вы?

— Я тоже, — ответил он машинально. Было ему неприятно, что она сказала такие обыкновенные слова, совсем не в связи с происшедшим; для нее, казалось, ничего не произошло.

В избе Наташа быстро стянула рукавицы, развязала и сняла шапку, кинув на лавку, и тряхнула головой так, что волосы рассыпались на плечи, и, когда он помог ей снять шубку, вдруг закружилась по комнате, сначала одна, потом схватила его за руки и повлекла за собой, громко смеясь.

— Расшевелитесь же, какой вы тихоня — кричала она и не успела договорить: потянув за руки, он привлек ее к себе и стал целовать, отгибая ее голову, и она отвечала ему, иногда откидываясь назад и смотря на него затуманенными медузьими глазами и стуча жадно зубами.

А потом неожиданно назвала его вдруг по имени: «Андрей, Андрю-ша!» — и опять закружилась по комнате.

IX

Последующие дни были полны для Подберезкина напряжения, радостного непокоя. Пытаясь определить свое чувство к Наташе, и ее к нему, он всё больше и больше терялся и недоумевал. По тому, как она целовала, как жадно и опытно отвечала на его поцелуи, по множеству других признаков, он понял, что она была не новичок в любви. Но это его не удивляло и не огорчало. Удивляло, что назавтра после того дня с катаньем Наташа держала себя, как ни в чем не бывало, как будто между ними ничего не произошло, и, видимо, действительно не придавала этим страстным объятиям никакого значения. Это его задевало. В деревне лежало теперь много немецких раненых, и вместе с немецким врачом Наташа работала до поздней ночи. Подберезкин редко ее видел. Но, оставаясь с ним наедине, она иногда — он никогда не делал первого шага — подходила вдруг к нему, устало клала голову ему на грудь или на плечо, устало подчинялась его поцелуям, пока не пробуждалась сама, — и тогда страстно, всем телом, отвечала.

— Вы любите меня? — допытывался он. — Скажите?

Но она ничего не отвечала, только странно, словно застыв, смотрела на него. Лишь один раз сказала:

— Вы какой-то особенный. Совсем не похожи на тех, кого я знала? Как из старой книжки...

И корнет не знал, была ли то похвала или насмешка? Он чувствовал, что Наташа с легкостью стала бы принадлежать ему окончательно, как только он захотел

бы этого, что это для нее, вероятно, не много значило бы, и, потому, озлобляясь, не шел дальше.

По субботам и по воскресеньям Корнеманн устраивал у себя вечера; приходили фон Эльзенберг, иногда Паульхен, двое-трое молодых офицеров и несколько немецких девиц, служивших при отделе связи, — в серых юбках, в лодочках на головах, неимоверно развязных и вульгарных; последнее время Корнеманн стал приглашать и Наташу и потому — как думал Подберезкин, в сущности без всякого основания к тому, — также и его самого. Обычно на этих вечерах стояла зеленая тоска, много пили и говорили банальности, танцевали под грамофон и открыто целовали девиц; потому ему было неприятно, что Наташа туда ходила. К удивлению Подберезкина, она много пила, но совсем не пьянела и, видимо, ничего необычного в питье не видела; охотно танцевала с офицерами, и Корнеманн и в особенности фон Эльзенберг, явно за ней ухаживали, тесно привлекая ее к себе во время танцев, близко приближаясь лицом к ее лицу, заглядывая в глаза, и она их не отстраняла. Всё это приводило его в недоумение и сердило. Если бы она сама не отвечала немецким офицерам, он знал бы, как вести себя по отношению к Корнеманну и Эльзенбергу, но Наташа явно ничего не имела против их ухаживания. Они же хотят уничтожить Россию, истребить русский народ — делал он ей в уме упреки, забывая, что сам добровольно служил «им», а Наташа была пленная. И в конце концов — не всё ли было ему равно, как она себя вела: встреча их только эпизод; не сегодня-завтра разойдутся разными дорогами, чтобы никогда не встречаться; но всё существо его протестовало против этого, как будто они были уже навсегда связаны.

В конце февраля вдруг потеплело, и немцы открыли действия. Как всегда, после первого боя пригнали много пленных, почти половину ранеными, с окровавленными обожженными лицами, в лохмотьях вместо шинелей и

мундиров. Тащили раненых сами пленные, сложив руки наперекрест; подвод давно не было. Войдя в деревню, колонна остановилась, раненых опустили на снег; часть лежала в забытьи, другие стонали: тотчас же сбежались дети и бабы, сомкнулись в полукруге, причитая и охая. Но вскорости появился Корнеманн и, разогнав баб, стал совещаться с начальником конвоя — белобрысым унтер-офицером с толстыми губами. Разговор они вели вполголоса, но Подберезкин, пришедший вместе, услышал, что Корнеманн приказал расстрелять тяжело раненых, а равно, в случае нужды, и отстающих по дороге. Приказ в отношении раненых должен был быть выполнен к вечеру. Корнет хотел вмешаться, протестовать, но Корнеманн сам обратился к нему и сказал, кивнув головой на пленных, смотревших на него испытующе-испуганным взглядом:

— Скажите им, что раненые останутся здесь, отсюда их возьмут в госпиталь.

— Но это же неправда, обер-лейтенант. Я слышал ваши слова. Вы их собираетесь расстрелять, — вы не имеете права.

— Herr Sonderführer, — сказал тихо Корнеманн, побелев: — переведите, что вам приказывают, и не вмешивайтесь не в свои дела. Иначе я предам вас военно-полевому суду... Куда я их дену? — закричал он вдруг. — У меня нет лазарета, нет места и медикаментов даже для своих. — И повернувшись пошел, бросив еще раз унтер-офицеру:

— Ich habe die Anweisung gegeben.

— Zu Befehl, Herr Oberleutnant! закричал тот, выворачивая глаза, и тотчас же при помощи солдат отогнал здоровых от раненых и отвел, подталкивая прикладом, в сторону. Раненые остались лежать на снегу. Зная, что одному ему Корнеманна не переубедить, Подберезкин пошел к Паульхену, надеясь на его помощь. Когда он нашел того и, объяснив, в чем дело, привлек к месту,

около раненых уже была Наташа в сопровождении двух помогавших ей санитаров, тоже из пленных красноармейцев; на носилках переносили раненых в избу.

— Вы слышали о приказе Корнеманна? — он велел их расстрелять, — спросил Подберезкин подходя.

— Он отменил свой приказ. Раненые останутся здесь до перевязки, — объявила Наташа, и глаза ее радостно и как будто вызывающе засияли. Поклонившись, Подберезкин пошел дальше вместе с Паульхеном. Может быть, она была всё-таки права, кокетничая с ними, — пришло ему в голову, но от этого не стало легче.

Вечером Подберезкин пошел к Наташе. Обе горницы были заняты ранеными, они лежали на лавках, на полу, на печи, Наташа сидела в изголовьи человека со сплошь забинтованной головой. Видны были только один налитый кровью глаз и вздувшиеся пузырчатые губы. Сквозь бинты проступала гнойная кровь. Подберезкин заметил этого раненого еще на снегу; тогда голова его была обмотана грязными гнойными тряпками, он корчился и стонал. Сейчас он лежал тихо, только из горла его исходило иногда клокотанье. В руке Наташа держала шприц, рядом лежали ножницы, обрывки бинтов, вата. И невольно Подберезкина охватило благоговейное чувство, какое он всегда испытывал к врачам во время их работы; эти люди чем-то отличались от всех других, были выше; он часто жалел, что не стал врачом.

— Что с ним? — спросил он тихо, указывая на раненого.

— Вся голова обожжена, — ответила Наташа так же тихо, — успел-таки выскочить из горящего танка, как рассказывают другие. Боюсь за зрение.

— Вы молодец и герой, Наташа.

Та посмотрела на него, положила руку ему на плечо:

— Почему же герой? Я только делаю свое дело и люблю его больше всего на свете.

Ранеными были заняты сегодня обе половины избы,

даже тот угол, где помещалась аптечка и спала Наташа; там на полу лежал солдат с перевязанной ногой без сапога. Наташа и Подберезкин сидели на кровати, тихо разговаривая.

Позднее на пункт неожиданно появился Корнеманн. Он курил сигару и от него чуть пахло вином.

— Очень рад вас видеть, господин переводчик, — начал он сухо. — Завтра вы должны явиться в распоряжение господина фон Рамсдорфа. Утром в семь часов.

— Слушаю, — коротко отвечал Подберезкин.

— Вы в вашей собственной стихии, — обратился Корнеманн к Наташе, указывая на лежащих. — Но у вас переполнено. Где же вы будете спать? Я прикажу приготовить вам постель в избе, где мы стоим. Там есть свободное помещение. Я иду и сделаю это, — он положил руку на талию Наташи.

— Не трудитесь, обер-лейтенант, — сухо ответила она, освобождаясь, — я останусь с ранеными.

— Долго я не могу их здесь держать! — резко сказал Корнеманн, направляясь к двери. — Один-два дня, самое большее. — Он приложил рук к козырьку и вышел, скривив губы.

— Отвратительный тип! — вырвалось у Подберезкина.

Наташа посмотрела на него с улыбкой:

— Ах, нет! Просто самовлюбленный ловелас. Если бы все были такие, я бралась бы справиться. Все вы дети в общем, — неожиданно заключила она к досаде Подберезкина: этими словами она как-то сравнивала его с Корнеманном.

В передней избе застонали, и Наташа пошла туда. Корнет направился вслед за ней. Склоняясь над раненым, она дала ему пить, приподымая одной рукой бритую серую голову; зубы лежащего стучали, ударяясь о стакан, а глаза покорно и преданно, по-песьи смотрели на Наташу. И Подберезкин смотрел на нее — на эту женскую

тонкую фигуру в белом, склонившуюся над раненым, на голову в косынке с красным крестом, с девически нежным профилем, на отдельные локоны, выбившиеся из-за уха, на уверенно и быстро двигающиеся пальцы — в ней всё чудесно соединялось: и мать, и сестра, и — увы! больше всего для него — желанная женщина. Было как-то недостойно предаваться этому чувству к ней здесь, сегодня, и он стал прощаться.

— Уже? — спросила она удивленно, — посидите, куда же вы? — И в голосе, и в глазах ее он уловил настоящее сожаление; она хотела, чтобы он остался. Но ему хотелось быть одному, хотелось думать о ней. И, сказав что-то в свое извинение, он вышел наружу. Позднее часто с неутолимой тоской вспоминал он об этой минуте, обо всем этом вечере, — почему он не остался? Может быть, всё пошло бы иначе?

X

На следующее утро, когда корнет появился у фон Рамсдорфа — Паульхена, — было еще совсем темно, но тот был уже готов. К своему удивлению, Подберезкин увидел, что офицер забирал почти все вещи — снимались они совсем с этого места? На дворе ждали запряженные сани, вез хозяин избы, где стоял Рамсдорф, суетившийся с фонарем вокруг. Подберезкин успел сбегать за своими вещами; проходя мимо избы Наташи, он посмотрел на темные окна — было невозможно зайти проститься; она еще, конечно, не встала. Вероятно, они ехали всё-таки не надолго. Рамсдорф ничего не знал: направляли их пока в штаб полка в соседнюю деревню.

Ехали они в розвальнях, лежа на сене под половичками. Мужик примостился впереди. Сначала Подберезкин заснул, а когда проснулся, то первое, что ему бросилось в глаза, была эта зазябшая фигура мужика, приткнувшаяся бочком в передке саней. Одет он — как все русские возницы всех времен: в серый армяк, опоясанный кушаком, в залатанные валенки, на голове серая барашковая папаха старого солдатского образца — верно служил когда-то в царской армии. Сам он худ, бесцветная бороденка всклокочена, как сено; видно, что перепуган на-смерть жизнью — за всю дорогу не проронил ни слова, только озирался по сторонам, вздыхая, да иногда подстегивал возжей. Ехали они полем. Нигде не было видно жилья; кругом — одна белая мгла, поле слилось с небом. Метет, крутит поземка, забрасывая лицо ослепящей пылью, вдруг настигает сбоку ветер, широко обмахивая, как огромным крылом. Фон Рамсдорф закрыл

полостью ноги, поднял высокий меховой воротник и лежит неподвижно на сене. Для него всё это чужой и дикий мир: и эти сани, и замерзший мужик в армяке впереди, и эта поземка, и белая стена кругом, молчание и безлюдье и одинокие вешки по бокам. А у Подберезкина при виде всего этого всё время что-то обмирало внутри: именно такая была Россия — скудная и великая! «Всю тебя наш Царь Небесный исходил благословляя!..». Исходил ли!.. Действительно ли уж был русский народ таким христианским, Богоносцем? Не были ли все эти речи только самолюбованием, самооправданием для лени российской, для рабской покорности?.. Вспомнил он недавнее богослужение в саду, на морозе под открытым небом, молодых девок, страстно певших стихири, крещение детей, «апостола» и Калинкина, а с другой стороны — Алексея и Наташу, и не слыхавших об этом «авторе», чуждавшихся молитвы, действительно, как чорт ладана. Одни жаждали, тянулись, другие же совсем не нуждались, повидимому. Где же была правда? Где была истинная Россия?.. И те и другие были хорошие, настоящие люди. Как знать?.. Но было на самом деле что-то особое в русском человеке; он чувствовал это всегда, хотя определить не мог: смирение ли, незлобие ли, тяга ли к правде какой-то неизменной, нечто, во всяком случае, совершенно отличавшее его от европейца. Но зато были и Разин, и Пугачев, и большевики, и Чека, и поношение и осквернение церквей, и обращение народа в рабство, а всей страны — в какое-то чудище, грозное, но всё-таки чудище, при упоминании о котором опасливо пожимают плечами, и оскорбление всего старого и святого. «Замело тебя снегом, Россия!» — вспомнилось вдруг. Да, метет пурга, самум над Россией уже четверть века! Точно вчера это было, как двадцать лет тому назад он шел в атаку против красных по такому же белому полю, бежал под остро секущим снегом, под крик воронья, с винтовкой наперевес, навстречу врагу. И сегодня было словно продолже-

ние того дня. Он оглянулся. Косо, вразброд, подталкиваемое ветром, взлетает с резким карканьем воронье, несется дикая стая, падая вниз и вновь взлетая, широко разбрасывая крылья; нестройный, пронзительный крик раздирает воздух. Поле кончилось, дорога завела в лес. Понуро стоят на опушке ели, опустив, как мрежи, ветви, отяжелевшие под снегом; а дальше лес выбит, сбиты снарядами вершины, расщеплены стволы, светлеют прогалины, изрыта земля. Между небом и землей всё заволокла молочная мгла; острый, мелкий, как пепел, сыплется на землю снег...

Подберезкин опять задремал, ощущая лишь скрип передка саней, да тихую поступь лошади, иногда холодное биение копыта об другое.

Деревня, куда они ехали, лежала внизу в долине; Подберезкин очнулся, когда они уже спускались с горки. Рамсдорф всё спал. Поразила Подберезкина при въезде пустота и тишина деревни — ни населения, ни солдат. По всей улице валяются обугленные, черно-масленистые балки, доски, грязная желто-обгорелая пакля и рвань; вместо отдельных домов, зияли ямы пепелищ под снегом. Бой происходил здесь, видно, уже давно. Возница, по всей вероятности, езжал сюда с подводой раньше, ибо проехал, не останавливаясь, прямо к дому с немецкой надписью на деревянной доске. Корнет разбудил Паульхена, и они вошли в избу. Внутри вонюче пахло застоялым табачным дымом, словно жило здесь и курило долгое время много людей, на стене висел большой портрет Гитлера в фуражке, с ремнем через плечо — Подберезкин даже усмехнулся от неожиданности; были и иконы. Навстречу вышел из-за печки старик, седой, с огромным лысым лбом, высокий и тощий, в одной рубахе, подпоясанный тесемкой, в синих портках, забранных в валенки: за ним выскочил мальчишка лет семи с бойкими глазами и совершенно льняными волосами.

— Здравствуй, дед, — начал Подберезкин.

— Бог послал, — отвечал тот, внимательно смотря на обоих.

— Где тут, дед, начальство стоит немецкое?

Дед помолчал некоторое время, смотрел испытующе.

— Стояли тут у нас, слов нет, части воинские почитай две недели, а второй день, как уже никого не осталось.

— А где же они все?

— Ушли.

— Куда?

— Того не скажу. Не наше дело.

— А в Петушково, дедушка. В Петушково ушли. Я слыхал, как говорили, — закричал мальчишка.

— Цыц, тебе говорю! — рассердился дед. — Слыхал малец — говорили, должно, меж собой наши постояльцы. А куда ушли, не ведаю.

Обойдя ряд домов, Подберезкин убедился, что стоявшая здесь раньше часть, к которой они прикомандировывались, действительно за день до того ушла вперед к фронту, уведя всех лошадей. Сообщив об этом Паульхену, он ждал, чуть волнуясь, решения: отправятся ли они обратно (в этом случае он увидел бы скоро Наташу!) или пойдут вперед?.. Паульхен нахмурился при известии, подумал мгновение и тотчас же решил ехать дальше.

— Очень сожалею, но я должен забрать лошадь. — Он указал на мужика. — Сам он может идти обратно, если хочет. Я его не задерживаю...

Скрепя сердце, Подберезкин перевел, ожидая, что мужик станет умолять, просить, — было бы бесполезно; но тот только переступил с ноги на ногу, что-то переменилось в его глазах на мгновение, вызывая в Подберезкине пронзительную жалость, взял в руки шапку, поклонился и вышел из избы. В окно было видно, как он постоял у лошади, потрогал сбрую, узду, обошел кругом, взял из саней кнут и отправился куда-то по деревне, тихо, но не оглядываясь. «Вот кто больше всего страдал эти двад-

цать пять лет от войн и революции, — русский мужик», — подумал Подберезкин, — впрочем сам себя революцией наказавший.

Рамсдорф велел поставить самовар. Он пытался объясниться по-русски: «Du postoj, голюпчик», — постоянно останавливал он старика, накрывавшего на стол, спрашивая то того, то другого и повергал его в испуганное недоумение своей русской речью. Собой Паульхен был, повидимому, очень доволен, но понимал его не старик, а больше мальчишка, как только немец переходил на немецкую речь. На вопрос: «Имейте карова и малако?» — старик горестно и даже укоризненно покачал головой, а через некоторое время заявил:

— Меду, ежели угодно, могу принести. Всё, что осталось.

Но Паульхен слово мед не знал и потому опять стал просить, обращаясь к Подберезкину: «Пожалуста, голюпчик, спрашивайт über малако».

— Мед, ты говоришь? Чудно, неси меду, — сказал Подберезкин, не отзываясь на слова Рамсдорфа.

Старик принес стакан густого желто-янтарного гречишного меду, к неистовой радости Паульхена. Поставив стакан на стол, старик сел и медленно взглянул на Подберезкина глубоко сидящими, по-старчески белыми глазами; в них было недоумение и тоска.

— Вчерась, — объявил он, — солдаты ваши пчельник мне разорили. Ай грех, грех, зачем пчелок обиждать! Ты обиждай людей, коли виноваты, а пчелки чем провинились?

И всё время он сидел понурый, не говоря ничего, только иногда опять начинал: «Ай, грех, грех, пчелок-то зачем обиждать! Полвека с пчелками прожил, на старости один остался».

Мальчик испуганно смотрел на деда. И Подберезкину казалось, что старик разрушение пчельника вряд ли перенесет...

— Россия есть — как большая Kinderstube, — сказал Паульхен, узнав о горе старика. — Все русские есть как дети. Ушасно мило — nicht wahr? Я всегда думаю о моя Kinderstube и моя мать. Я всегда имею один письмо к моя мать, hier unter der Futterung. Слушайте, Подберезкин, когда я умираю, тогда откройте и посылайте письмо к моя мать.

Подберезкин кивнул машинально головой.

— Не надо быть пешальный, — продолжал Паульхен, обращаясь к деду. — Немецкий народ не есть злой. Он хочет помочь народу русский. Русский — хороший народ, aber schwach, kein Wille. Wie sagt man das? Не надо скушать о пчелка, надо новый иметь. Немецкий солдат имел приказ. Befehl von der Obrigkeiten. Он должен слушаться.

Как они легко всё это принимали — все немцы, весь этот народ! Приказ есть — значит, надо выполнять. Всё ясно и просто. Думает и отвечает власть. «И ведь он не глуп, — подумал он, глядя на Паульхена, — наоборот, скорее даже умен, во всяком случае, тонок и симпатизирует России. Сказал даже раз невозможную для немца вещь. Мы сейчас захватим у вас некоторые области, — sicherlich, bitter für Sie, — но зато мы освободим вас от большевиков, а потерянные области — вы их когда-нибудь у нас отберете, совершенно в этом уверен. Такова же вся история... — И тем не менее даже Паульхен был временами невыносим, в особенности с его типично немецкой философией о послушании властям. И Иисуса Христа приказали ведь распять власти!

Едва они кончили пить чай, как на улице зашумел автомобиль; выглянув в окно, Подберезкин увидел, что приехали Корнеманн, фон Эльзенберг и еще два офицера — все в шубах с огромными меховыми воротниками. Автомобиль — колеса, кузов, стекла — всё было обтянуто колючим снежным покровом. Корнеманн вышел из автомобиля и вбежал в избу.

— Что тут такое происходит? Was bedeutet diese Idill? — спросил он, недружелюбно смотря на Подберезкина.

Узнав, что части, стоявшие здесь, продвинулись вперед, он сделал выговор Рамсдорфу за остановку и приказал немедленно ехать дальше:

— Вы беспечны, господин лейтенант, не забывайте, что вы во вражеской стране и что в три часа дня будет уже темно. А теперь полдень. Auf und weiter!

Тотчас же автомобиль тронулся дальше, издавая пронзительно шипящий свист из-под колес.

До Петушкова было, по словам деда, около двадцати пяти верст. На самом деле нужно было спешить, чтобы поспеть до темноты: лошадь была старая, заморенная. Когда они уже сели в сани и Подберезкин взял в руки возжи, мужик-возница появился неожиданно и, ни слова не говоря, уселся в передке к великому изумлению Паульхена.

— Я же его отпустил, но если он хочет... — заявил он и, натянув полость на ноги и подняв воротник, опять завалился на сено. Лег и Подберезкин, но спать не мог. Ехали они через поля по умятой танками дороге, которую стало уже заметать; направо и налево возникали столбы с немецкими надписями на перекладинах, действовавшие здесь как-то особенно нелепо и невероятно; ехали через совершенно искрошенные боями молодые перелески, через старые боры с огромными вывороченными елями, с расщепленными надвое соснами, с чудовищными воронками. Лес был уныло гол, безжизненно тих и прозрачен. На редких березах всё еще висели отдельные пожухлые, багрово-красные листы, застыв в воздухе. А с земли иногда взлетал с сухим шорохом снег, неслись мимо сморщенные желтые листья. Еще деревни не было видно, как Подберезкин услышал дальний гул боя. Били из крупных орудий, где-то очень далеко.

— Сколько осталось до Петушкова? — спросил он возницу.

— Верст 7, а може и 10, — отвечал тот не сразу.

— Значит это не в Петушкове бьют?

Мужик ничего не ответил, только вздохнул. Чем дальше они ехали, тем сильнее становились взрывы, сотрясавшие воздух и землю. Паульхен приподнимал голову, прислушивался, взглядывал на корнета и опять ложился. Дорога сделала поворот, и гул стрельбы совсем приблизился. Подберезкин стал различать выстрелы немецких танков и ответы русских. Каждый раз, когда вдали, на той стороне, глухо раздавался выстрел, он прислушивался, напряженно ожидая приближения снаряда; скоро с расширяющимся гулом, как набегающий ветер, обрушивался где-то за лесом снаряд и рвал гулко воздух. Лошадь вздрагивала, поводила ушами, крестился мужик. Ложились снаряды, впрочем, сравнительно далеко, хотя в воздухе пахло уже горелым порохом, дымом. Лес помельчал, перешел в кустарник, сбоку побежали изгороди, первые поля.

— Петушковские... — сказал мужик и добавил вдруг горестно — Господи!

Оглянувшись — лежали они в розвальнях головами к лошади — корнет увидел черные кучи дыма, волнующиеся на горизонте, как море. Горело во многих местах: совсем далеко стоял прямой длинный столб голубого дыма, налево небо было палевого цвета от невидимого пожара, а прямо, ближе, ярко пылали дома деревни, вздымался косматый дым, широко метало красные искры. Это было Петушково. Люди суетились около горящих домов, таскали рухлядь к лесу; с другой стороны уходили вереницы немецких солдат, перегибаясь под грузом спинных мешков; тянулись бесчисленные подводы со скарбом, и на них и рядом были бабы и мужики: истошно гудя, прорывались автомобили. В воздухе явственно

строчил пулемет. Мужик неожиданно стегнул лошадь и стал поворачивать обратно. Паульхен вдруг вскочил.

— Halt! Куда? — закричал он не своим голосом, хватая возницу за руку. — Vorwärts! Перед!

Лошадь быстро побежала по дороге к деревне, и тут же, повизгивая, стали налетать сбоку пули. Стараясь теснее прижаться к сену, Подберезкин лежал на санях, а потом разом сел, сердясь на себя: трус он, что ли, в самом деле?.. И вспомнил слова князя Андрея Болконского из «Войны и мира», своего любимого героя: «Я не могу бояться». Он тоже не мог бояться, в особенности на глазах Паульхена, хотя, разумеется, и глупо было бы умереть так, ни за что ни про что, от русской пули. Но куда же уходили немцы? Оставляли они, что ли, деревню? В таком случае — куда же они сами теперь еще ехали? Прямо в плен? — вдруг осознал он с жутью. Нет, в плен к большевикам он не мог, не смел, ни за что не должен был попасть!.. Он нащупал револьвер. В крайнем случае, если судьба, — это всегда оставалось... Едва они въехали в деревню, как, застилая весь свет, перед глазами, точно чудовищная птица, разом налетело что-то огромное, ухнуло, оглушая, разрывая уши, и Подберезкин почувствовал, что его подымает в воздух. выносит куда-то в сторону, обдавая дымом и огнем... «Господи, благослови! — сказал он, крестясь: очевидно, конец». Но уже через секунду стало тихо, и первое, что он увидел, была их лошадь, мчавшаяся обратно к лесу: за нею странно, на одной оглобле, волочились сани, а сзади, смешно припрыгивая, размахивая руками, бежал без шапки их возница-мужик.

— Zum Donnerwetter! — сказали сбоку, и он увидел Паульхена, подымавшегося со снегу, — походил он на белого медведя. Очки упали с его носа, и близоруко и беспомощно он смотрел вокруг своими добрыми белесыми глазами. Близко пылала изба, метались с криком и воплем бабы, кидались в огонь, закрывая лицо руками, что-

то тащили, и тогда еще громче голосили дети. Дома горели и дальше, но никто их не тушил. По улице бегали беспорядочно немецкие солдаты; и тут же корнет увидел Корнеманна и фон Эльзенберга — автомобиль их застрял в снегу. Впереди, загораживая дорогу, завяз чудовищный полуразбитый грузовик. Увидев Рамсдорфа, Корнеманн закричал:

— Надо уходить немедля, деревня оставляется! Русские обходят с запада. По старой дороге невозможно отступать. Идем на восток.

Мимо мрачно уходили солдаты, не обращая внимания на застрявший автомобиль.

— Halt! — закричал Корнеманн, — что вы, ослепли? Помогите вытащить!

Но солдаты проходили поспешно дальше, как будто не слыша, некоторые оглядывались назад. «Катюшь, Катюшь!»—кричал кто-то испуганно, и оглянувшись, Подберезкин увидел, что из дальнего леса выползли черные жуки, за ними, перебегая, падая, появились солдаты.

— Стой! — кричал Корнеманн — Zum Teufel! Я расстреляю вас! — Но никто не обращал внимания на его крики — все бежали дальше. «Если немецкий солдат бежит, его не остановит ничто», — вспомнил он слова участников великой войны. Однако автомобиль мог пригодиться...

— Эй, бабы, подходи, машину надо освободить! — закричал Подберезкин.

Подошло несколько баб с черными от сажи лицами, несколько подростков, помогли оттащить грузовик, освобождая проезд. Бросив короткий взгляд на опушку леса, Корнеманн поспешно полез за руль. Рядом с ним сел фон Эльзенберг.

— Садитесь! — закричал Корнеманн. — Скорее! Чего же вы ждете!

Он дал газ. Два молодых офицера, приехавших с ним, втиснулись поспешно в кузов.

— Еще один войдет. Рамсдорф, was warten Sie denn... Поторопитесь! — закричал Корнеманн.

Паульхен подошел ближе и заявил тихо, но так, что Подберезкин слышал: «Если вы не возьмете его, я останусь тоже и прострелю вам шину. Это неприлично — ваше поведение».

— Но что же вы хотите — у меня нет места.

— Эльзенберг, выйдите. Я больше вас ростом, я сяду вместе с Корнеманном и возьму вас на колени. Подберезкин войдет сзади.

Тронулись они в полной тишине и, необстрелянные, достигли опушки леса. Автомобиль шел с трудом, колеса провертывались на гладкой колее, Корнеманн, не переставая, ругался. Первое время они всё же обгоняли солдат, сани, заставляя их сворачивать с дороги, и ушли значительно вперед. А когда въехали в лес, сразу стало безлюдно и почти мгновенно темно. Еще час или два они пытались продвигаться вперед самым медленным ходом, освещая перед собою дорогу, останавливаясь в недоумении на перекрестках — как дальше ехать? Не было никаких указаний. «Наверняка попадем в плен», — подумал Подберезкин, живым не сдамся!». И как бы в ответ на его сомнения, Корнеманн выключил мотор и с проклятием полез наружу:

— Не имеет смысла дальше ехать. Чорт знает, куда мы заедем, и бензин весь через десять минут.

Вытянув револьвер, он вдруг прострелил две шины, а потом, словно спохватившись, спросил: «У кого-нибудь есть ручная граната?». И, вывинтив что-то из мотора, так как гранат ни у кого не оказалось, и отойдя немного назад, он несколько раз подряд выстрелил в мотор автомобиля.

Идти нужно было на восток. Большевики обходили с запада. Если деревню, где они стояли, возьмут, соображал Подберезкин, то он никогда больше не увидит Наташу. Но в это почему-то еще не верилось. Шли гусь-

ком в темноте, впереди всех — Корнеманн; перед тем он торжественно объявил, что, как старший в чине, поведет он, и предложил следовать за ним. Подберезкин замыкал шествие. По бокам стоял стеной темный сплошной лес, над ним глухо легла мгла, лишь сзади, всё дальше и дальше, ало переливало, пылало небо в зареве пожаров, разрывался глухо воздух от боя. А они шли и шли, сбиваясь по временам с дороги, падали и проваливались в снегу. У Подберезкина до того было напряжено внимание, что ему казалось, будто он слышал тишину леса. В темноте, в сизой мгле вдруг явственно возникали очертания притаившейся человеческой фигуры, и рука хваталась за револьвер; проходили мимо — то были кусты. Шли всё время молча, только два молодых офицера иногда переговаривались тихо между собой, да Корнеманн, обманутый тенями, останавливался разом и крачал в темноту:

— Halt! Кто такой? Стреляю! — Никто не отвечал ему.

По расчетам давно они должны были выйти в деревню, а всё еще не прекращался лес, шли они, очевидно, неверно. Воздух стал сереть, проступали очертания деревьев, наступало утро. Подберезкин шел, машинально передвигая отяжелевшие ноги, хотелось пить и есть — не ели целые сутки. Вдруг вспоминался какой-нибудь случай из эмигрантской жизни, казавшейся теперь столь далекой и столь привлекательной, вставало чье-нибудь дорогое лицо, переходившее всегда в Наташу; он пытался не думать о ней, но из этого ничего не выходило. Шел он теперь вторым за Корнеманном, все другие отстали, тащились на расстоянии. «А у него есть выдержка!» — подумал он, глядя на Корнеманна. Стало уже заметно светлее. И тут Подберезкин увидел сбоку узкую, плотно утоптанную тропинку. Близко где-то должно было быть жилье: по тропинке явно часто ходили.

— Я бы пошел по этой тропинке, — сказал он Кор-

неманну. Тот остановился, нахмурил лицо, посмотрел на корнета.

— Вы думаете? Na, meinetwegen...

Он быстро повернул и пошел по тропе, коротко приказав: «Lassen Sie die anderen folgen».

Через полчаса они вышли на опушку. В версте было видно несколько домов. — Очевидно, какие-то выселки. За ними рдела красная ледяная заря. Из труб подымался дым, придавая всему мирный вид. Возможно, что в деревне были уже большевики; все, вероятно, об этом подумали, ибо каждый потрогал револьвер на поясе. Но идти дальше было всё-таки невозможно — дрожали ноги, всё тело: мучительно хотелось отдохнуть, сесть и выпить чего-нибудь горячего. Подойдя ближе, Подберезкин разглядел у домов подводы со всякой рухлядью — очевидно, беженские. Корнеманн, Эльзенберг и корнет вошли в первую же избу; Паульхен, как говоривший немного по-русски, пошел с двумя офицерами в другую. В избе были две женщины: одна возилась у печки, другая, явно чужая, лежала одетая на скамье, когда они вошли, и вскочила поспешно. На полу, на перинах, прикрытые цветными одеялами, спали дети; Подберезкин сосчитал пять голов.

— Guten Morgen! — сказал Корнеманн.

Женщины поклонились, глядя испуганно. Подберезкин решил не говорить по-русски: было как-то совестно перед этими женщинами, что он, русский, является к ним с немцами, а главное — стыдно требовать еды. Он знал, что Корнеманн прикажет дать есть, и потому еще по дороге заявил, что разговаривать по-русски не будет, под предлогом, что не хочет попадаться в руки большевиков.

— Это ваше дело, как вы будете объясняться, — ответил холодно Корнеманн. Они должны накормить нас и дать провизии на дорогу.

— А помните пленного в офицерском собрании? — хотел корнет возразить, но удержался.

Когда они вошли в избу, Подберезкин сразу же угадал — по жалким ли лицам баб, по несчастной ли рухляди, валявшейся на полу, — что война коснулась и этих мест и что и здесь все, что пришлось под руку войскам, было отобрано, уведено Он стоял молча Корнеманн посмотрел на него испытующе и сказал сухо бабе:

— Подайте малако, ейтцы, хлеб, — мы имеем деньги.

— Батюшка мой, — жалобно заговорила баба у печки, — где же взять? Пустой хлев совсем Ваши же угнали весь скот, курей поели Хлебушко на исходе — Она передохнула и, указав на другую бабу, продолжала· — Вот сестра пришла вчерась с соседнего села — замужем она там. Ваши сожгли дом, скот увели, только и осталось, что детей куча, а чем питать?

Корнеманн морщился, не понимая, поднял руку, чтобы прервать хозяйку. Подберезкин ему не помогал. Чужая баба, сидевшая на лавке, не вступала в разговор; когда хозяйка упомянула про нее, Подберезкин взглянул на бабу и поразился выражением ее лица — умиление и жалость были на нем. Повернувшись в направлении ее взгляда, он увидел, что баба смотрела на Эльзенберга Тот уже заснул, сидя на лавке. Лицо его, мальчишески молодое, испачканное сажей и грязью, выражало последнюю усталость: голова запрокидывалась: он силился ее поднять, встряхивался и опять засыпал, сползая с лавки

— Господи! — шумно вздохнула баба, — до чего молоденький! Пристал весь, мочи нет. Поспи, поспи, сынок! Сон, что материна рука: глаза прикроет, сердце успокоит, думу отведет. Дома-то, верно мать ждет, скучает.

Баба встала, подошла к печи, вытащила оттуда крынку теплого молока, достала откуда-то полкаравая хлеба, чашки и, подойдя, поставила всё на стол.

— Всего я решилась, а корову дал Бог увести. Испейте молока с хлебушком, да сестра вам в боковушке на сон соломки бросит, — продолжала она, нисколько не заботясь, очевидно, о том, понимают ли ее. — Другие-то двое постарше. Этот чернявый, видно, хватил нужды на своем веку. Глаза-то налиты горем, скучный весь. Может, по жене аль по детям скучает.

«Это она о нем, кажется, так говорила?» — сообразил Подберезкин.

— Ты смотри, сестра, молоко им отдаешь. Прознают про корову, отберут, заколют, — что ребятам останется? — тихо заметила хозяйка.

— Ни так мать до детей, как Бог до людей. Не оставит.

Подберезкину хотелось встать и прижать к сердцу эту бабу, но теперь еще менее удобно было сказать, что он русский. С наслаждением он выпил чашку теплого топленого молока, разом напомнившего ему о детстве — как, бывало, посреди игры, забегал он на деревне в крестьянский дом, к кому-нибудь из своих приятелей, и с жадностью выпивал на ходу топленого молока, заедая куском свежего хлеба. И Корнеманн выпил молока и съел хлеба. Он молчал, лицо его было, как изваяние. А Эльзенберга не могли добудиться; он открывал глаза, дико, не видя, смотрел и опять засыпал. Баба постлала соломы в соседнюю комнату, и, сбросив мундир и сапоги, накрывшись шинелью, Подберезкин мгновенно забылся крепчайшим сном. Корнеманн приказал разбудить через три часа, если будет все тихо; в случае тревоги — немедленно.

К полудню все трое с трудом встали. Вскоре пришел Паульхен из другой избы Где-то за лесом шло сражение, гул то приближался, то удалялся, в любой момент, в сущности, могли придти красные. Бабы накормили в дорогу вареным картофелем, и в полдень все вновь тронулись дальше. Корнеманн подошел к бабам, протянул руку:

— Lebt wohl und habt Dank!

— Спасибо.

А когда они выходили из села по синему сияющему снегу, Корнеманн подошел к корнету и сказал:

— Странный вы народ, русские. Странная страна!

И Подберезкину показалось, что тот вспомнил сейчас, сожалея, как отказал когда-то в хлебе пленному красноармейцу.

XI

После неудачи под Петушковым наступление сорвалось; часть, к которой принадлежал Подберезкин, отошла и встала на новых позициях к востоку — занять старые позиции с обжитыми квартирами не удалось, русские обошли их с запада. Но обойдя, они наступления почему-то не продолжали, как это сделали бы немцы на их месте, а затаились где-то, вызывая в немецких фронтовых офицерах и солдатах тревожное недоумение: чего-то надо было ждать и, вероятно, чего-то необыкновенного!.. А в верхних кругах неудача наступления была истолкована как неумение и трусость (Unvermögen und Feigheit — стояло в приказе по дивизии); пауза, допущенная красными, это, повидимому, подтверждала. Были сняты многие командиры частей, заменены новыми офицерами производства военного времени; сильно пополнены части СС. Предполагалось, что наступление в скорости возобновится, как только произойдет необходимая перегруппировка войск и надлежащая обработка духа, как выражались агитаторы и пропагандисты из особых команд, присланные во множестве в части. Обработка заключалась в том, что немецким солдатам доказывалась вся низость поведения русских, всем — и появлением на земле и историей своей — обязанных немцам, а теперь вдруг осмелившихся бунтовать, защищаться, противостоять вождю немецкого народа и его ясным планам. В справедливом гневе вождь решил окончательно уничтожить этот народ, сказав. «Dieses Schweinevolk muss ausgerottet werden»; в крайнем случае, если русские опомнятся, жестоко, как они того заслуживают, наказать, обратив их в

подобающее им состояние пастухов свиных и иных стад — Schweinezüchter und Viehtreiber По всей линии в течение целой недели изо дня в день читались доклады на русские темы. В части у Подберезкина читал пожилой балтиец, тоже из баронов. Лекция называлась: «Russland — von Normannen entdeckt, von Deutschen erschlossen». Она была одобрена и особо рекомендована верховным немецким командованием

Подберезкин, присутствовавший на лекции, в середине ее, не в силах больше терпеть, демонстративно встал и, громко стуча сапогами, вышел из помещения под удивленными взглядами слушателей Возмутила его не столько сама лекция, разумеется, делавшая тоже губительное дело, — он уже достаточно наслушался бредней и вздору о России заграницей и приобрел в этом отношении иммунитет — как то, что она исходила из верховных кругов армии. Там, стало быть, действительно, так думали! Безумцы, они сами себе рыли яму[1]. Много раз и дорого платила Европа за незнание России, но все прежнее было пустяком по сравнению с происходившим теперь. Теперь надвигалась катастрофа небывалых размеров, сгубившая бы, вероятно, и Европу и самое Россию. И та и другая навсегда перестали бы быть тем, чем они когда-то были... Обо всем этом он думал непрестанно и с озлоблением после лекции, ожидая вызова для объяснений и наказания за демонстрацию. Может быть, представился бы, наконец, случай официально высказаться перед судом, перед командованием, открыть им глаза Все частные разговоры с немецкими офицерами не вели ни к чему: многие из них думали так же, как он, ужасались, но дальше вздохов не шли; большинство же верило в немецкую «миссию на Востоке». Но его не вызывали никуда, последствий демонстрация не имела, только барон из их части стал с ним еще суше. Одновременно с лекциями были разосланы по частям воззвания к красноармейцам с призывом прекратить борьбу немедля

во избежание сурового наказания. Эти воззвания должны были ежедневно, днем и ночью, читаться через усилитель перед советскими позициями. Поручено это было Подберезкину.

Немецкие позиции занимали высоты, часть Подберезкина стояла в деревне на холме. На северо-западном склоне простиралась березовая рощица, за ней густой узкой полосой вился кустарник по берегу речки, на другом берегу тянулся еловый лесок. Там были русские. Днем они никаких признаков жизни не подавали; движение войск наблюдалось гораздо дальше на север; а по ночам из леса явно шли звуки: приглушенное поколачивание, пение пилы, шум падавшей тяжести. В темноте врасплох немцы выпускали ракеты, но нельзя было установить — скоплялись ли в лесу войска, подготовляясь к операции, или же засели там разведчики и наблюдатели. Передовой немецкий опорный пункт находился в кустарнике с видом на речку и на лесок. Днем солдаты собирались, обычно, в траншеях, с темнотой уходили в землянку; оставались лишь часовые метрах в пятидесяти друг от друга. В кустах был устроен передатчик с усилителем, и каждый вечер, с наступлением темноты, Подберезкин, кляня себя и свою участь, с трудом пересиливая желание бросить всё и лучше отдаться под суд, передавал немецкие прокламации. С советской стороны никак не отзывались. Составлены были прокламации глупо, мертвым газетным языком, — человеком, явно никогда не бывавшим в России, ни малейшего понятия о ней и о русском народе не имевшим; содержали одну ругань против евреев, масонов и плутократов; вероятно, на той стороне их даже не понимали. Ни слова не было сказано о России и о страшной судьбе ее за последние годы, ни слова о русском народе, об освобождении или помощи...

«Впрочем, может быть теперь и это всё было бы уже запоздалым», — думал Подберезкин. Будь он на той

стороне, он и сам не поверил бы немцам, а раньше — раньше много можно было бы сделать настоящим словом!..

После пяти дней подготовки было назначено немецкое наступление. Последний день Подберезкин провел, сидя на солнышке снаружи, читая Евангелие. Поставил он себе читать его регулярно каждое утро и делал это уже многие годы; но часто по утрам приходилось спешить, привычно скользя глазами по тексту, не заключавшему, казалось, уж ничего незнакомого. И потому, когда он мог, то вынимал Евангелие днем и перечитывал особенно любимые места, каждый раз поражаясь тому, что читал, как откровение. Может быть, действительно, весь мир был создан только для того, чтобы мог явиться Христос?.. Всегда было ясно при этом, что писали Евангелие такие же земные люди, как и он, ясно уже по неумению и по несообразностям, которые они допускали в тексте, но это не изменяло ничего, не умаляло и не могло умалить божественной истины, возвещаемой ими; наоборот: если они, обыкновенные смертные люди, как и все, нашли такие слова, открыли миру такие чувства, то ясно было уже из одного текста, что благодать коснулась и преобразила их, что Бог был среди них!.. «Мы зрели и осязали», — свидетельствуют они все согласно. И только очень грубый человек мог этого не чувствовать, этому не верить. Сегодня он читал, весь внутренне светлея, о явлении Христа по воскресении. «Не касайся меня!» — сказал Он Марии Магдалине. Не касайся, ибо Он был Истина. Истины нельзя коснуться, нельзя взять руками, как хотят теперь, а только трепетно познать!.. Он попробовал вдруг представить себе Христа, живущим и прововедующим на земле теперь. Невозможно! — Он даже головой покачал. В мире стало столько зла, что Ему не нашлось бы места. Его распяли бы в первый же день, и проповедь его никогда не прозвучала бы людям этого

века. Мир не хотел больше признавать истины, мир хотел только жить.

День был яркий, вещающий весну; на солнечной стороне блиндажа уже сильно припекало, от стены и со снегу чуть парило, срывались звонко капли и льдинки. Сквозь березовую сквозную рощу, сбросившую снег, почти по-весеннему ярко, омыто сияло ожившее потеплевшее небо; прорывался иногда ветерок, еще холодный, но мягкий, повлажневший. И всё время неутомимо звенела в лесу синица; выбегали на солнце, шурша пожухлой листвой, не то мышь, не то суслик. Солдаты вышли из бункера, расселись вдоль стены, сняв мундиры и рубахи, подставляя голые белые тела солнцу. Они искали вшей, зубоскалили и говорили сальности, ржали стадно из-за всякой глупости. Читать и думать было уже невозможно, и корнет с жалостью закрыл книгу. Как июльский овод, густо жужжа, тонко запевая на мгновение, вился высоко в небе, то пропадая, то вновь возникая, самолет, и солдаты гадали: чей он был — свой или русский?

— Говорю тебе, это — Иван, — особенно горячился один, ударяя на первом слоге, — Der Russ. Наш иначе гудит. Я любой аэроплан, не глядя, отличу. Слушай, слушай!.. — Он поднял руку — аэроплан тонко запел, создавая впечатление стремительного приближения. — Иван это! Вот грохнет подарок на память, тогда узнаешь. Наверняка по нам метит. — И он опасливо поглядел в воздух и по сторонам.

Все захохотали — солдат был, несомненно, новичок.

— Du bist mir ein Gescheiter! — отвечал другой солдат, давно не бритый, сидевший рядом, заваливший голову под солнце, с закрытыми глазами. — Ein Russ ist er schon, aber Aufklärer. Разведчик русский. У него, милый мой, поважнее задачи, чем в тебя бомбы бросать. Aber der Läusbub kann was! — сказал он, открывая глаза и наблюдая, щурясь, за полетом.

Команда бункера привыкла за эти дни к Подберез-

кину и не стеснялась его. Как большинство немецких солдат, и эти говорили о русских солдатах без всякой злобы, а скорее со снисходительной опаской, называли их всех «Иван», как бывало и в первую великую войну, и понятия о России не имели ни малейшего. Так как их все время уверяли, что немецкая победа — дело обеспеченное, то они и верили в это слепо, не рассуждая и не думая. Иначе, впрочем, и не могло быть, раз дело касалось Германии, — Германии никто не мог победить. В это они верили непоколебимо, что бы ни происходило. Подберезкину всегда было жалко их: что им готовят, какую участь? Тяжко будет их разочарование!.. У них не было ничего, кроме этой веры, ничего абсолютно! Разбейся она — осталась бы полная пустота. Вот их, в числе многих других в новом мире, кормили только истинами, которые можно взять в руки, которые ставили перед ними готовыми, как блюда с кухни. И они тянулись к ним, полагая их за единственную пищу. Они, действительно, были великолепные солдаты и умирали, не спрашивая, зачем умирают. Умирая безответно, безропотно, являя миру эту высшую степень героизма и отправления долга, — они, тем не менее, помимо их воли, творили великое зло. «Слепые вожди слепых» — вспомнил он «Апостола». Да, они были именно слепые, и вели их тоже слепцы.

— Ну-с, Подберезкин, — сказал, выходя из землянки, корреспондент из пропагандного отделения — высокий, брезгливый и злой офицер, типа Корнеманна. — Сегодня мы работаем с вами, кажется, в последний раз

«Последний раз?.. Может быть, сам того не желая, он сказал печальный каламбур», — подумал корнет, но ничего не ответил.

Когда стемнело, втроем — Подберезкин, подсобный солдат и корреспондент, сам вызвавшийся их проводить, — они отправились к реке. Передатчик был установлен в кустах у последней траншеи, чтобы дальше доносило.

— Завтра, насколько я знаю, перейдем в наступле-

ние. Ах, и побегут же они! — заговорил по дороге со страстью военный корреспондент!

— А если не побегут? — спросил тихо корнет.

— Побегут. Есть все основания так думать! Их потери ужасны — и людьми и машинами. Разведка показала, что они употребляют только самоновейшие танки — у них нет запасов. А у нас еще довоенные запасы не исчерпаны. Побегут, все побросав, до Урала!

— А если все-таки не побегут?

— Не могут не побежать! Германия должна победить! Мы не можем допустить другого поражения — Германия его не вынесет. И мы победим — история не повторяется...

Это логика была, разумеется, неопровержима.

— А если, — немец вдруг остановился, — если, чему не верю, нас раздавят материальной мощью, то под развалинами я подыму руку и закричу: «Да здравствует вождь Адольф Гитлер!»

Ночь была ясная лунная, и в свете луны корнет увидел перекошенное страстью лицо. Он не стал возражать: это была уже вера, нечто иррациональное. И к таким чувствам он невольно всегда питал уважение.

Уже из березовой рощи можно было разобрать, что на той стороне реки, у красных, происходило какое-то движение. А когда вышли к кустарнику на берегу, звуки стали громче и яснее — там что-то тащили; трещали сучья, повизгивал снег, иногда соскакивало что-то вниз, вероятно с пней. Солдат приостановился, военный корреспондент посмотрел на Подберезкина, махнул, усмехаясь, головой, по направлению другой стороны реки.

Постовой, сидевший в траншее у передатчика, заявил, что сразу же с наступлением темноты на той стороне началось усиленное движение — все дни такого не было. Он докладывал тревожным шопотом, тревога его передалась и Подберезкину, а солдат, сопровождавший

их, поспешно приладил части к аппарату и слез в траншею. Лишь корреспондент остался попрежнему спокоен

Приспособив аппарат, Подберезкин наизусть в темноте начал передачу, прислушиваясь и не узнавая хриплого и лающего голоса, зазвучавшего гулко над рекой Сегодня было особенно противно говорить: пересиливая себя, не вдумываясь, он произносил набившие оскомину газетные слова о жидах и плутократах, по его мнению скорее вредившие, чем помогавшие. Говорил он всего минут пятнадцать и, кончив, с радостью подумал: «Сегодня в последний раз!». И как раз в этот момент с того берега реки ясно и спокойно проговорили:

— Не бреши, собака!

И, помолчав, добавили:

— Сколько тебе, белогаду, заплачено?

Это было до того неожиданно, сказано до того дерзко и спокойно, что корнет невольно захохотал, закрывая рот рукой и стараясь заглушить звук смеха. «Не бреши, собака!». Таков был весь успех целой недели. Другого и нельзя было ждать. Опять его охватил припадок смеха.

— Was ist denn los? — спрашивал тихо корреспондент. — Что там сказали?

Подберезкин перевел, всё еще смеясь. Немец взглянул на него, пожал плечами и, повернувшись резко, пошел к блиндажу.

Корнету не хотелось туда возвращаться. Если бы не глупые прокламации, эта фронтовая солдатская жизнь его даже привлекала, но завтра, очевидно, предстояли какие-то перемены: вместе с военным корреспондентом они возвращались в тыл, и ему хотелось побыть наедине некоторое время. В березовой роще было одно место, где он не раз уже сидел и днем и в сумерки, любуясь далью У старой седой сосны стоял гладкий широкий пень, можно было сесть, прислониться, слева и справа защищали маленькие кустики, а прямо на запад лежала поляна, и за нею над лесом садилось всегда солнце. Ночь была

ясная, лес весь в перламутрово-голубом сиянии, в светлых ухабах. Корнет быстро нашел пень и сел прислонясь. Луна лила широко на поляну свой холодный голубой свет, погружая мир в него, как в безжизненную влагу. И в то время как днем весь этот лес и всё кругом — каждый куст, каждая тропа — были страшно близкими, родными, русскими, вызывая совсем иное чувство, чем леса и дали на чужбине, теперь, ночью, под лунным светом, они становились мертвыми и чужими. Лишь звезды были своими, давно знакомыми, в особенности Большая и Малая Медведицы; это были словно русские звезды! Глядя на легкие кисейные облака, перекрывающие иногда луну, на звездную небесную пряжу, он думал: ну, вот я в России, а чего же достиг и что могу сказать? Жила ли та Россия, которой я жаждал? И да и нет! Как это ни странно — было невозможно ответить. Она была тут, ее можно было бы возродить в два дня, но такая, как теперь, она была чужой не только по сравнению с прежней Россией, но даже с остальным миром. В ней было что-то темное, демоническое! За русскую землю, эти равнины и перелески без конца и краю он отдал бы последнюю каплю крови, но как только он думал о новом, — нет, оно было более чуждым, пожалуй, чем Европа. *Всякую* Россию он любить не мог; Россию, оскорбляющую Христа, — ни за что!.. Его пребывание здесь сложилось как-то иначе, чем он предполагал. Не видел он родного дома, ничего не узнал о сестре Леше, из-за которой и шел больше всего сюда, а встала вот Наташа, совсем чужая, казалось бы совсем новая, и всё-таки заполнившая почти всё его существо.

Раздумывая так, он вдруг услышал шорох и тут же осознал, что слышал его, в сущности, уже давно. Он прислушался — теперь ничего не было слышно. Облако пе-

рекрывало луну, и вдруг невольно цепенея, он увидел, что из лесу слева, со светлой стороны, выбежала огромная, похожая на водолаза, фигура, вся в белом, с круглой головой, и, перебежав легко наискось по тропинке полянку, залегла за кустом очень близко от него. И тотчас же вновь вышла луна; на правый бок поляны захватывая и его сиденье, легла зубчатая тень. Он затаил дыхание. Кто это мог быть? Не немец, во всяком случае. И опять перекрыло луну, и сразу же, бесшумно, пригибаясь к земле с автоматом наперевес, перебежала новая фигура в белом и легла там же, где и первая. Сомнения не было. То были русские, очевидно разведчики, в зимнем одеянии; в ту войну их звали охотниками. Если он пошевелится и выдаст себя, если они его заметят, — спасения не было бы: или смерть или плен. Он не решался двинуть рукой, чтобы достать револьвер из кармана, сидел, удерживая дыхание, плотно прислонясь к стволу. Счастье, что луна светила не в его сторону! Когда вновь потемнело, двое поднялись совсем близко от него; головы их закрывала лапа соседней ели и были видны только фигуры. Оба стояли, переговариваясь шопотом. Осторожно поведя рукой, он достал револьвер из кармана. В плен он, во всяком случае, теперь не попадет! Но он мог бы их, в сущности, легко застрелить, одного уж наверняка, а второй растерялся бы и, вероятно, сдался бы. «Бить сзади в русских?» — подумал он, — нет, этого всё-таки он не мог. Может быть, двое были обыкновенные крестьянские парни, пришедшие из далекой Сибири защищать русскую землю. Нет, убить их он всё-таки не мог! Не за тем он шел сюда. И то, что они его, наверняка, убили бы, не делало никакой разницы: он вторгнулся в их землю как враг, во вражеской форме. Но куда они пробирались? И только вдвоем?.. Новые не перебегали. Если к бункеру — то должны они были тронуться дальше прямо на него, тропинка проходила в двух шагах, он посмотрел в ту сторону. И в этот момент двое тронулись.

Он судорожно зажал тяжелую рукоять револьвера, обмирая сердцем. Трус он, что ли, всё-таки?.. Говорят: трус тот, кто боится и бежит, а тот кто боится и не бежит, еще не трус. Бежать, положим, было невозможно. Но неужели он погибнет, не повидав родных мест, не найдя Леши? Пригибаясь, крадясь по-кошачьи, двое приближались и замерли на мгновение у соседнего дерева. Корнет не дышал. Сейчас должно было решиться, заметят они его или нет? Защищаться он, разумеется, будет!.. Взгляд его скользнул на небо, и с необычайной силой поразило его противоречие: этот непостижимый божественный мир, покой и гармония, и в нем жестокие и мелкие человеческие дела! «Люди заняты ненужным, люди заняты земным...» — вспомнилось ему. Вот именно! Мир был так велик, так божественен, что уже взгляд один в его бездну наполнял трепетом. Чтобы познать этот мир, нужно было стать богом — и где-то ведь сказано в Евангелии, это люди — боги? И вот они крадутся рядом, подстерегая друг друга, как дикие звери, — нет, мир этот создан не для людей, — подумал он, — они не заслужили его!.. Двое прошли мимо, не заметив его. Корнет, впрочем, чувствовал, что с ним ничего не случится сегодня, словно он еще не выполнил своего долга перед Россией, еще многого не познал, — такое было у него чувство.

Когда движения затихли — двое явно крались по направлению к бункеру, — он подумал, что надо предупредить команду. Он мог, по своим соображениям, не стрелять в русских, но был обязан дать знать об опасности товарищам по оружию. И встав и прислушавшись — звуки совсем утихли, двое прошли уже, вероятно, довольно далеко и были теперь поблизости от бункера, — он поднял руку и три раза подряд, в знак тревоги, выстрелил в воздух. Тотчас же у реки три раза ответили: там, на опорном пункте, тревогу услышали. В лесу захрустело — это были те двое. Корнет стоял в

раздумии: как ему поступить — пробираться к бункеру или выждать в траншее или же схорониться пока здесь?..

И вдруг с немецкой стороны с сухим свистом взвилась, рассыпая бенгальский огонь, ракета. И почти сразу же с другой стороны, мощно оглушая, заревели орудия Красная армия, повидимому, начинала новое дело.

XII

Дивизия, к которой принадлежала часть Подберезкина, откатывалась безостановочно назад в течение шести недель, как и вся немецкая армия. О последнем официально не писалось, но все знали, тем не менее, что армия отступает; как всегда на фронте, солдаты судили об общем положении по примеру своей части, и потому об отступлении ходили самые разнообразные, противоречивые и скорее преувеличенные слухи. Сводки всё писали о победоносном сопротивлении, о выпрямлении линии фронта, об устрашающих потерях противника, но им никто не верил; говорили открыто: врет, как сводка Главного командования. Говорили об уходе и опале командующих армиями, о расколе в штабе: хуже же всего влияло то, что немецкий солдат к такому ходу дел подготовлен не был и отступать не умел. С детской наивностью, возбуждавшей в Подберезкине даже умиление, они попрежнему считали себя за лучших солдат в мире, невзирая на отступления и поражения, слепо веря, что весной перейдут в наступление и всё побежит перед ними. И пройдут они до Урала, и война будет кончена во славу Германии! А Красная армия тяжело наступала по пятам, не давая передышки; русские танки и кавалерийские отряды появлялись вдруг в совершенно невероятных местах, в глубоком тылу, и приходилось спешно оставлять позиции; всюду кишело партизанами, без устали разрушавшими всю связь и снабжение, нападавшими теперь даже на регулярную армию. Сравнивая красные войска со старой русской армией, корнет видел, что красноармейцы гораздо лучше вооружены, но выгля-

дят хуже, войско часто походит на сброд — немцы захватывали в плен целые роты в разорванных валенках, заткнутых соломой. И всё-таки они побеждали великолепную немецкую армию — и первые!.. Побеждали — потому ли, что гнали их вперед, совершенно не считаясь с их жизнью, или же потому, что защищали они родную землю? Что они защищали Россию, а не коммунизм, это корнету стало давно ясно — и из слов пленных, прошедших перед ним тысячами, и из слов крестьян. Побеждала именно Россия. Россией в этой войне спасали, к сожалению, коммунизм. Но почему же тогда лучшая армия в первую войну, тоже защищавшая родину, не победила? Он знал, что иностранцы делали из этого заключение, что новая Россия была сильнее, а русские все стали коммунистами. Это было неверно, он видел, что это было неверно. Русские не стали коммунистами. Вместе с немецкой армией оставил он теперь позади бессчетные села и города, а перед тем из каждого добровольно уходили сотни подвод, нагруженных жалким скарбом, уходили, на европейский взгляд, тысячи нищих в неизвестность из родной страны, смертельно боясь встречи с Красной армией. Русские бежали от русских — какой это был ужас, пожалуй, неслыханный в истории! Эти люди были не похожи на первую эмиграцию, ту, к которой принадлежал он сам; тогда уходила элита, высшие слои, за малыми исключениями, а теперь бежал в смертельном страхе и отчаянии действительно простой народ — мужики в рванье допотопного вида, бабы в платках, с кучей ребят, всякий городской люд, — и все, как один, — нищие!

И все это вызывало странное чувство. Откатывались безудержно пять немецких армий, как сообщали шопотом, и Подберезкин не знал: радоваться этому или горевать? Льстило, что побеждали русские, что весь мир, затая дыхание, следил за этим отходом, и в то же время наполнялось страхом сердце: возможно, что Россия по-

гибла навсегда! Россией и за счет ее спасали коммунизм! Не наоборот, как думали в Европе! И горше всего было сознание, что погублено все было самими же теми, кто пришел сюда. И он видел теперь, что Россия сама по себе была, повидимому, непобедима, что всякого, нападавшего на Россию, должна была постигнуть неудача и что в этой войне победит тот, кто использует национальную Россию. За эти шесть недель отступления он столкнулся со многими белыми русскими из эмиграции, как и он, пригнанными сюда тоской по России. И они все ничего не знали, были полны смятения и страха перед неизвестностью и боязнью за Россию. Одни говорили: лучше Сталин, чем немцы, другие наоборот — немцев предпочитали Сталину, как один из недавно встретившихся ему, носивший княжеское имя, восходившее к Рюрику. Немцы взяли обратно какой-то город, и он первый поднял стакан: за победу! И всем стало неловко, тем более, что победы никакой не было Через неделю русские взяли город обратно. Но не мог он разделять и другого мнения: лучше Сталин, чем немцы. Ни один народ в истории не мог окончательно истребить, искоренить другого, как бы долго он над тем ни владычествовал; а коммунизм мог, повидимому, раз навсегда исказить и страну и народ, обратив все в однотипное коммунистическое стадо. Это было самое страшное!. И всё существо Подберезкина взыскало какого-то иного времени, когда люди встали бы за Христа, за правду Божию и человеческую, за поруганных; казалось, именно этого не хватало в мире, и тот, кто действительно встал бы за правду и сказал бы это на весь мир, без лжи и лицемерия, тот и победил бы в конце концов Но все предпочитали лицемерить, ложь выдавать за правду, приносить ее в жертву малым выгодам. В истории уж не раз так было — думал он: Карл Пятый и Франциск Первый, два католических короля всю жизнь воевали друг против друга из-за ненужных кусков земли на торжество протестантских ин-

сургентов, кардинал Ришелье помогал протестантам в борьбе против католической Австрии, немцы пропустили большевиков в Россию в 1917 г. — себе на шею! Подберезкину всегда казалось, что это и глупо и невыгодно в конце концов; этическое в истории играло гораздо большую роль, чем люди думали, и справедливость всегда все-таки торжествовала. И хотя он твердо в это верил, и верил в пришествие «коня белого» и в белую победу, каменело сердце от боли при виде сожженных, опустошенных сел и городов — от старой России и так мало оставалось, а теперь и последнее гибло. Вместо России оставалось дикое поле, как когда-то после набегов татар. Дикое поле оставалось после России, готовое воспринять любой посев, но кто бросит новое семя и какое это будет семя?.. Кто засеет это дикое поле, где буйно взойдут всходы, где обильна будет жатва, которая насытит, может быть, весь мир, но чем, чем? Ядом или хлебом отцов?.. Обо всем этом корнет думал непрестанно, отступая с армией, и не находил ответа.

Наступала весна, расширялись дни, расширялся и светлел весь мир. В ложбинах еще лежал снег, ноздреватый, грязный, заледеневший по краям, а так уже оттаяло всюду, парила на солнце земля, размякли дороги, колеи наполнились рыжей водой, и в лесу терпко пахло прелой слежавшейся листвой. Лес разбух, потемнел, просторно и влажно шумел, рушились короткие теплые дожди, и за ними особенно радостно и покоряюще сияло солнце. Голову по-весеннему пьянило, и при переходах едва двигались ноги, хотелось спать, спать, спать!.. Под солнцем на лужайках было уже совсем тепло, и солдаты на привалах заваливались на земле под открытым небом, спали, не обращая внимания на преследующие разрывы снарядов, на вражеские аэропланы. Иногда совсем близко, повизгивая, обрушивалась бомба, мягко шлепалась, разбрасывая каскады из земли, веток и влаги, и по лесу

катился круглый звонкий гул. Но постепенно с весной отход приостановился, Красная армия отстала.

Часть Подберезкина стояла в деревне, совсем еще нетронутой войной. Из старых знакомых по зиме остались только Паульхен, да барон балтийский, еще более помрачневший и озлобленный. Фон Эльзенберга убило, Корнеманна отозвали в тыл, в главный штаб. Все это время Подберезкин часто думал о Наташе, об их коротком и странном знакомстве, о страстных объятиях, и каждый раз при этом закусывал губы; лицо его перекашивалось. Давала она эти поцелуи именно ему, или же ей было всё равно? Он не мог избавиться от впечатления, будто целовала она, как во сне. Где она теперь была — по эту или по ту сторону? Больше всего огорчало, что он уехал, не простившись с нею, не сказав ни слова. Корнеманн, вероятно, нарочно его не предупредил, скотина. Впрочем, ему казалось, что он еще увидит Наташу. К своему удивлению, корнет узнал случайно, что Корнеманн всё время наводил справки о Наташе; раза два даже его спрашивал — не имел ли он каких-либо сведений. Почему она его так интересовала? Наблюдая за Корнеманном, Подберезкин видел, что тот переменился: стал мягче, не кичился, не говорил почти совсем о политике, не кричал и не грозился при допросе пленных. Теперь корнет даже жалел, что Корнеманна отозвали: заменил его барон. Оба они друг друга не выносили и, если бы не Паульхен, Подберезкин перевелся бы в другую часть. С Рамсдорфом он сошелся и искренне его полюбил за смешной, совершенно несовременный идеализм, за несокрушимое доверие к людям, за чистоту сердца — он был убежден, что все к нему хорошо относились, и сам ни о ком не отзывался дурно, был всегда глубоко удивлен и поражен, если сталкивался со злом, считая его, всё-таки, недоразумением. Он попрежнему верил, что участвует в крестовом походе против большевизма за Христа, без всяких материальных вожделений. Каждый день

он писал своей матери, видимо боготворя ее, и если сам долго не получал писем, то вытаскивал из кармана ее фотографию и, сидя в углу где-нибудь, думая, что его никто не видит, начинал разговор с нею каким-то особым языком их собственного мира. Подберезкин с умилением смотрел на него. Жили они с Паульхеном в одной избе у бывшего псаломщика церкви. Деревня теперь больше года находилась не под советами, и это уже чувствовалось: была вновь открыта и освящена церковь, звонили колокола — это отсутствие колокольного звона его особенно поразило вначале в России, — и по воскресеньям в церкви, как и прежде, было полно народа, в особенности баб и девок, уже пестро и нарядно одетых, в ярких платках на головах; сильно и уверенно пел хор; люди держались вольнее, смелее смотрели в лицо. И корнет с радостью думал, что историю всё-таки можно повернуть, что Россия с 1917 года шла вслепую, как лунатик, не зная своего пути, что года-двух достаточно было бы, чтобы сделать ее вновь Россией, и тут же спохватывался: всё равно было уже поздно теперь — они отступали, уже страх перед приходом «тех» овладевал народом. В победу уже не верили более!.. И сам он в нее не верил и — странно! — в сущности не принимал этого к сердцу, как будто так было лучше. Анализируя себя, он разобрался, чем было вызвано это чувство: он понимал теперь, что старая Россия, та, которую он знал и любил, никогда не возродится, но сама Россия не погибнет, а станет лишь иной; и эта новая Россия — он желал ей всяческого добра! — его меньше притягивала. Брала лишь жалость и боль за народ, за этих баб и мужиков, поверивших им вначале и ждавших от них новой жизни. Старик-псаломщик, у которого он жил, сидел при большевиках долго по тюрьмам, был в ссылке в Сибири, за полярным кругом, и Подберезкин поражался, с каким спокойствием тот относился к возможности возвращения большевиков.

— Веры мало, — говорил старик, глядя на Подбе-

резкина серыми строгими глазами между нависших, как куст, седых бровей. — Кричу в церкви, кричу: миром, миром Господу помолимся! Миром, а не вразброд. Только тогда Бог и услышит. На судьбу же свою не сетую, а Богу благодарствую. Только чем дальше живу, всё больше чувствую: обезумел весь мир, все люди стали сумасшедшие, а я еще, как будто, нет. А старуха наша дорогая выживет. Не то еще видала! И татар, и смуту, и двунадесять язык, и Разина, и Пугачева — выживет и теперь старуха!

Этот разговор Подберезкину часто вспоминался. Забавный старик! А «старуха» на самом деле, повидимому, вынесет!

В середине апреля Подберезкина неожиданно вызвали в соседнюю часть, километров за 50 на северовосток, для опроса главаря отряда партизан, попавшего в плен. Собственный переводчик был в госпитале, недостижим. Лошадей в селе почти не осталось; кроме того, подводой поездка взяла бы двое-трое суток, если не больше; самое лучшее было ехать на мотоцикле, ибо дороги уже довольно просохли. Паульхен вызвался поехать вместе — он отлично управлял мотоциклом.

Выехали ранним солнечным утром. Старик-дьякон вышел на крылечко — седой, сухой, в длинно-серой рясе, с длинной узкой бородой, с самодельной, узловатой черемуховой палкой в руке, похожий на древнего святого. Когда, усевшись, они с шумом снялись с места, он благословил их в воздухе крестным знамением. Разгоняя кур, неуклюже, с растерянным кудахтаньем поднявшихся в воздух, разбрасывая дугой по сторонам брызги, они вырвались из деревни в открытое поле, покрывшееся тонким седым ледком за ночь; под солнцем ледок чуть дымился. Высоко в небе слева летели неподвижным косяком журавли, — где и что их соединило вместе и куда, в какую дальнюю страну их тянуло? Подберезкина всегда волновал прилет и отлет птиц, журавлей в осо-

бенности, пожалуй больше, чем что-либо другое в природе. И теперь пришло в голову, что, может быть, эти самые журавли прилетали к ним в имение в его детстве? Говорят, журавли всегда держались старых мест; двум он однажды привязал к ногам монетки. И, чуть холодея сердцем, он опять припомнил, что ехал по направлению к своему бывшему дому. Имение находилось от этих мест всего в 60-70 верстах, но, повидимому, под большевиками. Тот городок, куда они ехали, он знал, бывал там не раз ребенком вместе с отцом. Особенно памятно было, как отец раз купил там на конской ярмарке пегого длинноногого жеребчика — чистокровку.

Скоро они въехали в лес. Дорога стала труднее, в колеях местами еще глубоко стояла мутная вода, на болотинах под водою, веерообразно расходившейся под колесами мотоцикла, были деревянные мостки; на глинистых местах и на взгорьях машину приходилось тащить; двигались они не быстрее 20 верст в час. Фон Рамсдорфа быстро забросало комьями земли, лицо испестрили грязные потоки, то и дело он должен был протирать очки, громко кляня свою судьбу, мотоцикл и партизан. Подберезкин не мог удержаться от смеха. Паульхен сердито на него посмотрел. «Вы думаете, — вы лучше выглядите?» — сказал он мрачно и вдруг тоже громко засмеялся. Нет, вероятно, выглядел он не лучше, но, несмотря ни на что, было приятно ехать по лесу этим весенним днем, приятны были даже каскады воды, обрушивавшиеся с ветвей, и брызги, и комья, со свистом вылетавшие из-под колес, живителен был воздух, напоенный запахом свежей влаги, горьковатым ароматом пробудившейся земли, тлеющей хвои, листвы, набухающих почек, — весь этот весенний лесной запах! Иногда по бокам лес разрывался, выбегали полянки, вдали в сияющем шелковистом воздухе плыли дома, ближе, выгибаясь, черно лежали поля, как ломти свежего ржаного хлеба. Сделав так больше полпути, они остановились на привал, выпили

кофе из термоса, поели и, с треском и грохотом на весь лес, тронулись дальше. До места назначения оставалось, вероятно, не больше пятнадцати верст.

Дальнейшее произошло так неожиданно, было так невероятно, что Подберезкин долго не мог осознать по-настоящему случившегося. Он как раз хотел что-то сказать Рамсдорфу, и вдруг увидел, что метрах в 50, впереди, поперек дороги легла справа огромная сосна, широко расстилая ветви. «Nanu?» — закричал удивленно Рамсдорф, останавливая мотоцикл. Оба они соскочили на землю. И сразу же с треском что-то обрушилось сзади; оглянувшись, оба увидели, что и там легла поперек дороги сосна.

— Засада! — закричал корнет, отстегивая кобуру револьвера, и в тот же момент из лесу впереди выстрелили — чуть жужжа, пролетели над головами пули. Вдали показались люди с винтовками, все разно одетые. «Партизаны!» — мелькнуло в его голове.

— Shnell, schnell! — отозвался Паульхен и, выстрелив на ходу в мотор мотоцикла, бросился налево в лес, широко шагая своими длинными сухопарыми ногами. Перепрыгнув через канаву, Подберезкин нырнул в кусты. Сзади нестройно хлопали выстрелы, но пули пролетали выше, иногда звонко шлепались в стволы, расщепляя древесину, и скоро совсем прекратились. Лес был сосновый, сквозной, но слева лежало болотце, поросшее ольхой, черемухой; Подберезкин бежал по направлению к нему — за болотцем его не стало бы уже видно. А Рамсдорф убегал сбоку прямо, болотца, верно, не замечая, и по нему опять стали стрелять — раз, два звучно хлопнули выстрелы. Потом он, видно, заметил ольшанник и круто повернул налево. Забежав за кусты, Подберезкин чуть присел, поджидая Паульхена — был тот в десяти шагах. И когда он уже совсем приблизился к кустарнику то вдруг пошатнулся, дернулся к земле, выпрямился стремительно, приостановился с удивленным лицом, по-

том сделал несколько шагов, шатаясь, как пьяный, и рухнул навзничь у ног Подберезкина.

— «Письмо моей матери» — ...услыхал Подберезкин его слова, и Паульхен затих. Но через секунду он повернулся еще раз, голубые глаза его были открыты, однако как будто ничего не видели, и опять Подберезкин услышал его голос: «Der, Du bist im Himmel...».

На своем веку Подберезкин видал много смертей, в особенности от пули, и сразу же понял, что это конец «Письмо матери», — он остался верен себе до конца. Расстегнув поспешно мундир Паульхена, корнет вытащил бумаги, и первое, что ему попалось в руки, был конверт с надписью: «An meine Mutter nach Meinem Tode» Об этом письме он всегда говорил — верно, предчувствуя свою смерть, тогда как сам Подберезкин был скорее уверен почему-то, что его не убьют, что он вернется назад «Милый Паульхен!..» — подумал он, морща от жалости лицо при виде огромного распластанного перед ним тела Сам вызвался его проводить!.. И погиб!.. Еще несколько минут тому назад на мотоцикле он смотрел на эти тонкие завитки волос на его шее, на порезы от бритвы на подбородке — все это уже ничего не значило теперь, не существовало. Он ужаснулся от этого сознания. На земле невдалеке лежали очки Паульхена, он схватил их и положил в карман. Письмо надо было схоронить во что бы то ни стало — куда же? Всюду нашли бы, но лучше всего, может быть, пока за голенищем. И бежать, бежать!.. Все это длилось, может быть, минуту, голосов не было слышно. Быстро перекрестив и поцеловав Паульхена в лоб, он легко кинулся в кустарник, стараясь не шуметь. Но едва он отбежал несколько шагов, как впереди мелькнули серые фигуры, бежавшие навстречу с другой стороны.

— Вот он, здеся! — закричал издалека голос. — Стой, сдавайся!

Подберезкин поднял руку и выстрелил два раза подряд.

— А, ты стрелять, сволочь! — закричал тот же голос, и тут же оглушительно хлопнул выстрел; обдирая сучья и стволы, порхнула пуля.

— Не стреляй, такая мать! — закричал вдруг голос сзади. — Своих побьешь, живьем возьмем.

У Подберезкина оставалось еще два заряда. Один себе, подумал он, живым на муку не дамся. Он присел за старую ольху. Впереди, близко, зашуршало. Чуть выглянув из-за ствола, корнет еще раз выстрелил, где-то застонали. В сущности зачем он это сделал?.. Он посмотрел на небо: что таилось там?.. Небо было нежное, очень далекое — было пронзительно жаль его оставлять. На ольшаннике уже пробилась желтая, нежная, как цыплячий пух, листва, в двух шагах — цвели первые фиалки. До чего всё это было хорошо!.. Но позади, совсем близко, раздался треск, даже как будто дыхание. Он поднял руку к голове, подумав, что самоубийцам нет доступа в тот мир, не прощается? И в это время что-то обрушилось на него сзади, он успел всё-таки нажать на гашетку и, после выстрела, с удивлением подумал, что все еще живет.

XIII

К вечеру Подберезкина привезли, повидимому, в главный партизанский лагерь. Расположен он был в лесу, на высоком берегу большого озера. Об этом озере Подберезкин слыхал в своем детстве — находился он теперь уже почти в родных местах: отсюда было не более 15 верст до их имения. Славилось это озеро рыбой, и не раз он со своими приятелями из деревни собирался сюда удить, но почему-то из этого ничего не вышло. При мысли, что он так близок от своих мест, столько подымалось в душе воспоминаний — дней, слов, лиц и надежд, его уже давно не тревоживших больше, и столько боли, что он даже забывал про свое теперешнее положение, про партизан и опасность, ему грозившую. Лагерь был большой. Подъезжая, он опытным взглядом военного разглядел замаскированные землянки, пулеметные сиденья, даже орудия в чаще кустарника и орудийные ящики рядом — откуда они всё это только понатаскали? Подъехали они, миновав часовых, еще засветло, но на берегу горело два небольших костра; вокруг сидели люди. Направо стояли две низкие, потемневшие от времени и сажи бревенчатые избушки без окон; вероятно останавливались в них раньше на ночлег рыболовы и охотники и хранились рыболовные снасти. Поодаль был выстроен новый барак.

Подберезкина везли — вместе с мотоциклом — привязанным к легким санкам, на каких летом в их краях подавали на сенокосе к скирдам свежескошенное сено Сами партизаны шли пешком. Вождем партии был Тимошка — молодой парень с добродушно-телячьим лицом

и буйными белокурыми кудрями, выбивавшимися со всех сторон из-под его военной фуражки. Одет он был в коричневую фуфайку, опоясан вдоль и поперек пулеметными лентами, на боку висели ручные гранаты, за спиной винтовка-автомат, — был он, как видение из 1917 года. Это он схватил и опрокинул сзади Подберезкина и считал его теперь, видимо, личной добычей. По дороге он несколько раз подходил к саням и говорил под хохот товарищей:

— Вахер, махер, захер! Что, Фриц, приуныл? Херштеешь ду? Воитель тоже, такая мать! А шинелька-то на ем ничего. — Он пощупал материю на Подберезкине. — Должно офицер. Ты, Фриц, кто ты есть: сержант ай офицер?

Подберезкин качал головой или отвечал по-немецки. И Тимошка удрученно сплевывал.

— Неученый. Не понимаю. Такое зло берет, — ни единого слова не понимаю. Так бы ему пулю и пустил, не могу выносить, как по-чужому говорят. А есть наши понимают. Ровно в сказке.

Когда сани подъехали к кострам, Тимошка подбежал к одному из них и, прикладывая руку к козырьку, отрапортовал громко поднявшемуся ему навстречу военному:

— Так что в плен одного забрали и машинку доставили, товарищ полковник. Хотел я его кончить, но, говорят, у нас языка ищут.

Товарищ полковник! — звучало это для корнета довольно дико. Он посмотрел на поднявшегося: выправка, несомненно, военного, чувствовалась школа, бритое молодое лицо, умные глаза, но во всем облике, в особенности в губах, всё-таки что-то простонародное, верно — первое поколение после станка или сохи. «Ну что ж, не плохо, — думал он, глядя дальше на военного: шинель с погонами, хуже, чем было раньше, но всё же отбор, новая знать».

— Вставай, Фриц, приехали, дорогой гость! — закричал Тимошка и, приподняв Подберезкина, поставил его на ноги. От долгого сиденья у того задеревянели ноги, он покачнулся. — Ишь закланялся! Еще поклонишься земле сырой, успеешь. Шинельку-то с него сниму, товарищ командир?

— Ты, Семухин, мне родину не позорь! — ответил холодно полковник. — Опять самогону напился — несет за версту. — И он брезгливо отстранил Тимошку в сторону. «Говорит он еще по-простонародному, — подумал Подберезкин, — но уже брезглив, уже отстраняется. Это было новое».

Глядя на обоих, корнет осознал вдруг почему-то впервые с такой ясностью и болью, что его время, его Россию отделяла от новой целая толща лет и событий; прошла Россия за эти годы какой-то свой путь, и текла в ней уже собственная, незнакомая ему, жизнь, — страшная, жестокая, нищенская, но своя; он был чужой здесь, а эти вот, у костра, — они были дома.

Командир партизан осмотрел пристально Подберезкина, задержавшись взглядом на его плечах с узкими полосками особрука. Знал ли он, что это значит, и догадается ли, что перед ним — русский? — подумал Подберезкин.

— Зи шпрехен руссиш? — спросил резко командир.

«Догадался!» — подумал Подберезкин, чувствуя легкий холодок во всем теле и покачал головой: — Nein, bedauere.

Но полковника гораздо больше интересовал захваченный мотоцикл, — наклонившись над машиной, он осматривал повреждение, причиненное Рамсдорфом.

— Где докторша? — спросил он вдруг, обернувшись к партизанам, и, не дождавшись ответа, продолжал: — Да, уехала сегодня. Ну, завтра допросить. Может, машину справит. А на ночь — в землянку. Дать ему чего поесть — вишь дрожит, должно от страху.

Подберезкин закусил губы, едва сдержав себя, чтобы не ответить. Страху перед ними у него не было. Дрожали ноги, закоченевшие от долгого сиденья, с этим он ничего не мог поделать.

— Да что ж, товарищ полковник, — вмешался Семухин, — чего же ждать до завгра. Я его и сам допрошу. Эй, ты, Фриц, махер, пахер! — закричал он корнету, тыкая в машину. — Голова твоя варит? — Машина капут — починить нам можешь? А то башку с плеч долой, слышь!

— Die Maschine ist beschädigt — сказал Подберезкин сухо, — Kaputt.

Тимошка стоял с выпученными глазами. — Я и говорю капут. Ишь, сукин сын, понимает! — изумился он.

— Ступай проспись! — сухо сказал полковник и снова отстранил рукой Семухина. Тот придал лицу глупо-комическое выражение и отошел под хохот обступивших его партизан.

Командир скоро ушел в барак. Партизаны опять улеглись к огню. Один из них, подтолкнув Подберезкина, знаками велел сесть ему поблизости. Над огнем висел черный котел, слышалось бульканье, шел пар, пахло рыбой, должно быть, они варили уху. Партизан рядом с Подберезкиным, мужик лет 45-ти, был одет в стеганую ватную куртку, в длинные охотничьи сапоги; на голове сидела бурая баранья шапка подстать его курчавой маленькой бороде и загорелому лицу. Вид у него был такой крестьянский, мирный и добропорядочный, что Подберезкин удивился — с чего он в партизаны пошел? Называли его Никифор. Когда Подберезкин сел, тот достал из мешка деревянную ложку и маленький котелок, и наполнив ухой, подал корнету.

— На, поешь — веселее будет. Тоже живая душа. Пить-есть просит.

Сначала партизаны не обращали на Подберезкина никакого внимания, и он с наслаждением стал хлебать

уху; живо припомнилось детство, ужение рыбы с крестьянскими парнями из деревни, костры, зажженные на берегу, и котелки с горячей пахучей ухой — какой они возбуждали голод!.. А сидевшие тихо говорили, продолжая, видно, старую беседу. Подберезкин осмотрелся: у этого костра сидело восемь человек, у другого побольше. Здесь все на вид были деревенские, одеты в армяки, полушубки, лишь двое военных в красноармейских пилотках. У того костра все были моложе и все в солдатском, там громко смеялись, и становилось всё шумнее. Громче всех кричал Тимошка, несоразмерно ударяя по отдельным слогам и словам: он видно еще выпил.

— Ишь, герой, раскричался! — заметил Никифор, — им, брехунам, теперь самая развеселая жизнь. Работать не надо, знай лапай, не зевай. Война ему — что милая жена. Не наши дела.

Вечер был для апреля на удивление теплый — первый по-настоящему весенний вечер. Поев, часть сидевших разошлась; остались сидеть четверо, в том числе и мужик, подавший Подберезкину ухи. Корнет старался разгадать — кем могли быть раньше эти партизаны? Никифор был несомненно крестьянин, из крестьян же и сосед его — молодой белокурый парень в овчинном полушубке с лицом явно не городским и не городской же речью. А два другие были уже нового, неопределимого для Подберезкина типа: они не походили на фабричных, но не были и деревенскими парнями старого пошиба. Оба были лет тридцати; оба в солдатских шинелях, один всё курил трубку, доставая махорку из яркого ситчатого кисета, каких Подберезкин не видал уже лет 20; припомнил он теперь эти кисеты с нежностью. Сколько певали о них раньше девки песен — «Сшила милому кисет»... И уже по кисету одному можно было угадать, что парень этот не городской. Про его существование сидевшие у костра, видно, совсем забыли: корнет привалился в сторонке под теплым воздухом и притворился

спящим. Все четверо несомненно знали друг друга и раньше, происходили из одного места, ибо в разговоре упоминали общие имена. Скоро Подберезкин понял, что принадлежали они все к одному совхозу, оба парня в шинелях были там трактористами, говорили всё о какой-то машинной станции. Деревню русские, уходя, сожгли, скот увели немцы, позабирали на работы в Германию население; кто мог, тот разбежался по лесам, по партизанам; двое в шинелях были раньше в Красной армии, попали в плен и бежали вместе из немецкого лагеря от смертного боя и голода.

Корнет лежал с закрытыми глазами, наслаждаясь теплом, и различал голоса уже не смотря.

— Ишь пленный-то заснул, — раздался близко голос Никифора, и сквозь ресницы Подберезкин увидел, что все на него смотрели. — Офицером будет — видно по мундиру и по обличию. Погибшая его дела — либо Семухин кончит, либо в тылу голодом помрет. На советских харчах немец долго не протянет.

— А чего лез? — отозвался парень в шинели постарше, судя по голосу, без злобы, лениво — просто слова подвернулись на язык.

— Их тоже, брат, не спрашивают. А человек, видно, ученый, не нашим чета, — мужик кивнул головой по направлению барака. — У нас такие-то офицеры были в ту войну, ученые, как полагается, не то, что теперь — мужик мужиком. Войска без офицера — что без головы. Да беда, говорят, коль голова худа. Я и то не пойму: мужики вот мы, а ученых немцев гоним. Только что валом и берем. Войны ждали, что праздника, а вот она что получилась.

— Заграницей дураков-то тоже подходяще. А кто оборет — известно дело: жидова...

— Как бы тебя, дядя, за такие-то слова в ящик не сыграли, — сказал другой из парней в шинели.

— А что, неправда?

— Правда, парень, была, да быльем поросла, — отозвался Никифор. — Правды нонче не ищи. Думай да терпи — вот и вся наука. Что было, то забыли. Раньше я всё мозговал, правды искал. А теперь себе урок положил — велят, делаю, сполняю, а ответа не беру — ни перед Богом, ни перед людьми. Много греха в миру. Забыли люди, что по Божьему веленью и подобию сотворены, вся разгадка тут.

— Бога друг, давно в расход вывели, — отозвался тот же парень и так же лениво, без всякого убеждения.

— Вот то-то и есть, что вывели. А что осталось — дикое поле. Всё измяли, сравняли. А отцы говорили: без Бога ни до порога. Без Бога страшный становится человек.

Подберезкин прислушивался с волнением к словам Никифора, узнавая в нем старого русского крестьянина, говорившего всегда своей собственной, особенной речью, того русского крестьянина, о котором он столь часто вспоминал в Европе, где ему всегда казалось, что всеобщая грамотность и радио еще не культура. Культура это — память о Боге — казалось ему. У Екклезиаста стояло: «Начало премудрости есть страх Господень». Этот русский мужик, дикарь на европейский взгляд, был, вероятно, ближе к мудрости мира, чем средний европеец с его радио и автомобилем. Впрочем, уже до революции таких крестьян, как Никифор, становилось всё меньше и меньше.

— Я тоже так, папаша, думаю, — вступился молодой белокурый парень, — насмотрелся я делов, — вижу: не могут одни люди мирно промежду собой жить. Одна смерть кругом, смерть да обман. Он тебя, а ты его. А кто виноват — не уразумею. А чую, можно бы по-другому. Смотрю, гляжу на звезды — обмирает душа: до чего хорошо можно жить на свете. А вот боюсь — побьют и не узнаю, что из себя жизнь была.

— Смерти не бойся, грехов, худого бойся.

— Третьего дни, — продолжал парень рассказывать, не обращаясь ни к кому, как будто самому себе, — ходили мы с Семухиным на разведку, как знаете, до соседнего села; ну, пробираемся обратно до лагеря, по опушке идем. День — не день, а песня, всё тебе поет — солнышко, птицы, лес. Только далече где-то легкие орудия бьют, такая мать... так сердце и обливается — почто жить мешают, песне жизни? Ползем по опушке, зараз я вижу — немец, часовой, у сосны приткнулся, ружье рядом стоит. Я — Семухину, а он поотстал — знак: аккуратней, мол, не шабарши, а сам дивлюсь: как немец нас не заслышал? И вижу — спит! Ружье к сосне поставил, ворот мундера расстегнул, куфайку приоткрыл, пригрело солнцем — и спит, как дитя малое. По уставу учили: либо бить немца, либо в плен, а я не могу — спящий человек, как спящего обидеть? Один так бы и ушел, оставил немца — пускай досыпает, а Семухин — что с него взять, ишь орет! — как подкрадется, гадюка, мне и опомниться не дал, штык прямо в грудь всадил, тот и не пискнул. Живьем, понятно, нельзя было взять — закричит, деревня занятая близко; стрелять — тоже услышат, одно — штык. Семухин его живо и обкарнал: куфайку снял, на себя оболок, сапоги стащил, перевязал, за спину себе бросил, карманы обшарил и дале пополз. Мне даже слова не сказал. И я дурак дураком остался. Мой был немец, а Семухину достался. Остался я один, смотрю — был человек и нету человека, как спал, так и не проснулся. А глаза открытые — страх! Никак не могу понять, что это такое. После всех этих делов совсем как чумной хожу. Себе не рад. Кушаю, а ровно кто чужой, не я, кушает. Плохой я солдат.

— Смерть да жена — Богом суждена. А спящего человека бить это точно, что дитя малое обидеть. А с него, что спросишь. Семухину, говорю, война — что мила жена. Совести ни на грош. Бей да водку пей, грабь да бабу лапь. Вот и вся наука.

У того костра запели, но песне мешал пьяными выкриками Семухин и другой пьяный голос. Там от них хотели, видно, отвязаться; было слышно, как уговаривали Семухина лечь спать; а тот всё заявлял громко, что пойдет в село за бабами и за самогоном. В конце концов он действительно поднялся и, неверно ставя ноги, пошел; заметив по пути сидящих у другого костра, повернул к ним. Подойдя, он вдруг разглядел Подберезкина, открыл в изумлении рот, пошарил по боку рукой, ища, видимо, оружия, и завопил:

— Немец! Фриц! Кто позволил? — застрелю!

— Ступай, ступай, Семухин, — отозвался один из парней, — пока командир не вышел. Он тя запрет.

— Меня-то? — переспросил грозно Семухин, становясь в позу, но тотчас же смяк, улыбнулся глупо и, позабыв про Подберезкина, пошел дальше; за ним потянулся и его товарищ. С треском пробираясь сквозь лес, что-то выкрикивая, они пропали. Сидевшие у костра замолкли, стало совсем тихо, начало чуть смеркаться, Подберезкин хотел посмотреть на часы, но во-время спохватился: были они в потайном кармане брюк, пока еще не нашли и не отняли. К удивлению Подберезкина, его почти не обыскивали; впрочем обеспокоен он был лишь за письмо Паульхена, остальное могло пропадать. У другого костра опять запели, стройно, негромко. Мелодия была новая, корнету незнакомая.

«Москва моя, страна, моя...
Любимая...
Никем не победимая»...

— разобрал он слова.

Москва! Его любимый город, сердце России! Одно имя это приводило его всегда в трепет. И они, стало быть, любили ее. И для них существовала Москва, может быть, иная, не та Москва, белокаменная со старинными церквами и переулками, которой он бредил даже во сне,

но всё-таки Москва — не СССР какой-то! «Любимая, никем не победимая!» — повторил он шопотом. Что ж, это была правда! Никто никогда Москвы не побеждал и не победит, верно, никогда. Гордость охватила его, но и боль, что он-то сам Москве уже не принадлежал, был изгоем: эти, что пели, были ближе к ней, имели уже больше прав на нее. И пели они про их Москву, новую, ему неведомую, может быть, он ее и не узнал бы. Но всё-таки, всё-таки — думал он — она была и его Москва, и он принадлежал к ней; Москва была не только те новые дома, которые они там понастроили; Москва — это всё прошлое земли русской; его у него отнять не могли. Трудно было удержать себя, чтобы не вскочить, не закричать по-русски, не сказать, что он сам русский. Не страх перед ними удерживал его. Стояла за ними новая жизнь, целая толща иных лет, и он чувствовал, что был бы им и всему миру всё-таки чужим, во всяком случае первое время. Пыль московская на шляпе всё-таки не Москва. И память до гроба и любовь, и тоска всё-таки не родина, никогда не заменят ее. Он слушал песню, и что-то сладостное и горестное бродило в душе, словно расставался он с чем-то бесконечно своим, самым любимым. «Москва моя, страна моя!»... Так вот за что они бились и умирали, почему побеждали. За Москву, за русскую страну... Он шел сюда биться за Россию, и они бились за Россию, во всяком случае — за русскую землю. Во всем было какое-то противоречие, но это было, тем не менее, так. И каждый был по-своему прав — и он и они.

Из-за головы корнета широко повернул луч и лег плашмя на землю, застилая всё разом светом: сидящих перед костром, озеро, дальние берега с лесом. До сих пор Подберезкин не замечал ничего кругом, кроме партизан, и тут словно очнулся. Весна была во всем! Лежал он под черемуховым кустом, оперенным уже первой нежной, зелено-желтой листвой, как пухом: вверху на

темных лапах елей стояли тонкие свечи светлых побегов, а лес весь дышал теплом и влагой. Звонко катила свою трель малиновка, запевали важно, точно пробуя голос, отдельные дрозды, вскрикивала кукушка. От земли шел горько прелый запах, свежо тянуло от озера, у берегов вздымался над водой легкий пар, а на середине сиял свет, как тонкий ледок. Поведя глазами, корнет увидал сбоку фиалки и пролески — первые русские цветы после двадцати лет! Он потянулся и сорвал белую пролеску и положил в записную книжку на грудь и тогда только спохватился: он же в плену и книжку могли отобрать; но никто не обращал на него внимания. Впрочем трое помоложе перешли к другому костру, оставался один мужик — тот, который ему нравился. Мужик ворошил угли в золе. Солнце опять повернуло лучом, как крылом ветряной мельницы, роняя его на ольшанник сбоку, сразу ставший совершенно оранжевым. И живо вспомнилось, как такими весенними вечерами ходил он с отцом на охоту на вальдшнепов в соседний ольшанник, как с трепетом, затаив дыхание, зажав ружье, стояли они в оранжевом дыму ольхи, пока, курлыкая, не налетала первая пара, уже трудно различимая на темнеющем небе. Корнет почувствовал этот трепет настолько сильно, как будто бы не вспоминал он, а был на охоте на самом деле; да ведь и ольшанник находился отсюда всего в двенадцати верстах! Однако до чего всё это было невероятным, как неожиданно, стремительно случилось — поездка утром с Паульхеном, его смерть, плен и вот — партизанский лагерь. Паульхен, Паульхен! сам вызвался поехать провожать его и погиб из-за него! И его положение было отчаянное; русских добровольцев красные расстреливали вне зависимости от того, что они делали у немцев! Надо было во что бы то ни стало запираться, а всего лучше бежать. Он повел глазами — в сущности его совсем не охраняли, даже сейчас можно было попытаться отползти незаметно в сторону и скрыться в лесу. Дорогу он нашел

бы, места были знакомые. Но какая-то апатия и нерешительность овладели им, даже мысль о свободе не привлекала. Неожиданно он заметил, что партизан, сидевший одиноко у огня, уже почти совершенно потухшего, смотрел на него.

— Задремал, сирота? — спросил вдруг мужик.

— Bitte, verstehe nicht, — отозвался Подберезкин, весь сразу напрягаясь.

— А ты не маши головой. Это я промеж себя говорю, у нас только с собой и поговорить можно, с чужими упаси Бог. Да вот разве что с тобой — немым.

— Bitte? — повторил Подберезкин.

— Ляжи, ляжи, знай! — проговорил мужик. — Смотрю я на тебя — и всё мне старина вспоминается. Ну точь-точь ты барин старый, Подберезкин, царствие ему небесное, как старики говорили, только что помоложе да без бороды. А то совсем одна обличья.

Подберезкин едва не прянул с криком — до того неожиданны были эти слова, но мужик смотрел уже на сторону, говорил задумчиво, точно сам для себя:

— Хороший был хозяин, племенных жеребчиков разводил, после перебили всех товарищи. Человек был степенный. Помню, к отцу в избу заходил, не гордился, руку подаст: как живешь, Миколай Ефремович? Это мой отец так звался. Квасу выпьет, «хороший, скажет, у тебя квас». Никого не облаял на своем веку, не то, что теперь начальство с совхозу: что ни слово, то лай да матюк.

Он опять посмотрел на Подберезкина, как бы ожидая ответа. И корнету мучительно хотелось отозваться, поговорить с этим человеком, знавшим его отца, по-настоящему поговорить о России, о своих местах — за двадцать лет представлялся первый раз такой случай. Невыносимо было притворяться чужим, не сметь понимать родного языка. Но кто был этот мужик?.. Он напрягал память.

— Русской речи не понимаешь, — продолжал мужик, — а говорю: жизнь была хорошая, не верю, что и

была. Тугие пошли теперь времена. Разорили Россию, как раз дунули, дивлюсь я, как могло такое быть. Вы вот, немцы, пришли, народ надеялся — может теперь мужикам землю воротят. Не могу я без своей земли, живу, что в чужом краю потерянный. Я ее, землю-то, больше бабы миловал, холил, гладил. Бабу-то свою и бивал, один раз по спине кнутовищем вытянул, а на землю руки не подымал. Дурного слова земле не сказал. А вы, немцы, вышло, совсем глупый народ. Россию под себя поставить хотели — слыханное ли дело! Всё пожгли, пограбили, народ угнали — что татары. Вон у меня и избы не осталось. Ночевать негде. Я на тебя не злоблюсь. Никс гут война, — продолжал он, обращаясь к Подберезкину. — Твоя дела тоже подневольная. А теперь вот Семухину достался. Мать сердцем о молитве проси. Нет сильней материной молитвы. Со дна моря вызволит.

Этот мужик принадлежал той России, что знал и любил корнет, и он чувствовал себя здесь тоже как в чужом краю. Откуда, кто он был, как его звали? Подберезкин вглядывался в лицо мужика, стараясь сообразить, кем он мог быть? Кто из ребят, что помнил он из тех времен, мог обратиться в этого мужика? Никто подходящий, однако, не отыскивался; очевидно происходил он из одной из соседних деревень. Так и тянуло спросить: жив ли тот или этот; с трудом корнет хранил молчание.

Над озером широким косяком потянули гуси, покружившись над водой, стали снижаться.

— Ах, добыча хороша была бы, — сказал мужик.

И не успел он кончить, как рядом звучно хлопнули два выстрела и одна птица тяжело упала в воду. И сразу же из барака выскочил командир и закричал:

— В чем дело? Кто стрелял?

— А гуся добыл, товарищ командир, на ужин, — отвечал молодой партизан от другого костра, снявший рубаху и стаскивающий сапоги. — Теперь плыть надо, такая мать, бр.... студено.

— А я тебя за такую забаву посажу под арест. Как смел стрелять в лагере — устава не знаешь?

— Да что, товарищ полковник, жалко добро отпущать. Птицу как рукой снял. Прикажете сплавать, аль пускай пропадает.

Командир ничего не ответил; взгляд его упал на Подберезкина.

— Это что? Под стражу! Стуков! — закричал он. Поднялся молодой партизан, — Отведешь в землянку и встанешь на посту. Уйдет — голову сниму.

В землянке были устроены нары, на них лежала солома, еще недавно здесь, видно, спали. В полуоткрытую дверь Подберезкин видел ветви ольшанника, чуть качавшиеся на ветру, и сквозь них дальше озеро, как кипящее золото. Он привалился и услышал, что кто-то шлепнулся в воду под гогот партизан и поплыл, сильно ударяя ногами.

— Васька, — кричал чей-то голос, — оборвут раки гузно, что девки скажут!

И невольно вспомнились подобные сцены из гражданской войны. Скоро всё стихло, и он заснул.

XIV

После пленения прошло три дня, а Подберезкина попрежнему не опрашивали, никуда не вызывали, совсем не тревожили. Для видимости его держали под стражей, да и то только ночью: днем же выпускали, он почти беспрепятственно ходил по лагерю. Все дни он проводил, сидя под солнцем на берегу, наблюдая, как партизаны ловили неводами рыбу, по горло заходя в воду, переругиваясь для смеха; ловилось много окуней, подъязков, мелкой щуки; каждый день к обеду и к ужину варили в котлах уху и, как и в первый вечер, наливали котелок Подберезкину; давали и хлеба. На берегу оставался он часами, наслаждаясь светом, теплом, покоем, совсем забывая про войну, про свое положение, думая о родных местах, о знакомых, оставшихся здесь, о Леше, иногда о Наташе. Лишь изредка, как стрела, пронзала мысль о плене, о необходимости бежать, но пока апатии преодолеть он не мог.

На пятый день с раннего утра в лагере началось какое-то оживление. Выйдя из землянки, Подберезкин увидел несколько крестьянских телег, нагруженных всяким барахлом; на двух передних лежали раненые. Стараясь быть незамеченным, он стал пробираться к озеру и вдруг лицом к лицу столкнулся с Наташей. Она направлялась, повидимому, к раненым в сопровождении начальника лагеря и молодого нового офицера. Корнет остолбенел и остановился. Позднее он сообразил, что растеряйся Наташа, как и он, дело его было бы конченное. Но Наташа прошла мимо, едва задержавшись на нем взгля-

дом, и лишь по тени пролетевшей по ее лицу, он понял, что она заметила и узнала его.

— Это что за безобразие! Кто пленного выпустил? Назад! — закричал начальник лагеря.

Только очутившись снова в землянке, Подберезкин вышел из остолбенения. Наташа была здесь! И как переменились их роли: теперь она была на свободе, а он сидел в плену у них. Но как она освободилась, бежала ли, или же немцы сами ушли из села? Почему только они оставили пленных?.. Он был рад и не рад, что встретился с Наташей: рад, что вновь, еще раз, видел ее, узнал, что с нею ничего не случилось, и в то же время было неприятно, что она увидела его в этом состоянии — без ремня, небритым, грязным, в том ужасном виде, какой приобретают скоро пленные, несмотря на все старания не опуститься. Он уже самому себе стал противен. Глупее всего было именно теперь сидеть взаперти в землянке. Начальник отряда встречал его и раньше свободно гуляющим по лагерю: с чего он сегодня так взбесился? И что предпримут они теперь с ним? Неужели Наташа отречется от него, может быть, даже выдаст? — И тут же он устыдился своей мысли.

А снаружи в лагере движение не прекращалось. Слышно было, как подходили новые подводы. Вдали глухо рокотала канонада, где-то явно происходило сражение, оттуда, вероятно, и подвозили раненых. Начиналось на фронте что-нибудь: долгожданное немецкое весеннее наступление?.. Лежа и раздумывая так, Подберезкин ясно различил вдруг тонкое заунывное пение моторов, разраставшееся и опять смолкавшее. Где-то вблизи кружились самолеты, по звуку — немецкие. Уж не заметили ли они лагерь? — пришло ему в голову. И тут же, как порыв ветра в бурю, налетел оглушающий шум, будто рушился весь мир, и над самой головой затакали пулеметы Лагерь обстреливали с воздуха! Он приподнялся на нарах — если это были только истребители, то лучше

было оставаться в землянке, если же бомбовозы... Вероятность, что бомба попадет именно в землянку, была в сущности ничтожна. Шум кончился столь же молниеносно, как и возник. По лагерю бегали, громко кричали, ругались. Если немцы открыли партизан, надо было ждать карательного отряда, стало быть, возможно, и освобождения. Но Подберезкин не знал — хотел ли он этого теперь или нет?

А к полудню гул сражения приблизился: били явственно танковые орудия: реже издалека прорывались, буравя воздух, бризантные снаряды крупного калибра и разрывались где-то сравнительно близко. Из землянки трудно было решить, кто бил — русские, немцы ли и по чему били? Чутьем он определял, что артиллерия была русская, а танки били немецкие, и, возможно, по направлению лагеря, ибо гранаты стали ложиться ближе и кучнее.

Из раздумья вывел Семухин, вдруг появившийся в двери землянки.

— Вставай. В штаб по начальству требуют.

В «штабе» — деревянном сарайчике — сидели вокруг стола с картой командир отряда, которого Подберезкин уже знал, — суховатый, ширококостный человек с белесыми бровями и красноватыми глазами, затем молодой офицер в довольно хорошо сидящей форме, с погонами майора, Наташа, и с краю — какой-то штатский, человек лет сорока пяти еврейского вида, с небритым, заросшим щетиной лицом Почему Наташа очутилась сразу в этом партизанском штабе — была она всё-таки коммунисткой, большевичкой?..

— Имя, фамилия, часть и чин? — спросил с места в карьер командир партизан, обращаясь к еврею.

Тот перевел, прибавляя от себя слова в пояснение, оказался он переводчиком

— Karl Birkholz, — твердо ответил корнет. Настоящих бумаг он с собой никогда не носил.

Допрашивали трафаретно: куда ехали на мотоцикле, какое имел поручение, где стоит и какие оперативные задания имеет часть? Переводчик переводил все эти вопросы с русской речи на немецко-еврейский арго, так что Подберезкин с трудом его понимал. «Очевидно Наташа его не выдала — радостно думал он, — не сказала, что он русский; иначе они не призвали бы этого еврея в переводчики». Сама Наташа отлично понимала по-немецки и, если бы не переводчик, может быть, удалось бы ей что-нибудь сказать. Кроме нее никто из сидевших за столом по-немецки, повидимому, не говорил.

Подберезкин, отвечал, стараясь говорить сложными фразами, редко употребляемыми словами; переводчик половины не понимал, в переводе путался, много раз повторял одно и то же к явной досаде командира партизан.

— Плохо ты, друг, вижу, кумекаешь — сказал он подконец саркастически.

Переводчик смущенно улыбнулся и смолк

— Отпустите его, полковник, — вмешалась Наташа к радости Подберезкина. — Сами справимся, я понимаю по-немецки.

— Переводчик, можете выйти, — приказал командир, и тот поспешно и смущенно вышел.

Когда Наташа перевела первый вопрос, корнет различил веселые огни в ее глазах, хотя она сделала сердитое лицо. Сам он едва находил силу, чтобы подавить улыбку или даже не сказать ей чего-нибудь лишнего. Командир отряда допытывался, как велики силы немцев в окрестности, спрашивал всё о каком-то обозе с аммуницией, о том, знали ли у немцев о его лагере и что про него говорили Смотря прямо в глаза Наташе и стараясь придать лицу каменное выражение, корнет отвечал, что ничего не знает, служил в интендантстве, ездил узнать насчет фуража. Наташа медленно переводила, стараясь сделать его роль еще более безобидной.

— Я так и полагал, что от него многого не узнаешь.

Парень, видно, не боевой, в плен не стоило брать. Крыса интендантская. Отвести назад!—закричал он Семухину и обратился потом к Наташе: — скажите ему, что ежели набрехал, ежели он другой кто — шпион фашистский — узнаю, скормлю ракам, как пить дать

Наташа перевела и вдруг прибавила от себя. — Вам надо уходить отсюда Чем скорее, тем лучше Скажитесь больным, чтобы я могла вас видеть — И прежде, чем он смог что-нибудь ответить, сама обратилась к главному:

— Говорит, что болен. На грудь жалуется, разрешите после осмотреть?

Командир отряда кивнул молча головой, что-то записывая.

В эту минуту в воздухе послышался расширяющийся и будто описывающий кривую визг, командир отряда успел что-то закричать, вскочил и бросился на землю офицер сбоку, и с грохотом, выворачивая окна и двери, разорвался где-то совсем близко снаряд Корнет увидел, как упал командир, а Наташа, отбежавшая раньше от стола, только качнулась на сторону; сам он тоже устоял. В ушах гудело, что-то ходило, переливаясь в голове, но он разобрал, как спросил офицер подымаясь·

— Живы?

— Живой, — отвечал командир с усмешкой, тоже подымаясь, и стряхивая пыль. — Из крупной бьют фрицы Видно, пронюхали.

Он повернулся к офицеру:

— Ставлю вам боевую задачу: со взводом партизан выяснить позицию, нащупать противника и войти с ним в соприкосновение. Противник может подойти разве что лесом от хуторов. На большой дороге стоят посты — донесения не было. Справа река, как вам известно. Если надо — принять огонь на себя! Я пойду с тылу, с выселок Соединимся у оврага в лесу Поняли?

— Так точно, товарищ полковник.

— Ну, с Богом — неожиданно сказал тот и обнял офицера — Ты как пойдешь?

— А я оврагом поведу.

— До победы!.. Товарищ Есипцева, вы идите в траншею, нечего вам тут оставаться. Ваше дело позднее будет. А пленного, Семухин, обратно в землянку. Кругом марш!

Подберезкин посмотрел на Наташу, та тоже взглянула на него и повела чуть плечами, как будто хотела сказать: ничего не поделаешь, надо подчиниться.

Когда Подберезкин шел к землянке, майор уже выстроил взвод. Одеты все были сбродно, кто в шинель, кто в полушубок, но у всех были автоматы и ручные гранаты.

— Бойцы Красной армии, партизаны, — кричал офицер. — Перед нами почетная задача нащупать и остановить противника Трусам пощады не будет. За родину! Вперед, солдаты, марш!

У Подберезкина дрогнуло сердце — так знакомы были эти слова, эти минуты перед боем, с какой охотой он бы пошел сам с ними!..

Близких попаданий больше не было; из лесу доносились лишь отдельные винтовочные выстрелы и позднее частый бой пулеметов Уже пополудни всё, однако, стихло Из землянки Подберезкина, к его досаде, не выпускали. Часовой, рябой молодой парень с толстыми губами, на все попытки корнета объясниться знаками: боленде, позови врача, он даже сказал доктор фрау Есипцев, — упорно молчал, а подконец свирепо захлопнул дверь в землянку, чуть не придавив пленному руку.

— Не велено пускать, тебе говорят!

С досады Подберезкин улегся на солому и стал раздумывать, как бы устроить побег, а перед тем повидать Наташу? Если попадется подходящий часовой и останется та же свобода, что у него была все эти дни, то уйти было бы не трудно: нехватало только одежды — в ши-

нели немецкой бежать было рискованно. Надежда была, что кто-нибудь из партизан зазевается и оставит свою одежду у костра Но его могли не сегодня-завтра перевести в другое место; надо было спешить Не повидав Наташи, не простившись с ней, он не хотел, однако, уходить, хотя она и сама предупредила его.

Рябой парень, наконец, ушел; сменил его Стуков, уже стоявший раз на посту у землянки в первый вечер, — живой, непоседливый парень, с трудом несший постовую службу. Он сам, видно со скуки, растворил дверь в землянку, посмотрел на Подберезкина и сказал.

— Не было беды, тебя, урода, взяли. Ребята сегодня победу празднуют, а я с тобой цацкайся.

Он отвернулся, сел на пень и стал крутить цыгарку

Под вечер лагерь наполнился новыми людьми с подводами; большинство были красноармейцы с винтовками, с автоматами; появилось также несколько баб и молодых девок. На берегу зажгли костры, и по шуму, по крикам Подберезкин понял, что день был удачный, — немцы, вероятно, потерпели поражение. Голоса становились шумнее и шумнее, уже пели песни.

Часовой сидел и роптал Позднее к нему подсел другой партизан, тоже молодой парень, в одной гимнастерке с расстегнутым воротом, с красным пьяным лицом, всё время блаженно улыбавшийся.

— Стуков, друг милый, — кричал он. — Вина седни отбили целый поезд, хоть залейся. Бабы все пьянехоньки.

Стуков сплюнул.

— А ты поставь. Что пьяного-то играешь.

— А и поставлю, для друга ничего не жалею, вином, говорю, хоть залейся.

Он исчез и минут через пять вновь появился с початой бутылкой коньяку.

— Видал! Раньше, говорят, один царь пил этого сорту.

Он налил коньяку в кружку. Стуков залпом опорож-

нил ее до дна, достал из кармана сухарь, понюхал и заел.

— Ничего вино, как есть, — пробирает.

И через минуту продолжал:

— И как раз мне, сироте — ни маковой росинки не досталось. Днем в походе не был, а сейчас вот на посту сторожи. А Настька там?

— Настька там — веселая. Пляшет, груди трясутся, что кутята в мешке. Ах, хороша девка, что печь жаркая! Ребята и то уже смекают, как бы ее в кусты взять. И пойдет — девка, что кобыла, — на всякого жеребца ржет.

— Анютка — гулящая девка, — продолжал Стуков.

— Анютка — она те полк вынесет. Но тоже с толком надо — сходишь к бабе, а потом всю жизнь майся, за одно-то за удовольствие.

Они выпили еще по кружке, и Стуков явно захмелел. Поведя глазами, он вдруг заметил пленного и на мгновение остолбенел, потом схватил ружье и закричал пьяно:

— У, зараза, убью! Весь вечер из-за тебя, басурмана, тут майся!

— А ты припри колышком дверь, куда он уйдет. Кругом лагерь, наши, некуда ему уйти. А винта в мох зарой. Утром возьмешь. Командир сам пьяной.

На радость корнета партизаны захлопнули дверь и стали что-то прилаживать снаружи. Повозившись недолго, потолкав дверь, оба, повидимому, ушли, ибо у землянки совсем стихло. А шум в лагере усиливался, непрерывно играли на гармонии, нестройные голоса подхватывали песню, но быстро смолкали, всё покрывал хохот и громкий женский визг. Полежав немного, корнет подошел наощупь к двери и попробовал ее открыть; вначале дверь не поддавалась; надавив плечом посильнее, он всё-таки приоткрыл ее на узенькую щель; снаружи было еще сравнительно светло. Если бежать, то надо было, конечно, сегодня, когда они все там пили; только как перед

тем повидать Наташу?.. Прежде всего надо было выждать темноты. Смутно он надеялся, что, может быть, в темноте Наташа как-нибудь проявит себя. Весь день корнет не ел, но голода и теперь не чувствовал; тело было напряжено, словно пронизано током. Иногда у двери раздавался шорох, он вскакивал в испуге, что постовой вернулся, и в надежде — не Наташа ли? Прошло так, по его мнению, около часу; снова приотворив дверь, он увидел, что снаружи уже стемнело Можно было уходить Наташа, очевидно, не могла или не хотела появляться. Присев на нару, он посидел немного, по старому обычаю, перед дорогой, подумал и собрался уже вставать Но к землянке кто-то тихо подошел, ощупал дверь; он слышал с замиранием сердца, как быстро двигались руки. — Кто это мог быть? Потом вдруг легко постучали.

— Wer ist da? — спросил он негромко.

— Андрей Николаевич, это я, — отвечал Наташин голос. — Вы один?

— Да, — отвечал он шопотом.

Опять наступило молчание. Слышно было только, как работали ее пальцы. Через мгновение дверь приотворилась, и тень Наташи возникла на пороге.

— Вам нужно бежать! — начала она быстрым шопотом: — Сегодня, немедля. Завтра вас хотят перевести в тыл. Я вам принесла шинель, — продолжала она, раздеваясь. — И пилотку. Переоденьтесь... Скорее, скорее! — торопила она.

Он машинально послушался, скинул немецкую шинель, надел другую, всё молча, не зная еще, что сказать.

— Готовы? — спросила Наташа. — В кармане там немного провизии.

— Спасибо, но идемте вместе, мы пройдем заграницу. Я был бы счастлив, Наташа!..

Она засмеялась:

— Не говорите глупостей. И скорее, что называется, — без сантиментов! Дайте, я вас обниму на дорогу.

Корнет ощутил ее лицо поблизости, ее дыхание, блеснули ее глаза, губы, руки ее обвились вокруг его тела.

— Вы хоть и чужой, а совсем, как свой, странно! — шептала она. — Это оттого, что вы Россию любите — я почувствовала сразу. А я без России и дня не прожила бы, повесилась бы! Как представлю себе: всю жизнь у немцев, — лучше умереть! — Она приостановилась, потом припала жадно к его губам, было слышно, как билось ее сердце. — До свиданья, а вернее — прощайте. Вам там лучше...

И прежде, чем он успел что-нибудь ответить, всё не веря, что они навсегда расстаются, она уже освободилась из его рук и скользнула к двери.

— Чуть не забыла, — вдруг добавила она: — в лесу постовые. Пароль — «Пешка». Я случайно узнала. Ну, всего вам хорошего, Андрюша, вспоминайте иногда . — И она скрылась в темноте.

В первое мгновение он хотел броситься за нею, рванулся телом, но тотчас же опомнился· подвел бы и ее и себя на смерть. Да и бесполезно было; лучше, конечно, — прощайте; были они все-таки из двух разных миров. Прислушавшись к шуму лагеря, он вышел наружу. Как раз перед ним лежала на земле, как ковер, полоса света от костра, а по бокам густо стояла тьма. Закрыв дверь в землянку и приперев ее палкой, он шагнул мягко в темноту и сразу же остановился за деревом. Отсюда было хорошо видно. Горело три костра в полукруге, а по бокам сидели партизаны. Двое играли на гармонии, в середине же плясали две пары нечто вроде кадрили — два красноармейца и две девки Притопывая ногой, парни лихо крутили девок, и подолы их юбок развевались веером; пары сходились и расходились, менялись девками и вновь заходились в лихом кружении А подконец оба парня опрокинули обороняющихся девок на руки и оба припали долгим поцелуем к их губам, будто пили из них,

под хохот и крик сидящих. Когда стихло, то на середину круга выскочил уже пожилой партизан с бородой; Подберезкин узнал в нем своего собеседника по первому вечеру:

— Во лузях! — кричал он. — Играй во лузях, Петруха! Девки, пляшите во лузях! — и, притопывая, он пошел по кругу, но никто за ним не последовал.

Молодой красноармеец, только что плясавший с одной из девок, выскочил на круг, отстранил рукой мужика, дико гикнул и вдруг запел высоким сипловато-крикливым тенором:

— Вышел Сталина приказ:
Все сортеры срыть зараз,
А бойцам заместо ж..
Приналадить пулеметы. Эй-ла!

Кругом шумно захохотали, а парень присел на корточки и под звук гармонии и одобрительные выкрики сидящих пошел присядкой; потом опять вскочил, сбил набок пилотку, гикнул и запел:

«Hi корови, нi свинi, —
Тiлькi Сталiн на стiнi Эй-ла»

И вновь, упав на корточки, пошел присядкой под смех и гиканье круга.

Во всем было что-то покоряющее, первобытно дикое, степное — сказали бы немцы, — как будто стояли еще половецко-татарские времена; среди сидевших было на самом деле много азиатов — калмыков ли, киргизов ли, туркменов ли — трудно было сказать. Сидели они, смешавшись с русскими, одетые, как и те, в красноармейские шинели, и это было новое для Подберезкина. Восток устремился опять, покоряя, на запад? В сущности восток всегда побеждал запад, пришло ему в голову, очевидно так будет и дальше. Но надо было идти. Бросив последний взгляд на сидевших у костра, на лес, корнет осторожно отошел, таясь за кустами Уже раньше он соста-

вил в голове маршрут. идти решил в обход через свои места, хотя это и было дальше; во-первых, знал он их лучше, а во-вторых, хотелось ему все же посмотреть, что сталось с ними Надеждой увидеть их, узнать про Лешу, жил ведь двадцать лет заграницей, за этим и сюда шел. В лесу стояли где-то постовые. Пароль Наташа, положим, сказала, но лучше было бы избежать встречи Пока доносило шум лагеря, шагов его не было слышно; постепенно звуки пропали, стало совсем тихо и совсем темно; несмотря на все предосторожности, он наступал то на сухую ветку, с треском ломавшуюся под его ногами, так что, казалось, за версту должны были слышать; то неловко спотыкался — было так темно, что первое время он не видел даже неба. В конце концов глаза обтерпелись, и он пошел увереннее. В одном кармане шинели лежал сверток с провизией, а в другом... револьвер! С благодарностью и болью корнет думал все время про Наташу Оказалась она истинным, верным другом. Если в новой России — первый раз в уме он дал новому имя Россия — много было таких людей, как Наташа, можно было быть спокойным за ее судьбу, а, может быть, и всего мира Неужели однако они навсегда расстались? — спрашивал он себя, со всей ясностью постигая весь ужас этого слова: навсегда! Так шел он, по его подсчетам, уже около двух часов и должен был миновать опасную зону, как вдруг совсем рядом закричали

— Кто идет? Стой!

— Свой! — ответил Подберезкин, удивляясь уверенности своего голоса и сжимая в руке ручку револьвера.

— Пароля?

— Пешка — отвечал Подберезкин, закусывая губы, — а что, если Наташа ошиблась?.. Но ответом его, видно, удовлетворились; из темноты вышли две фигуры с винтовками через плечо.

— С лагерю? Куда идешь?

— По месту назначения — ответил сухо Подберезкин и спросил сам: — Все спокойно?

Солдаты не сразу ответили, и эти мгновения показались корнету вечностью: куда на самом деле он мог идти в такую темень, в такой час?.. Но потом один равнодушно сказал:

— Ничего. Ракеты кидает.

— Чортова тьма! Далеко ли до Мухановских выселок?

— А мы не здешние. Но тута налево собаки лают и дома было видно. А ты из каких будешь — из новых?

— Туда-то мне и надо, — сказал Подберезкин, не отвечая, и сделал шаг.

— А что в лагере? Пирует брашка? — спросил один из солдат.

— Пирует, все перепились. Как бы не допировались до дела, — отвечал Подберезкин, подделываясь под их речь. — Костры развели по всему лесу. Немцу искать не надо. Ну, прощевайте. — И он тронулся дальше.

Больше его не задерживали.

XV

Насколько можно было судить из отдельных замечаний и разговоров в лагере, слышанных им, Мухановские выселки немцы уже очистили, а советские войска еще не заняли; места здешние лежали вдали от больших трактов: вчерашнее нападение на лагерь произвела либо отступавшая колонна, наткнувшаяся случайно на партизан; или же приходил запоздалый карательный отряд. В самих же Муханах, — в деревне, соседней к бывшему имению Подберезкиных, лежавшей к юго-востоку от выселок, могла быть и Красная армия; а еще дальше, километров двадцать к югу, проходили уже немецкие линии. Туда корнет и решил идти; поблизости находился их бывший уездный город, куда он, кстати, и направлялся с Паульхеном. Решение это было, возможно и даже вероятнее всего, неосторожно; целесообразнее было бы идти прямо на запад, но положения дел на западе он не знал, местность там была менее знакомая, пришлось бы перебираться через широкую полноводную реку, недавно только вскрывшуюся; все соображения пересиливало однако желание увидеть родные места. Уйти из России и вероятно навсегда — теперь уж, вероятно, навсегда! — повторил Подберезкин с усмешкой, — не побывав дома, было просто немыслимо! А кроме всего прочего, в случае погони, его наверное не стали бы искать в этом направлении, ибо шел он сначала скорее в сторону большевиков.

Прямой дорогой до Мухан — имение их тоже так называлось — было верст 15-18, а в обход, как он шел, подальше; выйти на прямую дорогу он не решался. Еще ночью корнет миновал выселки, едва подавив в себе же-

лание пройти прямо через селение, посмотреть, как там всё выглядело: стоял ли двухэтажный дом с резными цветными окнами Якима Трефилова, богатого мужика-пчеловода, всегда угощавшего медом, лепешками и молоком; завалилась ли ветхая, покосившаяся изба Матрены, старой вдовы, ходившей по дворам за няньку во время страды, — сколько она знала сказок!.. Но нельзя было обращать на себя внимание, хоть и шел он ночью; могли появиться уже отдельные танки красных. К рассвету сделал он полдороги: сразу же стало свежее, оросилась земля, корнет шел, подогнув полы шинели, чтобы не намочить их; хорошо, что сапоги были высокие и исправные. Решил он дойти за первый перевал до Глухого бору — соснового леса над обрывом — в шести верстах, примерно, от деревни. Там по утрам всегда было солнечно, — он помнил с детства — открывалась вся местность; поблизости тек ручей — его стала томить жажда. Шел он летником, еще не вполне просохшим от зимы, завязая с чавканьем ногами, в бороздах стояла вода, густо подернувшаяся зеленой пыльцой; лес еще не проснулся, спали птицы, неподвижны были деревья. А когда он подошел к Глухому бору, солнце взошло, по вершинам сосен скользили, обагряя их, первые щупающие лучи, лес встряхнулся, по листве пробежала дрожь, донеслись первые шорохи, где-то ударила со сна иволга.

Осыпая под ногами щебень, корнет поднялся по песчаной красной дорожке, которую знал еще мальчишкой, на бор. Кругом всё было охвачено кипящим светом, дали внизу заволокло светло лоснящимся дымком, в тени было холодно, а на солнце уже пригревало. С дрожью он узнал старую избушку, кем-то когда-то в незапамятные времена построенную; всё так же она стояла, только почернела больше, стала еще приземистее, крыша и стены совсем обросли седым мохом. Так же, как и раньше, чернела перед дверью лунка огневища с обугленными головнями — варили тут путники картофель, кипятили

воду; не раз и сам он разводил с ребятами огонь, пек в золе картофель. С первого же взгляда он узнал всё: слева — эту старую сосну с седыми буклями, с многочисленными вырезками ножом на коре, — так и хотелось ее обнять! — и черемуховые кусты подале, знаменитые по всей округе сладостью ягоды, теперь уже сильно заматеревшие, и две ивы, склоненные над обрывом, с чудовищно вывороченными корнями. А с другой стороны избушки открывался вид на долину, на дальние леса, поля и луга, пересеченные речками, и деревни — на десятки верст; отсюда были видны и Муханы, их деревня, и даже можно было разглядеть крышу их дома ранней весной и поздней осенью, когда деревья в парке стояли обнаженными. Никогда в жизни корнет не испытывал такого внутреннего смятения и трепета, с каким теперь обогнул избушку, и чуть не закричал от горькой радости: на вид и здесь осталось всё, как прежде, как будто вчера только он сидел на скамейке у стены, смотря в даль. Вон там были милые Муханы: неровные горбы домов, черное сияние крыш, многоцветно ломающийся свет окон; чешуйчато поблескивала река на лугу, в которой он столько раз купался, бежали свет и тени по траве, ярко вилась дорога от Мухан к выселкам. А дом их?.. Корнет закрыл глаза в страхе — дома не было видно! Впрочем, успокоительно подумал он, лес уже густо закрылся листвой, весна была ранняя, а в мае о Николин день никогда не было видно отсюда даже крыши дома. Но во всем, однако, что-то изменилось, чего-то мучительно не хватало!.. И, посмотрев еще раз, он вдруг понял: исчезли купола и кресты их церкви, придававшие всему ту незабвенную благостность; и нигде не звонили колокола. Прежде ранним утром всегда звучал где-нибудь — или в Муханах или в соседнем селе — колокольный звон; теперь же всё словно онемело. На этой стороне избушки уже совсем пригрело, и он почувствовал вдруг усталость, сонливость, хотелось завалиться и лежать неподвижно. Обойдя еще

раз вокруг избушки, он снял и разложил шинель на покатом месте с возвышением для головы, стянул сапоги, с наслаждением вытянулся под солнцем и почти мгновенно заснул.

Спал он, впрочем, не долго и не крепко, часто просыпаясь и каждый раз недоумевая, где он находился, пока с волнением не вспоминал. Под конец его так пригрело, что стало жарко даже в одном мундире, встал он как расслабленный. Но набегал, освежая ветерок, и скоро он почувствовал свежесть и упругость во всем теле, как всегда в лесу утром в хорошую погоду, и страшный голод. В свертке от Наташи лежали четыре ломтя хлеба с салом, два яйца, немного соли: надо было только чего-нибудь выпить. Он заглянул в избушку, и в ней всё узнавая: и горьковато дымный запах, и темные нары, досчатый стол в углу, передвижные низенькие скамейки; был и котелок, весь закоптевший, и несколько чашек с обломанными ручками, и треножник — можно было развести огонь и вскипятить воду: у очага он нашел даже несколько старых проросших картофелин. Разводить костер было, разумеется, неосторожно, но, с другой стороны, до Мухан оставалось около семи верст, до выселок было и того больше, — вряд ли бы кто заметил дым, разве что с аэроплана, но в этом случае всегда можно было бы огонь во-время залить. Под горой у рябины бил родник и, захватив котелок, он быстро сбегал вниз, зачерпнул обжигающе холодной воды, развел костер и, почистив и накрошив картофеля, поставил вариться. А когда картофель сварился, то с наслаждением поел его с салом, потом, вскипятив, выпил горячей воды, пахнущей дымом и картофелем, а после закурил и вытянулся вновь на траве. Уже давно не переживал он такого блаженного состояния, в сущности ни разу заграницей: оттого ли, что там не было таких просторных мест, или что земля эта была, несмотря ни на что, русская, его родная земля по праву.

Было уже девять часов утра, роса испарилась, просохла земля, всё лучило весенний свежий свет. Подберезкин посмотрел вокруг, наверх. Лес стоит, подрагивая листвой, весь в светлых ухабах; резко очерчены контуры елей с воздетыми к небу ковшами лап, уже в свечах молодых побегов, неподвижны старые сосны, шелестят обновившиеся березы. Рядом сбоку на земле шевелятся, поблескивая, старые стебли, нежно зелена молодая трава, пахнет и сырой землей, и этой новой зеленой травкой, и старым пожухлым листом, а всего сильнее течет, льнет вязкий аромат берез. И кругом всё уже полно звуков! Корнет прислушался: различал ли еще птичьи голоса? О, да! Это пела, вила свою песнь, как нить, синица, надолго заходилась трелью малиновка, иногда скорбно, одиноко запевала иволга, нежно вскрикивала овсянка, и первый раз за многие годы он услыхал соловья, русского соловья! Сидел он рядом в ольшаннике, звонко, заглушая всех, пробовал свой голос; еще были коротки колена, он захлебывался, сердился, посапывая, неудовлетворенный; но был это настоящий русский соловей, не те безголосые соловьи, что слыхал он в Европе. И надо всем сияет сине-перламутровое небо, с длинными облаками, похожими на тонкие крылья, столь неземными, столь далекими, что при взгляде на них неудержимо томилась душа в стремлении туда, к небу. Вспомнил он слова, кем-то сказанные: мир так хорош, что хочется рыдать от непостижимой его красоты. Это чувство скорби и смутного зова постигало корнета всегда при созерцании природы, мира в его красоте, в особенностти весною, когда, казалось бы, веселие должно было бы петь в душе. И было в душе веселие, но какое-то монастырское, подернутое скорбью, как на фресках Фра Анжелико. Он никак не мог разобраться, отчего так было, еще с самого детства, и, повидимому, не у него одного — другие говорили ему о том же; да и сам он наблюдал, как вдруг затуманятся, уйдут глаза людей, остававшихся наедине с природой. Было это — как па-

мять о чем-то бывшем и оставленном, но с надеждой возвратиться, — словно об ином мире. «И пил я воду родины иной...». И всегда вспоминались при этом былые времена, ушедшие люди: вот, как теперь, Петербург, гимназия, товарищи по гражданской войне. — Боже, куда они все рассеялись! — и множество весен и таких же ярких солнечных дней у себя дома, всё мимо, мимо неудержимо!.. Всякая жизнь, любая красота носили в себе обреченность на этой земле; оттого и тянуло, вероятно, к тем легким улетающим облакам, как будто бы таили они вечность. Вот и теперь, последние годы, было у него чувство, что этот прекрасный мир идет куда-то не туда, ложной дорогой, к гибели, а был где-то и настоящий путь. Но найдет ли его мир, в особенности — Россия?..

Он встал, осмотрелся — кругом было тихо, никакого признака войны, никакого движения. Повидимому, в Муханах не было ни красных, ни немцев, но лучше было всё-таки в деревню не заходить, а ограничиться только усадьбой. Туда можно было хорошо пройти опушкой леса, лишь у самой усадьбы приходилось идти недолго полем. Опасность попасться всегда, разумеется, существовала, тем более, что под шинелью был немецкий мундир. Впрочем можно было сказать, что перебежчик, бежал от немцев, а в крайнем случае — надежда на револьвер. Но надо было осмотреть бумаги. Он ощупал карманы и подкладку: лежал военный паспорт на чужое имя и еще что-то шуршало. Что бы это могло быть? И вдруг вспомнил: письмо Паульхена к его матери! Он совсем забыл про него, к стыду своему, да и Паульхена почти забыл. Письмо нужно было прочесть на всякий случай, чтобы сохранить содержание хотя бы в голове. Вытащив конверт, он, морщась от боли, прочел надпись: «An meine Mutter nach meinem Tode».

«Meine liebe Mutter», — писал Паульхен, — «Wir sind im Fronteinsatz in Russland und wir wissen nicht, welches Schicksal uns von Gott bestimmt ist. Da ist es wohl

gut Dir einen Brief zu schreiben, den Du erst bekommst, wenn ich nicht mehr bin». (Томило его предчувствие? Никогда он не говорил об этом, застенчивый и робкий). Ich bete zu Gott, dass er uns, Karl Werner und mich, lebend zurückkommen lasse, nicht um unseretwillen, sondern um Deinetwillen, und bei Karl Werner auch um der Kinder, Elisabeth und Kiensees willen...», (Карл-Вернер это был его старший брат, владевший именьем Кинзее, а Елизабет — жена брата, — дай Бог ему на самом деле выйти живым, если только есть смысл выходить живым из этой войны людям, столь тяготевшим к родному гнезду, как Паульхен). «Ich hänge nicht am Leben, darum gehort fur mich vielleicht nicht allzuviel dazu, an den Tod zu denken. Gott wird sich in seiner Gnade auch meiner Seele erbarmen». (Так ли, так ли?.. Но так верил юноша!..) «Wenn ich leben bleiben möchte, so einzig um Deinetwillen, um Dir diesen Schmerz zu ersparen, und um Dir weiter für alles danken zu können, womit Du mir das Leben so verschönt hast. Und so soll dieser Brief Dir auch nicht nur: Auf Wiedersehen! sagen, sondern vor allem noch einmal einen tausendfachen Dank für alles bringen. Sehr lieb wäre es, wenn Du veranlassen würdest, dass an dem Sonntag, an dem Du diesen Brief erhältst...». (Подберезкин закрыл болезненно глаза и закусил губу, представив вдруг, как получит мать Паульхена это письмо), «in der Kirche Dein Lieblingslied gesungen würde: "Wenn mit grimmem Unverstand Wellen sich bewegen!" — alle Verse, auch der letzte: "Nach dem Sturme fahren wir sicher durch die Wellen, lassen, grosser Schöpfer, Dir unser Lob erschallen. Loben Dich mit Herz und Mund, loben Dich aus Herzensgrund, Christ, Kyrie, Herr komm zu auf die See".

Sollte Gott mir den Tod bestimmt haben, so bitte ich ihn nur darum, dass Er, gleich ob der Tod kurz und schmerzlos, oder lang und schmerzvoll ist, dass Er mich anständig sterben lasse...». (Умер он честной солдатской смертью — да будет ему легка земля!) «Für mich ist dieser Krieg eine

Art Kreuzzug. Und es ist wohl nicht der schlechteste Tod auf einem Kreuzzug zu fallen. Ich käme mir elend vor, wenn ich jetzt zu Hause sässe, villeicht durch eigne Schuld, auf eignen Wunsch. "Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um Meinetwegen, der wird ewiglich leben, ob er gleich stürbe!" So heisst es jawohl. Und noch eins: Wenn ich gehen sollte, so ist es ja nicht mehr, als der Weg durch das dunkle Zimmer zu der Kinderstube. Wir sind dann gar nicht so weit auseinander. Es ist ja nur das dunkle Zimmer dazwischen, durch das Du, früher oder später, auch immer nachkamst, wenn ich zu Bett gegangen war...». (Придет она и на этот раз, не может не придти при такой любви, — подумал Подберезкин, чувствуя, как что-то смачивало его щеки. Были это слезы? — Да, слезы, чего же стыдиться: сам Христос плакал при виде мертвого Лазаря).

«Nun behüte Dich Gott! Habe noch einmal Tausend Tausend Dank für all die schönen Jahre! Ich habe sie unendlich genossen. Auf Wiedersehen! Es küsst Dich tausendmal Dein Paulchen»*.

---

* «Моя милая Мама, — писал Паульхен, — мы на фронте в России и мы не знаем, какая судьба уготована нам Богом. Поэтому, может быть, следует написать тебе письмо, которое ты получишь, если меня уже не будет. Я молюсь Богу, чтобы он нас, Карла Вернера и меня, возвратил живыми назад, не ради нас самих, но прежде всего ради тебя, а Карла и ради детей, Елизаветы и Кинзее. Я не цепляюсь за жизнь, поэтому мне может быть легче думать о смерти. Бог в его великом милосердии сжалится и над моей душой. Если бы я хотел остаться в живых, то лишь, чтобы уберечь тебя от боли, чтобы тебя дальше благодарить за все, чем ты мне так украсила жизнь. И в этом письме я хочу сказать не только: прощай, но и выразить мою бесконечную благодарность. Было бы хорошо, если бы ты в первое воскресенье, когда получишь это письмо, заказала в церкви твой любимый хорал о буре на море, о том, что после штурма успокоятся волны и придет опять к нам Творец и Спаситель.

Если Богу будет угодно определить мне смерть, то прошу Его только об одном, чтобы Он, будет ли смерть короткая и без-

Бедный, милый Паульхен!.. А впрочем, может быть, и не бедный: умер в сознании, что участвует в крестовом походе, если только последнее время не закрались у него сомнения. Да, это должен бы быть крестовый поход и он мог им быть, но им он, увы, не был! Был просто всепожирающий бессмысленный тевтонский поход!.. Он мог возвратить миру Россию и тем самым оправдал бы себя, ибо мир не мог жить без России, а вместо того он сеял бурю и хаос; это вели слепых их слепые вожди. А Паульхен был Дон Кихот и ребенок и, как ребенок, умер с именем матери на устах. Благодарная смерть! «Иже еси на небесах» — были его последние слова. Как верный сын, он возвращался к Отцу!.. Такие, как Паульхен, теперь гибли в первую очередь, а с ними рушилось навеки то, что еще держало мир и жизнь — давний очаг и отчий дом; мир становился площадью, общежитием, в лучшем случае отелем с меблированными комнатами. С какой любовью и нежностью он рассказывал о своем Кинзее, о матери, о брате, о всей жизни их! Корнет даже завидовал ему невольно, всегда радуясь, впрочем, что сохранились хоть где-нибудь такие места, полные любви и мира, где можно еще было видеть настоящую жизнь. После

болезненная или долгая и мучительная, чтобы Он дал мне умереть честной смертью. Для меня эта война является крестовым походом — и это ведь не плохая смерть пасть в крестовом походе. Я казался бы себе самому жалким, если бы сидел сейчас дома в безопасности. — «Кто свою жизнь превыше всего любит, тот ее потеряет, тот же, кто свою жизнь отдает ради меня, тот вечно будет жить, хотя бы он тут же умер». Так ведь, кажется, написано. И еще одно: если я должен уйти, то это ведь не больше чем путь через темную столовую в детскую. Мы не окажемся далеко друг от друга. Между нами будет лишь одна темная комната, через которую ты всегда, раньше или позднее, ко мне приходила, когда я лежал в постели. А теперь — храни тебя Бог! И еще тысячу, тысячу раз благодарю за все чудные годы! Я ими без конца наслаждался. До свиданья! Тебя целует тысячу раз твой Паульхен».

войны Паульхен приглашал его к себе надолго в гости. Всё пошло прахом — бедная мать!.. Он припомнил ее породистое, тонкое лицо, исполненное света и грусти, на фотографии, всегда висевшей у изголовья кровати Рамсдорфа. Письмо это надо было сохранить, спасти во что бы то ни стало, как и все бумаги, что он вынул из его кармана. Вот она была, эта фотография матери. Паульхен сам ее снимал, и глаза, направленные теперь на корнета, лучили столько любви, ласки, добра, что у него обмерло сердце. Да будет ему легка земля! Подберезкин перекрестился. Может быть, однако, смерть была на самом деле единственным спасением для таких, как Паульхен, ибо новая земля становилась уделом иных людей и трудно ему было бы ходить по новым путям. И сам корнет не раз смотрел с надеждой в лицо смерти, точно она сулила какое-то разрешение всему — и его личной судьбе и судьбе России, а теперь в особенности: продолжать жить без надежды на Россию казалось бессмысленно.

XVI

Несмотря на солнце, на тепло, в дорогу приходилось, к сожалению надеть шинель; остаться в одном немецком мундире корнет не решался, хотя нигде и не было видно людей. Окинув прощальным взглядом все эти знакомые и милые места и вещи — избушку, скамейку у стены, кострище, он быстро спустился и пошел по тропинке по направлению к опушке леса. Близился полдень, стало тише, замолкли птицы, только кукушка иногда куковала, то коротко — раз-два, то долго упорно, — что она куковала в самом деле: правда ли чужие жизни? Веселя сердце, бежали весенние ручьи, прыгая через пни, кочки, разбрызгивая влагу, торопясь; на склонах уже пестро цвели пролески, незабудки и какие-то другие цветы, имя которых он позабыл, хотя знал хорошо по детству. Незаметно он вышел к опушке. Широким горбом лежали слева пробудившиеся и словно дышавшие легким паром невспаханные и незасеянные поля, ярко и свежо взошли в двух-трех местах зеленя, трепетавшие от ветра; а над полями вились, захлебываясь восторгом и радостью жизни, жаворонки, растворяясь вверху в сияющем воздухе, так что только песни их доходили до слуха. Шел корнет осторожно, приглядываясь и прислушиваясь, стараясь неслышно ступать, но ничто кругом не подавало никаких признаков жизни, и дошел почти до поворота на усадьбу. Парк стало уже давно видно, а стоял ли дом — еще нельзя было разобрать. Еще как-то плохо верилось, что находится он в родных краях, сердце словно насторожилось, словно поджидало удара, хотя внешне всё изменилось так мало, что, казалось, и перерыва-то никакого

не было: странно действовали только тишина, безлюдие — об эту пору раньше всегда работали на полях. Почти уже поровнявшись с поворотом, он вдруг заметил сквозь листву, что на полянке справа в лесу паслась корова, а вблизи у дерева сидела баба, и, прежде чем успел принять решение, на него кинулась с лаем собака; баба испуганно вскочила — обе, видно, спали: и баба и собака. Надо было подойти. Он дотронулся до щек, до подбородка — вид у него должен был быть жуткий: не брился четыре дня. Баба смотрела испуганно, изумленно.

— Напугал я тебя, — начал Подберезкин. — Добрый день.

— Будьте здоровы, — ответила негромко баба, попрежнему испуганно-изумленно смотря на него. Что должен он был сказать ей, о ком спрашивать: о немцах? о красных?.. Впрочем у бабы был такой вид, что ее можно было не бояться; сама от себя она не выдала бы, да, может быть, и при допросе ничего не сказала бы.

— Отбился я от части, — начал опять Подберезкин. — Скажи, милая, кто тут у вас стоит?

— Ни к чему мне совсем. Я с деревни-то уж боле году как ушла, как избу спалили, — отвечала баба, смотря на него пристальным, каким-то особенным взглядом; по лицу ее что-то пробежало. Догадалась она, что ли?.. Но если и догадалась, то вряд ли бы она была опасна; и уйти от нее было нетрудно.

— Вчерась дед в Муханах был, сказывал: пусто, — продолжала баба, как будто предполагая, что он знает о Муханах, — а в городе, говорят, — она помолчала, — немцы стоят.

По ее глазам Подберезкин видел, что баба хотела больше сказать, точно, угадывая его желание, догадываясь, кто он. На вид ей было лет под 40 — его возраста: обожженное солнцем лицо было худо, оплетено у глаз, как паутиной, тонкими морщинами, но всё-таки еще молодо: молода была и кожа на шее, и руки, худые, но

круглые, и вся фигура, подвижная и гибкая еще. В сущности он мог знать ее, ей было лет, наверно, шестнадцать, когда он ушел из имения в последний раз. Но он никак не мог припомнить, кем она могла быть. Сорок лет, говорят, бабий век! — Да и какой жизни, камень и тот источит. Надо было, однако, как-то спросить ее насчет имения, усадебного дома — стоял ли он и что там было теперь?

— А что сильно разорены места ваши?

— А, почитай, всё повыжгли. Народ разбежался, кто куда — не сыскать. Я вон в совхозе на Мухановской усадьбе живу; слыхали, может, про Мухановский совхоз, раньше Муханы звали имение; хозяева заграницу ушли. — Она рассказывала, смотря на него, и как будто давала ему возможность заговорить или воздержаться. Узнавала она его? кем она могла быть? А дом, значит, стоял! И был в нем совхоз... Стоило ли идти туда?.. Стоило ли нарушать образ, таившийся в душе, — образ отчего дома, счастливых детских лет с играми в парке, матери, в ее вечных милых хлопотах, отца за газетой или книгой с неизменной трубкой во рту, те тысячи дорогих подробностей, событий, лиц, что пока нетронутыми были с ним — его единственное сокровище и опора?.. На самом деле, как бедна была бы его жизнь, не будь этих лет! Не лучше ли пройти сейчас мимо!..

— Муханы? — повторил он почти безотчетно. — Знаю, как же.

— Знаете? — обрадовалась баба и вдруг, взглянув сначала в землю, заминаясь и наливаясь румянцем и сразу молодея, взвела на него глаза и сказала: — А я и то смотрю, уж не Андрей ли Николаевич будете, барина Подберезкина сын? По началу думала — нет, годы-то не красят, а речь, что вчерась слышала. По речи темной ночью с закрытыми глазами узнала бы.

И сразу же, как только она так заговорила, корнет вспомнил и узнал ее, поражаясь, что не признавал рань-

ше: была это, конечно, Аленка, резвая девка, дочь Панкрата Лосева, бывшего тогда сельским старостой.

— Я самый и есть, — ответил он улыбаясь. — А ты — Аленка, постарела ты.

— Да и вы, Андрей Николаевич, не помолодели, — ответила она ласково знакомым лукавым голосом, теперь уж сразу преображаясь в прежнюю Аленку.

Итак это была Аленка. Корнет невольно усмехнулся. Именно Аленку должен он был встретить! Когда-то она ему нравилась — эта тонкая, быстрая, как лошадь, девка, с волнующими движениями и задорным взглядом чуть прищуренных карих глаз. Она прибегала часто к ним на усадьбу из деревни, в особенности в последнее время уже в революцию, к сестре Леше, и вспомнилось ему сейчас, как раз они играли около дома в горелки и долго он гнался за Аленкой по парку, стараясь поймать ее и как, завернув за низкий, густо разросшийся куст бузины, она вдруг остановилась и встала боком, чуть улыбаясь смотрела на него, и, набежав, он едва не упал, выбросил руки и, схватив ее, привлек к себе и стал целовать в губы, сжимая вздрагивающее тело. Боже, как это давно всё было и как всё это было хорошо!..

— Да, и я не помолодел. Ты права. Что ж, двадцать лет не виделись, а вот и встретились. А ты замужем? — спросил он, глядя на кольцо на ее руке.

— Замужем. За Алексой, за Кожиным, вашим приятельком.

— За Алексой! Да где же он, дома, здесь?

— Где? — в армию увзяли, уж сколько месяцев без вестей сижу.

Жив был и Алекса, стало быть! Жаль, что он не мог его видеть. С Алексой было связано всё детство Подберезкина — ужение рыбы, увод коней в ночное, походы по грибы; позднее были оба вместе в белой армии, а после потерялись: Алекса остался в России, а он попал заграницу.

— Да что я болтаю! — Аленка всплеснула руками. Милости прошу к нам. Я сейчас корову приберу, на день-то в лес увожу от греха — всё, что от житья прежнего осталось. Я вас покормлю и постелю — отдохнете перед дорогой. Да вы не бойтесь, — убеждала она: у нас никого нету. Только отец мой, Панкрат, может помните, но совсем оглох.

Не дожидаясь согласия корнета, она отвязяла корову, и, стегнув хворостиной, направила на дорогу, и опять заговорила, улыбаясь:

— Пойдемте, пойдемте, милости просим. Тут рукой подать — дорогу-то еще не забыли?

Забыть дорогу! На смертном одре он не забудет ее. Подберезкин пошел за Аленкой. Казалось, сама судьба решала за него. Может быть, так было и лучше и безопаснее; с нею он меньше вызывал подозрений. Его тянуло сразу спросить о Леше, но он боялся ставить этот вопрос, уже теперь, впрочем, сознавая, что сестры его не было в Муханах, иначе Аленка дабно бы сказала.

Перейдя шоссе, повернули они на знакомую милую клёновую аллею, о которой он так часто вспоминал заграницей; и — удивительно! — и сейчас он повернул на нее с тем же приятным чувством приближения к дому, что и раньше. Клёны, видно, все эти годы не подрезали, и они мохнато разрослись в ширину, аллея потемнела, постарела, походила теперь на туннель. И всё-таки ничего не изменилось коренным образом, внешне всё осталось таким же, только выглядело запущенным, как без хозяйского глаза. А Аленка шла рядом и, не переставая, сбиваясь, торопясь, всё что-то рассказывала; он восприНимал знакомые имена, но до сознания слова ее не доходили. Отчасти он жалел, что не один подошел к дому, а отчасти был и благодарен, ибо боялся этих минут. Но вот аллея повернула налево, разбежалась — теперь должен был показаться дом! Подберезкин, сам того не замечая, судорожно схватился за Аленкину руку.

— Сейчас, сейчас, — отозвалась она, как будто ободряя.

И тут же они вышли на площадку перед домом, и сердце его словно оборвалось и упало. Дом стоял, но что они с ним сделали?.. Как и прежде, в мягкой тени маленькой лоджии стоят милые стройные четыре колонны, прислонясь к одной из которых подолгу курил трубку вечерами отец, молчаливо глядя куда-то вдаль, в небо; взбегает подъезд с двух сторон к баллюстраде, сияет на солнце светло-желтый фасад с двумя рядами окон, но от всего веет бездомностью, одичанием. Темно, пусто, как мертвые глаза, зияют окна без единой занавеси, щербится, осыпаясь, штукатурка, зачах даже плющ, буйно вившийся по карнизу; внизу вдоль всей стены волны осыпавшейся известки, крапива и чертополох! По верху лоджии прибита ржавая красная доска, и на ней стоит зелеными буквами: «Совхоз имени Калинина», а повыше: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Осыпающиеся стены, мертвые окна, запустение — ничто не действовало так, как эта ужасная доска на милом мухановском доме!.. Да, сила и единственное право их было в объединении, в массе, тогда как он, все люди его круга, повидимому, ценили больше всего одиночество, и вот те побеждали!.. А пруд направо, с таким трудом, с такой любовью устроенный и взлелеянный отцом, затянулся тиной, зарос, в мутной воде плавают, накренясь, ржавые пустые банки. Не напрасно говорило сердце: лучше было не возвращаться сюда, а сохранить образ, но раз уж он был здесь, надо было пройти всё до конца. И, быстро поднявшись в лоджию и опять остро вспомнив отца сидящим здесь в соломенном кресле, в белом костюме из чесучи и мать рядом за самоваром, корнет с трудом открыл заржавленную стеклянную дверь и вошел в дом. В передней, где раньше сразу приятно обдавало особым запахом яблок, и трав, и цветов, в изобилии стоявших всюду, и пахучего трубочного табаку, что курил отец,

и старой кожи от множества охотничьих сумок и патронташей на столах, теперь пахло затхлой пылью, было пусто, всюду валялись вывороченные плитки паркета, висели литографские портреты Сталина, Ленина, Маркса и еще каких-то лиц, и множество плакатов, как один, похожих друг на друга, с изображением толп и развевающихся знамен. Как мало было у революции воображения!.. Быстро, не давая нахлынуть воспоминаниям, он шел через кабинет отца, гостиную библиотеку — всюду было пусто, исчезла вся прежняя мебель, все книги, картины; вместо них стояли грубые конторские столы, покрытые обрывками закапанной промокательной бумаги, досчатые этажерки с синими делами, и на стенах опять были серые выцветшие плакаты, указы и распоряжения, и графики о трудоднях и займах, наколотые ржавыми кнопками. Вместо жилого человеческого дома здесь была третьеразрядная канцелярия, и в этом было всё существо нового. Обращение человека в машину, дома — в фабрику или бюро, народа в плебс, — подумал корнет, — в однотипную массу — вот и вся разгадка революции, весь ее смысл. Этот совхоз, или, как они его звали? — бездушно делал то же, что веками с любовью и надеждой делали его предки: ходил за землей. Только раньше были здесь человеческие чувства, радость и скорбь жизни, а теперь водворилась канцелярия. Пусть их — думал он — пусть забавляются и живут по-своему! Для них это была, возможно, жизнь, составляло им счастье, для него же — варварство и пошлость и жить с ними да еще славословить их он не мог по одному этому; лучше считаться на чужбине последним нищим, пока там еще можно было жить так, как хотелось... впрочем, вероятно, уже не долго. И там во всю цвел Massenbetrieb. Ни за что не стал бы он славословить это варварство, но и проклинать их не хотел — людей, строивших эту новую жизнь, — что с них спрашивать: они не знали, что делали. По наущению, из

зависти они разрушали красоту, и вместо нее взошла пошлость. Иначе и не могло быть! И нет, повидимому, возвращения к былому — разрушено до основания. Стоит теперь между тем и этим толща лет, пропасть... Пускай, пускай!.. Ни те, ни другие не поймут друг друга, хотя вот Аленка и он друг друга понимали...

Стоял он теперь в бывшей детской комнате с маленьким балкончиком, выходившей на задний фасад, в которой прошли, вероятно, его самые счастливые дни — о них больше всего тосковало сердце. Открывался отсюда вид на парк с широко убегающей аллеей посередине, дальше — на речку с песчаным пляжем, где они купались и удили плотву и ершей, на неохватный для глаза луг с дымком леса на горизонте и исчезнувшие теперь смутные очертания куполов и крестов дальнего монастыря, походившего ранним утром и вечером в закат на сказочный Китеж-град. И разом набежали те дни, как волна за волной: звучал вдали певуче, тонко колокольный звон летним золотым вечером, а на балконе стоял он сам в гимназической серой курточке с двумя серебряными пуговицами на воротничке, стоял, сладко мечтая о полной и радостной жизни, ожидающей его, вдыхая молодой пронзительный аромат берез и сирени, весь еще полный счастья приезда, возвращения домой на каникулы из города; там, в углу комнаты, ждали его этажерка с любимыми, годами подбиравшимися книгами и старинный письменный стол с потайным отделением, где хранились первые письма от *нее* и первые девические лица — гимназисток в коричневых платьях; а ночью сквозь сон он уловил тогда лицо матери, склоненное над ним, выражавшее такую любовь и такую ласку... Всё это корнет пережил сейчас снова разом и опрометью кинулся из комнаты. Но видения преследовали его: бежал он через столовую, тут за круглым столом зимой обедали отец спиной к зеркалу, мать напротив, Леша направо, он налево, а там Анна Павловна, учительница сестры: на

праздники и для гостей стол раздвигали, и особенно вспомнился теперь корнету пасхальный стол под холодной белоснежно сияющей скатертью, с бесчисленными окороками, сырами, пасхами, куличами, весь в саду из гиацинтов и ландышей, как благоухали пасхальные цветы в России! Вот тут, перед камином, в гостиной стояли два низких кожаных кресла, и в них всегда по вечерам зимою сидели друг против друга мать и отец, когда к ним приходили прощаться на ночь; здесь устраивали ёлку на Рождестве, сбоку стояло пианино, на нем играла часами сестра, разучивая свои упражнения, — он так и видел ее спину, тяжелые русые косы поверх коричневого платья. Леша, Леша, — где она была? Если бы она только знала, что вот он пришел домой через двадцать лет и бродил тут один в Муханах! И как хорошо, что умерли на чужбине и отец и мать, всё спрашивавшие: когда же мы вернемся?.. Никогда! Видения теснили корнета — то лицо, то день какой-нибудь, то вещь, то звучал вдруг дорогой голос, и ничто не задерживалось долго — такое их было обилие. Он брел по комнатам, стараясь найти хоть след, хоть что-нибудь, оставшееся из тех времен; всё было чужое, новое; лишь обои в столовой остались прежние. Но хорошо, что не встретил здесь никого и мог проститься наедине теперь навсегда. Вот тут, в этой передней, прошли его последние минуты в родном доме; двадцать лет тому назад он ушел отсюда юным корнетом в белую армию. «До скорого свидания», — сказал по-старинному, как когда-то дед, отец, благословляя его еще раз и скрывая тревогу. Нескоро, но всё-таки он увидел эти места, а отцу с матерью не было суждено; и лучше, впрочем! И тогда был такой же, как сегодня, благословенный весенний день, солнце затопило всю аллею до реки, весь парк, и весь дом стоял, утонув в свете и весенней свежести, и — помнил он — с таким разрывающимся сердцем уходил он из дому, из этих словно освященных комнат...

Из сада раздался голос Аленки, звавшей его. Корнет вышел через задний фасад. Жила Аленка не в главном доме, а в садовом флигеле; наверху там раньше помещался управляющий, внизу были контора и кучерская. И флигель стоял теперь пустой, лишь прежнюю кучерскую занимали Аленка с отцом, как она ему рассказала по дороге. Аленка ждала его переодетая: на ногах были чулки и полусапожки, вместо паневы — блузка, на шее — стеклянные бусы; всё это он заметил с чувством умиления, следуя за ней. Перед флигелем росли шатром две огромные липы, погружая всё в тень, в прохладу, теперь еще почти сквозные, а под кучерской сразу же он разглядел старую скамейку, где бывало часто сидела по вечерам прислуга, пела тихо песни.

— Проходите, проходите, Андрей Николаевич, — говорила Аленка, пропуская его вперед, — вот уж не ждала такого дорого гостя, по-другому бы встретила.

— Спасибо, Аленка милая, — сказал он, касаясь пальцем ее смуглой руки.

— Панкрата-то, батюшку моего, помните? Вот он сидит, только совсем оглох. — И громко закричала: — Батюшка, гость к нам.

За столом в углу сидел на скамье лысый коренастый старик с большой бородой, в домотканной рубахе, похожий на Сократа.

— Ась? что ты говоришь? Не чую ничего, — отозвался он глухим голосом.

Никогда Подберезкин не узнал бы в нем Панкрата, широкоплечего мужика, стоявшего когда-то в синей суконной поддевке за церковным ящиком и громко на всю церковь подпевавшего.

— Гость к нам, — говорю.

— Гость — это хорошо. Это — почет. — И посмотрел белыми глазами. Подберезкин подошел ближе, протянул руку; старик вытер свою о штанину и про-

тянул тоже; рука была широкая, сухая, вся в бороздах, как кора дерева.

— Подберезкина барина помнишь? — громко спрашивала Аленка. Старик к удивлению услышал и понял ее и сделал движение всем телом.

— Подберезкин, Николай Андреевич — то давно было. — Он помолчал, подумал, неожиданно перекрестился. — Должно помер Николай Андреевич. Царствия небесная. А я вот зажился.

И, помолчав, снова сказал:

— То давно было. — И звучало это так, будто хотел он сказать: вечность.

Аленка налила свежей воды в рукомойник, достала чистое расшитое полотенце с петухами, сразу воскрешавшее опять былую крестьянскую Россию, положила даже кусок мыла с бело-синим краплением, какое водилось только в России и звалось раньше «жуковским», и, скинув шинель, корнет с наслаждением вымыл руки, лицо и шею. Охотно он вымылся бы весь, но при Аленке это было невозможно, да уже и ждали его к столу: а побриться было, к сожалению, нечем. Он подошел к столу, покрытому полотняной вышитой скатертью: Аленка уже принесла две крынки теплого топленого молока с коричнево-розоватой маслянистой пенкой, крынку творогу, соленых огурцов, крутых яиц на деревянной тарелке, банку с медом и каравай свежего ржаного хлеба — всё такое русское, чего ни в одном крестьянском доме он не получал в Европе.

— Кабы знала про дорогого гостя, я бы щец из солонинки сварила. Для самих-то печи не топлю. Да и пост великой, — говорила она, хлопоча около стола. — А, может, останетесь, отдохнете, я завтра сварю?

Налив молока и отрезав ломоть хлеба, Подберезкин приготовился есть. Старик, молча наблюдавший за ним, вдруг поднялся с кряхтением, перекрестился на иконы в углу — корнет только сейчас их заметил — и

лишь тогда принялся за еду к стыду Подберезкина. Совсем он обасурманился заграницей.

— Служивый-то наш будет? Аль чужой? — спросил вдруг старик.

— Наш, наш! — отвечала Аленка. — Это он из-за вашего мундера, заметил старый, — пояснила она корнету и закричала опять в ухо старику. — Из плену ушел.

— То так — из плену да в неволю, — отозвался старик и, помолчав, прибавил: — Воюют люди, землю насильством делят. А верно — чья земля, того и хлеб. Дорогой товар из земли растет. Много кровей стоит. От Алексы вестей нет, Алена? — спросил он неожиданно, строго глядя на дочь.

— Нету, батенька.

Старик что-то промычал, а Аленка сидела рядом на скамье и, пока он ел, всё рассказывала о том, что прошло здесь за все эти годы; она называла имена, и постепенно, одно за другим, перед ним вставали давно забытые лица; многие уже умерли — молодыми умирали люди в России, других угнали в Сибирь, на дальний север — страшный жестокий ветер прошел по России. И сама, без его вопроса, ибо, предчувствуя, он не решался спросить, она рассказала осторожно про Лешу: жила вначале в соседнем городе, всё поджидала своих, бегала по урокам, а потом схватили, услали в Сибирь, лет уж десять будет, а как называется место — Аленка забыла; оттуда первые годы писала подружкам в город, было письмо и в Муханы, послали ей посылку с салом и сухарями, а последнее время вестей не было. Уж живы ли барышня? — прибавила Аленка к рассказу. Она называла Лешу попрежнему «барышня», да и корнет не мог представить сестру иначе, как в коротком коричневом платьице, с длинными косами по спине, в мальчишеских полусапожках с плоскими каблуками, а ведь было ей теперь уже за тридцать лет! С тех пор,

как осталась она тогда к ужасу отца и матери в России, потерявшись при переходе границы, пришло от нее через третьи руки только две коротких вести: «жива, тоскую по вас». Какой всё-таки был ужасный век, как ожесточели, огрубели люди, если дочь не могла соединиться с родителями, не смела даже дать им знать о себе, без всякой с ее стороны вины, если вся Россия в сущности почти четверть века уже сидела взаперти!.. А Леша была, должно быть, в Сибири, и слабая надежда увидеть, встретить, увезти ее с собой, или, может быть, остаться с ней, не оправдалась. Увидит ли он ее вообще хоть раз в жизни? какая она стала теперь — родная сестра?.. Аленка расспрашивала и про его жизнь, но отвечал корнет коротко, односложно — что можно было сказать, выразить в словах об этих годах страха и боли и стыда за Россию, томления и ожидания на реках Вавилонских? Но было ему, вопреки всему, невыразимо приятно сидеть здесь; за одни эти часы уже стоило придти сюда, рискуя жизнью, последний раз коснуться старой России, и он даже колебался — не остаться ли на самом деле до завтра; подвести Аленку он повидимому никак не мог, а себя, конечно, подвергал опасности нового пленения: красные в любую минуту могли здесь появиться.

— Я бы на выселки сбегала — уговаривала Аленка, — Пелагею привела, она у меня зачастую спит, а, может, и Мишка Бекас дома — сказывали, что раненый вернулся на побывку.

Пелагея была любимая горничная его матери, а Мишка Бекас был, как и Алекса, приятель по детству; обоих он с охотой повидал бы. Корнет улыбнулся, не зная, что отвечать. Разрешение сомнений пришло совсем неожиданно; внезапно дверь настежь растворилась, и в избу вбежал мальчишка лет шести; увидев Подберезкина, он остановился посередине, как вкопанный.

— Поздоровайся, Павлуша, с гостем, — сказала

Аленка, — папенька поклон прислал, скоро до дому собирается.

Мальчик подошел к Подберезкину, протянул руку.

— Сын? Весь в тебя. — Улыбаясь, корнет взял в обе ладони маленькую ручку.

— Хочешь поисти? — спросила Аленка.

Мальчишка молча кивнул головой. Она налила ему молока, отрезала кусок хлеба, помазала медом, и, сидя на скамье, с одной головой поверх стола, он стал есть, всё время, не отрываясь, смотря на Подберезкина круглыми голубыми глазами с ободками. Кончив, он соскользнул со скамейки, подошел к матери и, держась за юбку, громко зашептал, косясь на гостя:

— Мамынька, Степка Беспалый на Огорелышах был. Говорит, наших пришло видимо-невидимо. Говорит, немцев всех зараз оборют. Танков, говорит, что жуков в навозе — вся земля черна. Седни, говорит, здесь будут.

Подберезкин посмотрел на Аленку. Огорелыши называлась деревня верстах в двенадцати к северо-востоку от имения на большой дороге, к уездному городу: возможно, что Красная армия сюда и не направила бы главных сил, но, если слух был верен, то ему следовало, разумеется, немедленно уходить, могло быть уже и поздно. Аленка видимо поняла его взгляд.

— Поди, Павлуша, поиграй на улочке. Я гостя в дорогу соберу.

— А папынька домой скоро будет? Мне ружье принесет?

— Принесет, принесет. — Аленка вывела сына за двери и, повернувшись к Подберезкину, начала полушопотом:

— Видно вам идти надо, Андрей Николаевич. Не стану задерживать, упрашивать, хоть и честью почла бы гостьбу вашу.

— Да, не судьба, милая Аленка. Благодарю за прием, за ласку, — отвечал корнет чуть улыбаясь.

Она утерла рукавом глаза:

— Не ждала, не гадала, что так встретимся, Андрей Николаевич, что жизнь такую жить будем. Да что горевать: одну жизнь живем, другой не даруют, надо ее до конца жить, как есть. — Она вздохнула. — Я вам хоть на дорогу чего соберу.

Вытащив холщевой мешок, Аленка, несмотря на уговоры Подберезкина, положила туда шмоток сала, бутылку меду, яиц, коржиков; всё хотела, чтоб он снял немецкий мундир и надел пиджак мужа, но корнет отказался, с умилением глядя на нее — «милая прежняя Аленка, как хорошо, что он видел ее, будто день прожил в старой России!».

— Бог в напутие! — сказал старик, когда Подберезкин протянул ему на прощанье руку.

Аленка провожала не долго, только до конца сада; он просил ее не ходить дальше: отчасти он боялся ее подвести, а кроме того хотелось ему наедине расстаться и проститься с родными местами. У поворота, после которого закрывался вид на дом, они остановились, и, не зная, какими словами выразить ей свои чувства, он сказал только еще раз: «Прощай, милая Аленка. Спасибо за всё, желаю тебе хорошей жизни. Кланяйся Алексе. Жалею, что не видел».

— Ах, Андрей Николаевич, сухая бы корка, да волька! — вдруг страстно отозвалась она. — А вам вот счастья желаю.

— Дай я тебя обниму на прощанье.

Он обнял и поцеловал ее трижды, и опять у нее в глазах блеснули слезы.

— Березничком-то, — заговорила она поспешно, — вы к самому городу живо подойдете, ни души не постреваете. А там, говорят, уж ваши стоят. Храни вас Бог!

Оставшись один, он прошел еще несколько шагов и

остановился, отсюда в последний раз можно было видеть дом. Сколько раз, уезжая когда-то в гимназию то с летних, то с рождественских каникул, он с грустью оборачивался здесь назад, стараясь надолго запечатлеть всё в памяти; теперь нужно было унести этот образ навсегда. Прямо перед ним, замыкая широкую аллею, обнесенный розовым вечерним солнцем, покинуто стоял их дом. Этот задний — интимный — фасад дома напоминал былое особенно; сюда выходили все жилые комнаты: вон там висел балкончик детской, как раз над ним был мезонинчик няни Гавриловны — и ей не дали кончить здесь старые дни; сбоку в большой солнечной угловой спали родители, внизу посередине была терраска, где летом по утрам пили чай, а вечером собирались после ужина, и очень часто отец читал вслух что-нибудь, большей частью по истории, или рассказывал об японской войне, на которой он был морским офицером, о чужих странах — эти летние вечера без гостей в Муханах были для корнета обнесены каким-то неземным нимбом. Какой нисходил покой на землю и как благоуханно кадили в темноте цветы из сада: табак, резеда, левкои! Благословенны те простые времена, освященные миром настоящей жизни от отцов к детям, благословенны люди, давшие ему познать эту жизнь!.. И, как всегда при мысли о родителях, горячее, всезаполняющее чувство любви и благодарности охватило его, вместе с острой болью, что их уже нет, но и надеждой на новое соединение. Он невольно поднял голову и посмотрел на небо: если они еще были где-нибудь, то только там. «Идеже вси праведнии пребывают» — припомнил он. Что ж, они были, несомненно, праведники. И что-то пронизало его в это время, как будто шли незримые нити от них к нему, и как будто и они на него сейчас смотрели. Это чувство их бытия — непостижимого, но не страшного бытия — постигало его уже не раз, иногда наполняя робостью, даже трепетом, иногда радостью и надеждой на смерть. «Упокой, Господи, душу

рабов твоих Николая и Анны!» — сказал он и перекрестился, и почти помимо воли стал на колени и поклонился дому. Как раз в этот момент сбоку, с запада широко скользнул по стене луч, ослепительно и радужно заиграли стекла, а потом, как завеса, упала тень. Дом этот, дом его отцов, был уже мертв, был — как могила, и ему, конечно, не было суждено воскреснуть. Прощайте, милые Муханы! — сказал корнет, вставая и не стряхивая земли с колен — если бы можно было унести землю родины с собою!..

За поворотом дома уже не стало видно.

XVII

Шел он молодым березняком, легко опушенным первой зеленью, сладко и нежно благоухавшей, то подымаясь на взгорки, то опускаясь в долины. Налево широко расстилались дали: луга, голые поля, светлые ложа вод, синие гребни лесов — огромные российские просторы, уходившие туда, на восток, на тысячи и тысячи верст. За время похода корнет уже снова привык к этому чувству огромности, бескрайности России, стоявшей в миру, как ни одна страна в Европе, прямо перед Богом, уходившей своими концами куда-то непосредственно в Божий космос. Россия — это был целый отдельный мир. И чувство это наполняло и гордостью и горестью. Щедро дано России от всякого блага: земли и вод, долин и гор, степей и пустынь, рек и озер и морей, тучных полей, дремучих лесов, неистощимых недр земных, как ни одной стране в мире, — но на что она обратила это богатство мира?.. Много было дано ей, много с нее и спросится — и как станет она держать ответ?.. В полуверсте от березника тянулась рядом большая трактовая дорога; шел корнет теперь уже местами, которых сильно коснулась война: поля лежали незасеянные, изборожденные и измятые танками, с огромными затопленными водой глазницами воронок; вместо селений чернели пепелища и обуглившиеся скелеты былых домов, дикой ордой налетало с ревом воронье, обдавало запахом гари, сзади на горизонте медленно и тяжело подымался вал дыма. «Дикое поле!» — снова пришло в голову. Как после татар, вместо России лежало дикое поле, но не это было страшно! Не раз уже оставались на Руси пепелища от селений, тес-

нились курганы могил, прорастали дикой травой тропы, полыхали пожары и застилал дым небо, кричало над трупами воронье. Не это было страшно!.. Всё это Россия выносила, вынесет и теперь. «А старуха наша, дорогая, выживет», — вспомнил он слова старика-дьякона. Вынесет, несомненно, но будет ли, останется ли она Россией?.. В голове всё время стоял стих Блока: «Но страшно мне: изменишь облик ты...». Раньше — и после половцев и после татар и после великия смуты и воров, как феникс, вставала именно Россия, обновленная и просветлевшая, словно осеняя себя крестом. А теперь? Не Россия вставала! — Эта мысль была ужасна, но она приходила Подберезкину неотступно. Иногда корнету даже казалось, что русского народа и России вообще уже не было; была грозная держава на великих российских просторах, но не светлая, не святая Русь, которой Россия могла бы и должна была бы стать, именно этот путь ей был уготован и был ее путь; но она сошла с него и шла теперь темными пагубными путями, разрушая жертвенники и побивая пророков и поклоняясь одному князю мира. Демон реял над Россией, застилая ее темными, холодными крыльями — такое было у Подберезкина чувство. Россия шла не туда, куда звал Христос, увлекая за собой повидимому и весь мир: уж не Антихрист ли она многоликий?.. Но тотчас же вспомнилась Наташа, Алена, даже партизаны, певшие о Москве, — о, нет, они не были антихристами, хотя и принадлежали новому!.. Россия была просто тяжело больна, боролась в судорогах и корчах против яду, вспрыснутого ей... Недоумение, смятение, страх и боль за Россию теснились в сердце Подберезкина, и он не находил никакого ответа. Шел он сюда, мечтая о белом воинстве, о светлом стяге, о подвиге за Россию и Христа; всё это, как и вера Паульхена, оказалось донкихотством, вздором: не было ни белого воинства, ни светлого стяга, ни похода за Христа; наоборот — принесли они лишь ложь и зло. Там же, где он предполагал зло, и

где — он знал это твердо внутренне — оно было на самом деле, там оказались Наташа и Алена, отнюдь зла не представлявшие. В этом именно и таилось самое страшное: добро обращалось в зло, а зло принимало вид добра в новом миру. В мире жил хаос, вавилонское смешение, нельзя было понять, кто друг и кто враг, где зло и где добро; в мире всё было зло, над миром реяли черные холодные крылья, и кто-то скалил, как череп, в усмешке зубы... Отчаяние холодило сердце, а впереди стояла пустота, равнодушная немая бездна...

Часам к пяти корнет наткнулся на первые немецкие аванпосты.

— Halt! — окликнули его откуда-то из-под земли. — Hände hoch! — и на плохом русском: — руке верх!

Он поднял руки и смело пошел дальше по направлению голосов; немцы, привыкнув к перебежчикам, не стреляли. Набрел он на артиллерийский блиндаж — видимо, его нарочно пропустили вглубь. Молоденький лейтенантик, совсем мальчишка, небритый и грязный и судя по всему щеголявший этим как новичок, принял его по началу, грозно взъерошившись, как задорный щенок, но тотчас же переменил тон, извинился, прикладывая руку к пилотке, щелкнул каблуками. Для него, как для многих немцев, война всё еще была игрой в солдатики. На мотоцикле корнета доставили в город в штаб коменданта, и уже через час, передав бумаги и письмо Паульхена, выбритый и вымытый, вновь в немецкой форме, он свободно шел по городу. Узнал он, что город решено было оставить, узнал также, что часть его переброшена далеко на запад, почти на границу Германии. Ночью, чтобы избежать нападения советских летчиков, гарнизон должен был сняться. С ним Подберезкин дошел до железнодорожного узла, а оттуда должен был пробираться дальше до своей части.

В детстве корнет не раз бывал в этом городе проездом в гимназию и обратно, бывали и всей семьей в го-

стях в двух-трех домах, отец езжал на конскую ярмарку и раз взял его с собой и купил ему пегого жеребчика. Когда-то это был миленький светленький городок, типично русский, со старыми одноэтажными домами, в яблоневых и грушевых садах, обнесенных палисадником, со многими церквами, немощенными улицами. Стояла в нем всегда тишина, особенно зимой, как будто город засыпал под снегом. От прежней жизни не осталось и следа — кругом было пепелище: среди изрытой земли, груд щебня и всякой рвани торчали обгорелые остовы стен и огромные приземистые русские печи, действовавшие почему-то особенно удручающе. Город был старинный, стоял еще до татар и, вероятно, с их времен не знал больше такого опустошения — пять столетий! Корнет усмехнулся: утверждали, что люди изменились, стали лучше, — человек остался неизменным и история тоже. Мимо разрушенных стен пролетали иногда с шумом немецкие мотоциклы, проходили одинокие люди — где они тут жили? Главная улица называлась Соборная, он с трудом ее отыскал среди руин. Собора не было; говорили ему, что большевики снесли его раньше. Из других церквей уцелела каким-то чудом только одна во имя Петра и Павла, которую он очень любил и теперь уже издалека завидел. В Петров день всей семьей они каждый год ездили сюда к обедне, и навсегда этот праздник перед страдой запечатлелся у него в памяти как сияющий благостный день; с ближайших деревень съезжалось много крестьянских подвод, в церкви и в ограде было полно мужиков в синих поддевках старинного покроя, в смазных сапогах, пахнувших дегтем, баб и девок в ярких шелковых сарафанах, кофтах, полушалках, в полусапожках с неизменными пуговицами; когда после службы они возвращались домой, на окрестных лугах уже шла пляска, играли на гармонии, широко лились песни. — Церковь была маленькая, приземистая, с луковичными куполами, крохотными окошками за решёткой. По бедности и кро-

хотности ее большевики, видно, и пощадили. Попрежнему она стояла в оградке между берез, еще больше ушли в землю плиты, проросли еще гуще травой. Подойдя к двери, корнет заслышал пение — в церкви служили. Какой был завтра праздник? И кто служил — неужели всё еще отец Константин, тот старый священник — кажется, так его звали?

Осторожно приотворив тяжелую, обитую железными брусьями дверь, нагнувшись, чтобы не удариться о косяк, Подберезкин ступил в храм и разом — от этого ли прозрачно-реющего кадильного дыма и запаха, от легких ли лучей направо, косо спадавших на плиты сквозь решётку окон, от женского ли голоса, мелодично по-монастырски читавшего на клиросе, — точно перешел в иной мир — состояние, охватывавшее его раньше почти всегда при входе в церковь, особенно сельскую, а теперь очень редкое. Народу было немного, больше женщин и подростков, стояло несколько солдат в немецкой форме, но были они, верно, русскими, как и он, ибо все крестились по-православному. Когда корнет вошел в церковь, священник — не отец Константин — кадил с амвона. Был он молод, с умным, строгим лицом, чуть обрамленным первой редкой русой бородкой, с коротко подстриженными волосами; прежние русские батюшки так не выглядели, походил он скорее на молодого ученого католического патера. На нем была черная риза с белой вышивкой, и сначала Подберезкин подумал, что попал на чье-то отпевание, но по словам молитв быстро сообразил: шел теперь великий пост, началась страстная неделя. Вокруг икон на аналоях лежали вербы, видно, еще от вербного воскресенья, вербами были убраны иконостас и стены, на подсвечнике перед распятием сбоку горел целый пучок свеч. С сожалением Подберезкин подумал, что пропустил целиком весь великий пост, не побывал ни у одной великопостной службы в России и, если бы сегодня не зашел сюда, вероятно пропустил бы и Пасху. Но где

еще он встретит ее? Будет ли там русская церковь? Жаль было уходить отсюда уже завтра, так нравился ему этот маленький храм, прибранный, устланный половичками, весь в цветах и вербах, этот молодой священник и монашеское чтение женщины. Но надо было их предупредить, что немцы уходили — пришло ему в голову, — может быть, они не знали?.. И с жалостью и болью он посмотрел на священника, на женщину в черном на клиросе, на тонкие древние лики икон, на свечи перед распятием, — это всё должно было исчезнуть, уступить свое место, или пойти на муку, а может быть и погибнуть! И опять брало недоумение, подымался крик в душе: почему так должно было быть?.. Ведь это было может быть единственной истиной и красотой и никому не делало зла. А вот подвергалось осмеянию, заушению, гибло перед лицом пошлости и грубости явной...

Чтица кончила читать, и на клиросе запели стих в три голоса: две женщины и мужчина, стройно и негромко, скорбным великопостным напевом. «Кое положу начало рыданию моему?..» — пели они, скорбно вопрошая. Кое положу начало рыданию моему? — вот именно! Было ему сейчас столь горестно оттого, что убедился он в потере навеки того, на возвращение чего смутно, может быть, всё-таки надеялся, рассчитывал — это омрачало его особенно? И с радостной уверенностью мог ответить себе: нет, не это, не только боль за разрушение гнезда своего, не только даже боль за Россию, за утрату ее, а за эту церковь больше всего и, тем самым, за Христа. Мир отрекался и распинал Его — в который раз?.. И смутно, но твердо он чувствовал, что всякая истинная жизнь и всякая истинная культура — слово, которое столь часто употребляли теперь, — было не что иное, как память о Боге, и что, если это поймут люди, то выйдет мир на настоящую дорогу, и будет жизнь; что милосердие и прощение были единственным законом счастья человеческого. Хорошо, если у мира, у людей после этой

катастрофы, после этих ужасных лет и деяний останется Христос и вера в Него. «Дай Боже, подумал он страстно, помоги миру в его неверии, дай коснуться одежд Христа, как евангельскому прокаженному, и сказать: если хочешь — очисти! Ибо если и Его нет, то к кому, к кому же теперь придти человеку в его ужасе и падении и наготе?»

Весь уйдя в молитву, в скорбное пение, Подберезкин не заметил, как кончилась всенощная, и очнулся лишь, когда священник в черной рясе, в длинной епитрахили, вышел на амвон и после долгих немых поклонов начал одну из любимых молитв корнета:

«Господи, Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми»...

Широко крестясь, он падал трижды на колени, припадая лбом к плитам, и быстро вставал, и все молящиеся, шурша в тишине одеждами, следовали за ним.

И дальше читал: «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему». — И опять свершал тройное метание.

Вместе со всеми падая на колени, подымаясь с болью в суставах и вновь падая, Подберезкин испытывал чувство, что прибегал он к Спасителю, отдавал себя Ему... «Надо бы за упокой подать о Паульхене» — подумал он. Подойдя к свечному ящику, он осведомился о службе завтра, и женщина в черном платке с тонким восковым, но не больным лицом ответила ему: да, будет завтра и утреня и обедня и вечерня. Знал ли священник о том, что город сдают большевикам? — осведомился он. Женщина посмотрела на него внимательно, лицо ее стало строго, но сразу опять прояснилось; она молча утвердительно наклонила голову. Итак они знали и, стало быть, оставались; его вмешательство, во всяком случае, было излишне.

Он написал и положил на свечной ящик поминанье: о упокоении раба Божия Павла, поклонился и, отойдя к двери, сделал коленопреклонение, вышел в притвор и,

оборотясь назад, вновь поклонился, прощаясь. Взгляд его упал на полукруглую надпись над дверью: «Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут». И с содроганием он почувствовал, что это был ответ на всё и что с ним точно говорил голос Христа. Два тысячелетия отделяли от Него, а как будто был Он тут рядом. Слова мои не прейдут!.. Они звучали на Российской земле уже столетия, стояло это, как столп, до татар, при татарах и после, и стоит теперь, и будет стоять во веки веков. Подберезкин вышел наружу. Прямо перед ним мощно сиял закат, золотые волны облаков спадали веерообразно, как складки парчевого одеяния, и походило всё это на образ Вознесения Христова.

XVIII

Через несколько дней Подберезкин нагнал свою часть. Она стояла, сильно поредевшая, уже за пределами России, в Балтийском крае, — и должна была, после пополнения, направиться на западный фронт. «Круг, таким образом, вдвойне закончен — подумал корнет, усмехаясь, — в отношении России, и в отношении белой борьбы». Полной нелепостью для него было бы сражаться с англичанами или американцами. Если уже осталась какая-нибудь надежда, то, может быть, только еще на них. Скорее же всего — подумал он тотчас же — не оставалось уж никакой.

То возвышенное и просветленное состояние, которое охватило его недавно в церкви, прошло. Попрежнему он понимал, что тогда получил он как бы последний ответ на всё происходящее в мире, что образ Вознесения Христова, представший ему в закате, таил в себе окончательный символ земного бытия... всё в конце концов было возвращение в лоно Исаака, Иакова, к роду отцов своих, воссоединением части с целым. «Жить так, — подумал он — чтобы еще в жизни смело идти к смерти, ибо, может быть, в смерти и была жизнь, как учили платоники». Но хотя он и соглашался с этим разумом, было это какое-то неживое согласие; внутри были непокой, неудовлетворенность: что-то было ошибочно во всем его заключении, во всем... Выходило, если додумывать до конца, что вообще не стоило жить и что жизнь бессмысленна, а это было несомненно не так.

Всё еще стояла весна. Она была в этом году затяжная — ясная, но холодная, потом наступило разом тепло,

и в несколько дней всё сразу зацвело: и черемуха, и бузина, и сирень, и плодовые; почти на виду поднялись молодые побеги на елях и соснах в маленьком леску за городом, где расположилась в бараках часть корнета. Все дни, не переставая, дул легкий ветер, и ощутимо шли в воздухе густые волны теплого влажноватого аромата. С самого раннего утра лес был охвачен кипеньем света, щебетом птиц, шорохом листвы, а город — сплошь в садах — стоял весь в пышном цветении, улицы замело перламутрово-розовым цветом — был кругом какой-то весенний белый карнавал.

И это всё стояло так же явно в противоречии с теми заключениями, что он сделал: это была жизнь, а то было всё-таки бегство в потустороннее — одно не могло возместить другого, лишь следовать одно за другим. Жизнь была дана, конечно, прежде всего для того, чтобы жить, радуясь ей, полно, со всей силой — вот как на этом весеннем карнавале. Сам он, вероятно, еще и мог бы от всего отрешиться, уйти в символику, в созерцание, но он знал, что, например, ни Наташа, ни Алеша — в сущности ни один человек в нормальном состоянии — этим не удовлетворились бы; и народ в России этого разрешения всего зла, всего страдания, испытанного им, тоже, конечно, не принял бы, — они стали бы действовать, если бы имели право выбора. Только было ли оно у него самого теперь?..

Ранним утром корнет шел по направлению к городу. Город был совсем немецкий и старый — с узкими кирпичными домиками в староготическом стиле, с высокой готической киркой, откуда часто тек однотонный унылый звук колокола; война здесь не проходила, и было тихо, мирно, только полно военными. Корнет шел в штаб дивизии на Торговой площади с намерением добиться освобождения от своих обязанностей или, по крайней мере, хотя бы перевода в тыл Германии: оставаться в России ему казалось невмоготу, на Западе его пребывание было

бы бессмысленным — там была уже совсем чужая война. Накануне корнет говорил по этому поводу с бароном, и тот дал ему сопроводительную записку в штаб дивизии, хотя считал, что в освобождении откажут. Сам барон за последнее время явно изменился: в глазах его всегда стояли не то испуг, не то недоумение; волком он уж, во всяком случае, больше не держался, исходило от него скорее что-то овечье.

Когда корнет вышел на Торговую площадь, поблизости в переулке раздались мерные шаги многих марширующих ног и затем вдруг — русское пение:

За Зе-е-млю, за во-о-лю,
За лучшую-ю до-о-лю...

разобрал корнет слова. Бредил он, что ли, наяву, среди бела дня? — подумал он, останавливаясь.

И в этот момент на площадь вышел взвод молодых солдат под командой высокого тоже очень молодого офицера. Все были одеты в немецкие военные мундиры, лишь в манере носить пилотку было что-то иное; и на правом рукаве мундиров корнет скоро разглядел нашивку синего, красного и белого цветов, как на старом русском флаге, и три буквы: РОА. — Что они значили? И сразу же разгадал: ну, конечно — Российская Освободительная Армия. Он слыхал о ней уже раньше, но на том участке фронта, где он находился, с частями РОА ему не приходилось встречаться, а лишь с отдельными русскими добровольцами, в редких случаях — с небольшими русскими единицами, вкрапленными в немецкую армию.

А взвод шел с пением дальше, твердо и звучно кладя ногу, и Подберезкин, взяв такт, с удовольствием следовал чуть сзади. Они превосходно выглядели в этой форме, с их загорелыми, здоровыми, чуть скуластыми лицами, — великолепно, как молодые немецкие солдаты в начале войны: так же безукоризненно сидели мундиры, туго перехваченные в талии, были ярко начищены сапо-

ги. И как они пели!.. Как были похожи чем-то на белогвардейских юнцов, на юнкеров гражданской войны!.. Ускорив шаг, он нагнал взвод. Это было как во время его молодости. И утраченное радостное ощущение жизни и мира, как блага, что он всегда испытывал раньше, вдруг охватило его.

За землю-ю, за-а во-о-лю,
За-а лучшую-ю до-о-лю...

Вот именно!.. Как им всё было ясно и просто.

Высокий офицер скомандовал:

— Напра-а-во ма-а-рш!..

Он повернулся лицом к Подберезкину, и тот, столбенея, узнал в нем Алешу! Корнет остановился, встряхнул головой — не могло этого быть! Нет, на самом деле, несомненно, это был Алеша — загоревший, нубийски-черный, изумительно красивый, совсем какой-то молодой бог войны. И, подавшись вперед, корнет закричал:

— Алеша!

Офицер приостановился, повернул на ходу голову, и тут же всё лицо его осветилось улыбкой:

— Взвод, смирно! — скомандовал он с видимым удовольствием. — Стой!..

И подбежал, улыбаясь, к корнету.

— Андрей Николаевич? Вы здесь, — каким образом?

Они обнялись.

— Алеша? — спросил изумленно корнет.

— Я самый.

— Как я рад!

— И удивлены?..

— Если хотите...

— Что ж, вы были правы...

— Прав? — А это? — он дотронулся до мундира Алеши.

— Что ж, это не измена, мы на рукаве свое носим.

Немцам я служить не стал бы, а это — он кивнул головой на взвод — свои, наши, русская армия.

— Русская? А там?

— Там тоже русская. И вместе мы победим.

Корнет улыбнулся молча. Лицо Алеши помрачнело.

— Я всё знаю и понимаю, — вдруг начал он, — и всё-таки мы победим в конце концов. Если не теперь, то потом. Когда-нибудь всё равно победим, потому что наше дело правое.

— Это мы, белые, уже 20 лет говорим. Пока же вот другие побеждают.

— На войне стреляют! — ответил Алеша тихо.

Корнет усмехнулся:

— Знаю. Пять раз ранен был. — И добавил тише: — Боюсь только, что России-то уже нет больше.

— Какой России? Вашей нет, а есть другая!

— Какая же?

— Есть страна великих возможностей, — ответил медленно Алеша, и лицо его стало серьезным.

Коротко оглянувшись на солдат, он пристально посмотрел на корнета, видно желая что-то спросить, и начал неуверенно:

— Ну, а вы тут...

— Иду в штаб, — прервал его корнет, — с письмом от цапли, — помните барона? Хочу просить об увольнении — в чистую, отвоевался...

— Что ж так? — Алёша замялся. И продолжал живо: — Идите лучше к нам. У нас теперь много из... ваших... Приходите сегодня вечером... Там, на окраине стоим. Вы легко найдете. Поговорим. — Он протянул руку. — Придете?

— Посмотрим, — корнет пожал руку. — Если же не приду, то, во всяком случае, храни вас Бог. Желаю успеха. Вы мне напомнили меня самого. Я так же верил и одного только хотел. А теперь — что же вам ска-

зать? «Мне время тлеть, а вам цвести»... Ну, ведите, ведите...

Но Алёша стоял.

— А как же Наташа? — спросил он, встрепенувшись и чуть смущаясь. Этот вопрос он, очевидно, давно хотел задать.

— Всё в порядке. Она уже у себя. Я приду к вам сегодня и расскажу. Может быть, и останусь с вами. Ну, с Богом, — сказал корнет, улыбаясь.

— Что ж, если хотите, — с Богом, — ответил, тоже улыбаясь, Алёша.

Повернувшись к взводу, он скомандовал:

— Взвод, шагом ма-арш!

Блеснули, качнувшись, стволы винтовок, в линейку поднялись ноги. Отойдя немного, взвод опять запел:

Ах, махорочка, махорка,
Породнились мы с тобой...

Подберезкин смотрел вслед с радостным волнением. Если они и были обречены, то всё-таки они делали то, что нужно. Возможно, они даже чувствовали, что обречены, и тем не менее прочно стояли в жизни. В этом и заключалось, повидимому, всё искусство: знать об обреченности, о неизбежности конца и всё-таки делать свое дело. «Поверх гробов — вперед!» как кто-то сказал, кажется — Гёте. И Алёша был прав, разумеется. Та Россия, — «ваша Россия», как сказал он, — была, конечно, уже в прошлом, мертва, в лучшем случае была музеем: Россия с александровскими колоннами, старыми дворянскими гнездами, древними монастырями, московскими церквями и переулками... И вот те, уходящие, они уж были совсем не виноваты, что не знали ее, что та Россия им мало говорила. Но они сами были Россия, пришедшая на смену той, — плоть и кровь от нее. Только из старого они не создавали себе кумиров. И ведь сам он

когда-то думал так же. Во время гражданской войны, бывало, сам пел, гордясь:

Мы былого не жалеем,
Царь нам не кумир,
Лишь одну мечту лелеем:
Дать России мир.

Вот именно! Они сами — тогда, эти — теперь.

А здесь, на чужбине, он весь ушел в любование прошлым, в личную судьбу. Россия стала для него придатком к ней, к пейзажам Нестерова и Левитана. Живое тело России он обратил в ландшафт!.. В этом и заключается его основной грех, тягчайший грех его поколения.

Взвод скрылся, завернув в боковую улицу. При повороте Алёша оглянулся, махнул рукой... Подберезкин, всё еще стоявший на месте, ответил, улыбаясь. Потом он тихо пошел вперед без всякой цели. Во всём этом сцеплении — подумал он — в его возвращении в Россию, в прощании с отчим домом, в недавней службе днем в Великую Субботу и вот в этой встрече было что-то знаменательное, за всем стоял какой-то перст... Словно его провели, указывая: вот, смотри, всё это было — и прошло, а жизнь всё-так идет своим вечным строем...

Он вышел какой-то улочкой на окраину города к березовой рощице. Вдоль опушки всё цвело: черемуха, сирень, дикая яблоня, а роща была полна звуков и света: не умолкая, кричали соловьи, и дрозды, и малиновки, и воробьи, и кукушка, а солнце обливало всё жаркой влагой: от берез струился нежный запах. И корнет подумал: всё это происходило каждый год, цвело и ликовало на мгновение, чтобы потом умереть. Какой в этом был, в сущности, великий смысл: — иначе же не было бы просто жизни, не могло быть. Одно же зависело от другого.

«Мне время тлеть, а вам цвести» — опять подумал

он. — Нет, нет, — еще рано! И в 40 лет жизнь еще не кончена, и в 60 — нет; она никогда не кончена, если не поставить себя вне ее. Над рощей возносилось несколько старых огромных дубов. Их изборожденные, перекрученные стволы были голы, сухи, а на вершинах пробивалась свежая зелень и зачинались плоды, — чтобы пасть на землю и дать завязь новой жизни.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

«Великий обман» («Die Grosse Tauschung») 1936 г.; «В поисках России» («Auf der Süde nach Russland») 1938 г.; два сборника новелл по-немецки «Die Gewesenen» и «Der verwehte Weg»; сборник рассказов (по-русски) «Звезда в ночи»; ряд отдельных рассказов по-русски, часть которых печаталась в выходящем в Париже журнале «Возрождение»; брошюра «Путь на Голгофу» (вышедшую на семи языках); «Круги на воде» — роман (в рукописи) из жизни русской эмиграции.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.
417 Lafayette Street
New York 3, N. Y.
85